

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru

Все книги автора

Эта же книга в других форматах

Приятного чтения!

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Постановлением Совета Министров СССР

БИРЮКОВУ НИКОЛАЮ ЗОТОВИЧУ за роман «Чайка»

присуждена СТАЛИНСКАЯ ПРЕМИЯ третьей степени за 1950 г.

Н. З. БИРЮКОВ

(Биографическая справка)

Николай Зотович Бирюков родился 1 февраля 1912 года в семье рабочего-текстильщика в Орехово-Зуеве. Семья Бирюковых была большая, жили они тяжело, голодно. В 1919 году, когда фабрика, где работал отец Бирюкова, стала, семья переехала в «хлебородную сторону»,

в Поволжье, на ниже-сызранские хутора. События гражданской войны, страшнейшая засуха

1921 года прошли здесь перед глазами Николая Бирюкова. Впечатления этих лет нашли впоследствии свое отражение в романе писателя «На хуторах».

В 1922 году Бирюковы возвращаются в Орехово-Зуево, и здесь десятилетний Николай вместе с группой своих товарищей участвует в организации одного из первых в Советском Союзе пионерских отрядов. В 1925 году, в ленинский призыв, он вступает в комсомол и в том же году начинает работать на фабрике. Производственную работу он совмещает с активной комсомольской — в своей цеховой ячейке, в райкоме, в окружке.

В мае 1928 года, на VIII съезде ВЛКСМ, Бирюков слышал товарища Сталина. Речь вождя открыла перед ним ясную жизненную программу и, по словам самого Бирюкова, указала, «для чего надо жить и как надо жить». Призыв товарища Сталина овладевать наукой, овладевать специальными знаниями глубоко запал в сердце комсомольца, и он идет учиться — сначала на рабфак, а затем на только что открывшееся в Орехово-Зуеве строительное отделение политехникума.

Осенью 1930 года Бирюков работал на строительстве одного из корпусов Дулевского завода. Неожиданно в котлован хлынула подпочвенная вода. Необходимо было срочно ликвидировать аварию. Бирюков вошел в ледяную воду, за ним пошли комсомольцы и остальные рабочие. Вскоре после этого Бирюков слег и остался уже навсегда прикованным

к постели. Виновата в этом была не столько сама болезнь, сколько врачи-преступники, принадлежавшие к подпольной троцкистско-зиновьевской организации и поставившие себе целью выводить из строя партийный и комсомольский актив. Впоследствии они были разоблачены и понесли заслуженную кару.

Нелегко было Бирюкову, привыкшему к живой, активной деятельности, примириться с таким положением, в каком он теперь оказался. Много тяжелых минут было им пережито,

но здоровая комсомольская закалка взяла свое: Бирюков решил продолжать борьбу за счастье родины тем оружием, которое у него оставалось, — словом.

Родина!

Я — солдат твой и сын.

Слово — оружие, стоящее тысяч,

И все, что могу я из мозга высечь,

Родина, клади на свои весы! —

писал он, подводя итог всему передуманному за это время.

Стихи Бирюкова, опубликованные в те годы, показывают, что он сдержал свое слово. В 1932 году на всесоюзном конкурсе молодых поэтов ему была присуждена вторая премия за стихотворение «Побед не счесть!» Однако чем больше писал Бирюков, тем острее он чувствовал: ему не хватает знаний. И в 1936 году он поступает в литературный институт, занимаясь в то же время и в институте иностранных языков. Одновременно Бирюков пишет роман «На хуторах» Роман был закончен в 1938 году и опубликован в журнале «Октябрь». В годы Великой Отечественной войны Бирюков все свои творческие силы отдает делу борьбы против гитлеровских захватчиков, Он пишет рассказы и очерки о героизме и мужестве советских людей. Многие из них («Перед дыханием смерти», «Дисциплина сердца», «Русские глаза», «Песнь в лесу» и др.) получили широкое распространение. Осенью 1942 года он начал писать роман «Чайка», посвященный светлой памяти комсомолки-партизанки Лизы Чайкиной, и хотя состояние его здоровья в это время сильно ухудшилось, все же работы он ни на один день не оставлял. Горячим желанием писателя было помочь советским людям в их героической борьбе с врагами родины. Книга вышла лишь в начале 1945 года, и все же она успела «повоевать». Среди многочисленных писем фронтовиков, благодаривших писателя за эту книгу, есть письма артиллеристов, штурмовавших Берлин, которые сообщали, что на снарядах, выпущенных ими по фашистскому логову, они писали: «За нашу Чайку!»

Роман был удостоен Сталинской премии. Он переведен на многие языки народов СССР, а также издан во всех странах народной демократии.

Летом 1945 года Бирюков приступил к работе над романом «Воды Нарына» — о строительстве Большого Ферганского канала имени Сталина. Для того чтобы написать эту книгу, ему пришлось объехать чуть ли не всю Среднюю Азию. Специальную коляску, в которой он передвигался, видели во многих городах и кишлаках Узбекистана, Казахстана, Туркмении, в Кара-Кумах. Роман был опубликован в 1949 году. В «Водах Нарына» с большой силой показана подлинная народность этой замечательной стройки, ее огромное значение для социалистического переустройства экономики, быта и культуры народов Средней Азии; показана руководящая роль коммунистической партии, поднимающей народ

на решение такой великой задачи, как преобразование природы.

В 1951 году Бирюков вступил в ряды Коммунистической партии, Взволнованно следит Бирюков за жизнью страны, за новым строительством, развернувшимся на советской земле. Летом 1951 года он снова едет в творческую командировку. Писатель побывал на заводе «Красное Сормово», на Горьковском автозаводе имени Молотова, а затем на строительстве Куйбышевской гидроэлектростанции. В результате этой поездки Бирюков написал книгу очерков «На мирной земле», в которой показал массовый трудовой героизм советских людей, строителей коммунизма.

Николай Бирюков

ЧАЙКА

Светлой памяти

ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ,

верной дочери русского народа,

с глубокой любовью посвящая эту книгу

Часть первая

ДУША ГОРИТ

Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни.

— Идем! — крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям.

(М. Горький, «Старуха Изергиль»)

Глава первая

Осень 1935 года выдалась на редкость хмурая. С начала октября — пятый день кряду — над Певском ни разу не проглянуло солнце. Время едва перевалило за полдень, а от серого, низко опустившегося неба на улицах города было сумрачно. Дождь глухо стучал по крыше двухэтажного Дома Советов, мелкой рябью тревожил лужу, разлившуюся от парадного крыльца до середины улицы, капал с голых сучьев тополей. Окна райкома партии

смотрели на восток — в сторону старой водокачки, видневшейся далеко на окраине, и капли

дождя, разбиваясь о стекла, сползали вниз светлыми полосами.

Зимин сидел у себя в кабинете и готовился к докладу на пленуме райкома. Он был уже не молод: волосы на висках тронула седина, по крутому лбу волнисто разбегались две глубокие морщины; у задумчивых, слегка прищуренных глаз собрались черточки — сетчатые и тонкие, как паутина.

За дверью послышался шум, потом — голос технического секретаря:

— Сказано ведь — сегодня никого не принимает.

— А меня примет!

Дверь в кабинет стремительно распахнулась, и Зимин увидел на пороге белокурую девушку, вырывающуюся из рук технического секретаря.

— Да отцепись ты, ради бога! Чего я тебе... на мозоль, что ли, наступила?

Зимин с досадой дал знак оставить девушку в покое.

Она переступила порог и сердито захлопнула дверь перед самым носом обескураженного технического секретаря. С башмаков, которые она держала в руке, и с подола платья капало на пол. Босые ноги были красны и забрызганы грязью. Мокрыми были

и волосы, заплетенные в две косички. Она поставила башмаки возле двери, неторопливо одернула платье и обратилась к Зимину так просто, будто знала его много лет:

— Ну, здравствуй!

От приветливой улыбки просветлело все лицо ее, и Зимину сразу бросилось в глаза, что девушка совсем молоденькая: едва ли ей было шестнадцать лет.

— Осень, а ты в платьишке, — сказал он, чувствуя, как исчезает его досада на эту голубоглазую, не во-время заявившуюся гостью. — Простудиться хочешь?

— Ой, что вы, в платьишке!.. На мне еще кофточка вязаная. Только она вся насквозь вымокла, и я ее в той комнате оставила, где этот дядька сердитый... Еще у меня и калоши. Их у входной двери сняла. Не украдут?

— Украсть-то, может быть, не украдут, но и снимать там не к чему было.

— Ну, тогда подожди. Калоши-то, правду сказать, не дюже важные, а жалко: других-то

нет пока. Я быстро...

Вернулась она и с калошами и с вязаной кофточкой. Калоши были рваные, все в грязи и явно не по ее размеру. Она поставила их рядом с башмаками и взглянула на стол, заваленный

бумагами.

— Не будет ли какого листа ненужного, пообчистить?

Зимин дал ей старую газету.

— Откуда ты?

— Волгины мы. Зовут меня Катей. Я — избач в Залесском, не слышал?

— Так ты залесская?

— Нет, ожерелковкая, а работаю в Залесском.

Она покосилась на свои калоши.

— Пешком шла, вот и замызгалась. Дело у нас такое, товарищ секретарь: человек нужен по политической части доклад сделать.

— Вот оно что! О чем же именно?

— Обо всем, а главное — об уставе... Мужики обижаются: непорядки с землей на вечное пользование. Мудрят ваши землемеры кабинетные... Еще насчет Абиссинии: подсобит ей кто или нет? Неужто никто по морде не даст этим фашистам? Это нас тоже очень интересует. Затем и пришла... — Она настороженно посмотрела на Зимина. — И никуда не уйду... пока человека не дашь. Ведь я объявление повесила... сегодня доклад.

— Гм... — Он перебрал в памяти подходящих людей: одни — в командировке, других нельзя отрывать от работы. — А ты в райкоме комсомола была?

— Была, — отозвалась она устало. — Сидят там за своими столами, как клушки. —

Глаза ее возмущенно сверкнули. — Разве таким должен быть комсомол?

«Правильно говорит», — подумал Зимин. За короткий срок пребывания в Певске он уже заметил, что комсомольское руководство в районе было малоинициативным и инертным. Обидеть девушку отказом не хотелось, но...

— Никого нет на сегодня... — сказал он с сожалением.

— Как то есть нет? — Катя подбежала к столу, щеки ее покраснелись. — Ты пойми: объявление-то висит? Висит! Люди придут? Придут! Что я им скажу? У секретаря, мол, для вас человека не нашлось, да? — Губы ее дрогнули. — И я вроде обманщицей буду. А комсомолка разве обманщицей может быть? — Она села на стул, еле сдерживаясь, чтобы не заплакать. — Что я сама, что ли, этот доклад выдумала? Люди просят, понимаешь?

Зимин нахмурился.

— Понимаю... — Он хотел как следует отчитать ее за то, что, не договорившись с лектором, она вывешивает объявление, но в мыслях мелькнуло: «Совсем еще девочка». — Только ты тоже пойми: сегодня никого у меня нет. Ни-ко-го!

— А сам не можешь?

— Сегодня — нет. Вот если в воскресенье... Устраивает?

— Нет, не устраивает.

Катя подняла на него блеснувшие слезами глаза.

— Ленин все время говорил: большое внимание массе. Где оно у вас, внимание-то?

Слова эти, слетевшие с губ деревенской девочки, которой в самую бы пору еще гонять в горелки, так поразили Зимина, что он усомнился: не ослышался ли?

— Кто говорил?

— Ленин.

Зябко съезжившись, она крутила мокрый поясok платья.

— А ты что же, Ленина читала?

— Читала. — В ее голосе послышалась обида. Зимин перелистал свои записи. Работы оставалось еще часа на три. «Управлюсь!» Он подошел к Кате и обнял ее за плечи.

— Ну что ты все в угол смотришь? Понравился?

— Ничего... для ночевки подойдет.

— Видно, плетью обуха не перешибешь, — засмеялся Зимин. — Хорошо. Еду. — Он закурил папиросу и, бросив повеселевшей Кате: «Облачайся», стал собирать в портфель бумаги.

Глава вторая

Было уже за полночь, когда провожаемый колхозниками Зимин вышел из избы-читальни. Он предложил Кате подвезти ее домой на своей машине и, довольный, смотрел, как она порывалась выбраться из толпы и не могла: то один, то другой задерживал ее

либо вопросом.

Веселая, забралась она в машину и, помахав колхозникам рукой, с удовольствием привалилась к спинке сиденья.

Машина на полном ходу вылетела из села, Впереди темной стеной стоял лес.

— Уважает тебя народ — это хорошо! — тепло сказал Зимин.

Катя вскинула на него глаза.

— Скажи, товарищ секретарь, а правда, что ты в подпольщиках был и в ссылке, а в гражданскую — у Буденного комиссаром полка?

— Откуда ты знаешь?

— Слышала. Я потому к тебе и пошла. Подумала: «Раз старый большевик — не откажет...» — Она помолчала. — Ты вот расспрашивал, как дела идут в избе-читальне... Теперь сам видел: пришел народ доклад послушать, а все не вместились. Разве это дело?

— Да, тесновато.

— Не тесновато, а дышать нечем. В городах вон какие клубы, а деревня, думают, что?..

— Кто же так думает?

— А я знаю, кто! — сердито буркнула Катя. — Вот слышал в прениях: новая жизнь, говорят, к себе манит, а старая за подол держит — не пускает. Отчего так? Образования нет подходящего... А время, сам знаешь... Только бы шагать шибче вперед да вперед...

На дорогу под колеса машины падали качающиеся тени мохнатых веток. Пахло смолой, прелым игольником. Зимин достал папиросу. Курить не хотелось, но его тянуло взглянуть в лицо спутнице, которая нравилась ему все больше и больше. Освещенные спичкой глаза Кати показались ему синими и злыми. Они неподвижно смотрели на мелькающие сосны.

— А у тебя самой какое образование? Вздвогнув, Катя повернула к нему голову.

— Какое? Высшее! Четыре зимы в школу ходила, потом на полях заканчивала. — Она вздохнула. — Станешь книжку серьезную читать — трудно! А другие нарочно, чтобы ученость свою показать, пишут так, что голова треснет — буквы русские, а слова...

Смотри,

лес какой! — вскрикнула она восхищенно, перекинувшись взглядом на другую сторону: темные сосны — такие высоченные, что из окна автомобиля никак невозможно было увидеть

их вершины, — неслись мимо сплошной, непроглядной массой, и лишь на самые ближние

к

дороге падал свет от рассыпавшихся по небу звезд. — У вас, где ты родился, леса такие же

красивые?

— Я в Москве родился, Катя.

— Ни разу не была в Москве. А хочется... — задумчиво проговорила она. — Книг, наверно, там!..

Зимин улыбнулся.

— Книг мы и здесь достанем, а знания, Катя, дело наживное. Ты вот счастливее меня. Я школы совсем не знал. Образование с одиннадцати лет начал на заводе, а заканчивал в тюрьмах и ссылке.

— Это хорошо, — не без зависти сказала Катя. — Товарищ Зимин, а может, ты хоть немножко расскажешь, как вы там... в ссылке? — Она смотрела на него с уважением и робостью.

— Когда-нибудь и расскажу. Ведь не раз еще встретимся. Правда?

— Конечно. А ты очень хороший. Если бы все такие... Она крепко сжала ему руку, и в этом ее порыве было столько непосредственного и наивного, что Зимин привлек к себе ее голову и погладил.

— Людей хороших у нас много, дочка.

— Я знаю.

Сосны вдруг поредели, метнулись в стороны; под колеса автомобиля кинулась просторная земля — в дымке тумана, мерцающая лужами. Холодный ветер плеснулся Кате прямо

в лицо; косички ее затрепетали. Она крепко зажмурила глаза, засмеялась.

— До чего хорошо, боже ты мой!

— Это твои Ожерелки? — сквозь свист и подвывание ветра расслышала она голос Зимина.

Катя открыла глаза и, увидев черневшие за мгlistым полем дома, огорченно вздохнула.

— Так скоро! Ни разу я на автомобиле не ездила, товарищ Зимин.

— Хочешь — до Певска?

Она отрицательно покачала головой.

Разбрызгивая грязь, машина поравнялась с крайним домом. Зимин вглядывался в темноту.

Деревушка была невзрачная: одна улица, и на ней редко расставленные дома, похожие друг на друга. Они, казалось, не стояли, а сидели на черной земле, нахохлившись под соломенными крышами, как старые совы.

— Без электричества живем, — сказала Катя, перехватив взгляд секретаря, задержавшийся на одном из домов, под окнами которого лежали желтоватые полосы света, просочившегося сквозь щели ставней.

Она тронула плечо шофера:

— Через два двора будет кузня, а наискосок — наш дом... Две березы под окнами.

И повернулась к Зимину:

— Зайдем к нам, а? Чаю попьем. Подходит? Зимин задумался.

— Подходит, — решила за него Катя.

Василису Прокофьевну бросило в пот, когда, открыв калитку, она увидела стоявшую перед воротами машину. Зимин и шофер поздоровались с хозяйкой. Она молча пожала им руки и, пропустив обоих во двор, задержала Катю у калитки.

— Это что же... главные какие?

— Главные, мамка, — засмеялась Катя.

— Инспектор, что ли, какой по читалкам?

— Нет, секретарь райкома.

Мать ахнула.

— И, скажешь, к тебе?

— И к тебе тоже — чай пить.

— Господи, ночью-то! — прошептала Василиса Прокофьевна.

Она заглянула в калитку. Зимин и шофер стояли на крыльце и курили.

Василиса Прокофьевна озадаченно покачала головой.

— А как с ним говорить-то... с секретарем?

— Чудная ты, мамка! — весело сказала Катя. — Да как со всеми. Мало ли у нас людей бывает...

— Тише ты — услышат ведь, — испугалась мать. — И в кого уродилась такая горластая. — Она торопливо прошла во двор. — Там, у самых-то дверей, дощечка подгнила — не оступитесь.

В избе было душно и пахло чем-то горьковатым. Переступив порог, Зимин обернулся к Василисе Прокофьевне и Кате, входившим следом за ним.

— А живете вы, хозяйюшка, богато, как деда учили. Пар костей не ломит, а?

Василиса Прокофьевна смутилась.

— Не всегда гак... Стала спать ложиться, гляжу — в горнице угол подмок, ну и затопила.

Из горницы, сонно потягиваясь, вышел белокурый мальчуган лет четырех. Он протер глаза, и вдруг они стали у него большими, радостными. Катя поцеловала его.

— Соскучился?

— Ага...

Мальчик протянул Зимину руку.

— Я — Шурка, катин брат.

— По глазам видно.

Зимин легко поднял его и посадил к себе на плечо. Шурка не возражал.

— А у мамки нынче селедка магазинная. — Усевшись поудобнее, он хитро прищурил глаза. — Подходит?

— Что, что? — рассмеялся Зимин.

— Это он все катины слова перенимает, — пояснила Василиса Прокофьевна, отметив про себя с одобрением: «Просто держится, как и не секретарь все равно».

Катя протянула к Шурке руки:

— Ну, катин брат, сползай ко мне. А вы, товарищи, раздевайтесь да проходите в горницу. Мама не любит, когда стоят.

— Конечно, чай, не столбы, — подтвердила, не подумавши, Василиса Прокофьевна... и обмерла: «Секретаря в один ряд со столбом поставила!»

Но, очевидно, секретарь понял, что она это сказала без умысла, по простоте душевной: раздеваясь, он улыбался чему-то.

«Сошло, не обиделся», — с облегчением заключила Василиса Прокофьевна.

Горница у Волгиных была небольшая, но чистенькая. Вплотную к глухой стене стояла широкая деревянная кровать, покрытая цветастым стеганым одеялом. В изголовьях горою лежали четыре пышно взбитые подушки. Рядом с кроватью — сундук, а у стены, выходящей окнами на улицу, — стол. По одну его сторону желтела тумбочка с высокой стопкой тетрадей, газет и книг; над ней висели портреты Ленина и Сталина. По другую сторону, в углу, на полке в два ряда были расставлены иконы: в первом ряду — маленькие,

медные, во втором — деревянные. Перед иконами, мигая синеватым огоньком, светила лампадка.

Из кухни доносился тихий говор и плеск воды: Катя умывалась.

Зимин подошел к тумбочке. На самом верху лежали «Вопросы ленинизма» Сталина и «Моя жизнь» Подъячева; под ними он заметил серенький томик избранных произведений своего любимого поэта. Зимин взял этот томик и полистал. Слова «И жизнь хороша, и жить хорошо!» были подчеркнуты карандашом, а против строчек:

А в нашей буче,
боевой, кипучей, —

и того лучше, —

стояла пометка: «И я так думаю».

«Да, мало у нас в районе, кипучего. А молодежь — вот она, рвется к деятельности...

Дать ей простор и подлинных вожаков. Вот на чем следует заострить вопрос на пленуме.

Не

руководить „вообще“, а вплотную заняться комсомольскими делами».

Катя вошла босиком, на ходу вытирая мохнатым полотенцем лицо и шею. Увидев в руках Зимина книжку стихов Маяковского, засмеялась и взмахнула полотенцем:

— «...Как зверь, мохнатое». Хорошо!

Она расправила на скатерти складки, напевая, достала из шкафа краюху хлеба, погладила поджаренную корочку, и в глазах ее мелькнула та особенная лукавость, которая появляется при мысли, что делаешь неожиданный и приятный сюрприз.

— Хлебом мы богаты!

Когда Василиса Прокофьевна принесла кипящий самовар, хлеб был уже нарезан ломтями. Посреди стола стояла большая жестяная миска с вареной картошкой. На тарелке отсвечивали куски селедки.

Шурка забрался к Кате на колени.

— Стула тебе нет? Большой уже парень! — укоризненно проговорила Василиса Прокофьевна. — Вот и всегда так, — обратилась она к Зимину. — Чуть Катя домой, отдохнуть бы, а он...

— Любит?

— Да как же не любить?.. Кушайте, родные, кушайте. Василиса Прокофьевна пододвинула гостям тарелки с картошкой и селедкой.

— Она ведь в няньках у него была. Потом, сам видишь, — веселая.

— «В нашей буче, боевой, кипучей», веселым — первое место. Так, Катя, а? — спросил Зимин, насаживая на вилку картофелину, серебрившуюся крупинками развара.

Картофелина

обжигала губы, рассыпалась на зубах. Оттого ли, что сильно проголодался, или действительно картошка была на редкость вкусна, Зимин проглотил ее с наслаждением, как пирожное, и подмигнул Шурке. Мальчуган, нахмурившийся было при первых словах матери,

повеселел.

— Как зверь мохнатая! — засмеялся он, снимая с вилки пальцами кусок селедки. С одного бока к селедке он приложил картошку, с другого — хлеб и, разом засовывая все это Кате в рот, восторженно спросил: — Подходит?

Катя и гости засмеялись.

«Секретарь, а простой. Человек как человек», — окончательно успокоилась Василиса Прокофьевна. Глаза ее светились тепло и радушно.

— Кушайте, родные, кушайте. Есть — так уж по-настоящему: кто ленив в еде, тот лениво и работать будет.

Выпив стакан чаю, шофер поднялся.

— Спасибо, хозяйюшка!

— Вот те и раз! — всполошилась Василиса Прокофьевна. — А закусить?

— Нет, хозяйюшка, и не проси. Очень даже благодарен, и за угощение и за приятное знакомство. Машину нужно посмотреть, хрипота какая-то в моторе появилась.

Проводив его огорченным взглядом до двери, Василиса Прокофьевна придвинула тарелку с селедкой ближе к Зимину:

— Тебе машину не надо чинить, а после соленья чай-то больше в охотку будет.

— Сыт, Прокофьевна, спасибо!

— Ну, что за сыт! — возразила она. — Что ж, еду обратно со стола тащить? Ты, дорогой, не стесняйся, меня не объешь. Теперь, с колхозами-то, жизнь выравнивается.

— А давно в колхозе?

— Два года. Спервоначально остерегались... сдуру-то! С нуждой боялись проститься. А тут Катя...

Поймав настороженный взгляд дочери, она замолчала, подолом фартука обтерла губы.

— Что — Катя? — заинтересовался Зимин.

— Катя-то? Да вот как вошла она в комсомол, и давай меня долбить: ступай, мамка, в колхоз, да и только. Книжек про колхозы натащила. Усадит меня и читает. Ну и уговорила. Хоть и дочь она мне, и малолетка, а прямо скажу — поклон земной ей за это.

— Мамка!

— Что — мамка? — осердилась Василиса Прокофьевна. — Что ты, в самом деле, каждое слово мне обратно в рот толкаешь? Не про тебя говорю я, про свое... Теперь, сокол мой, душа отходить начинает, вроде солнышком ее пригреть стало.

— А до колхоза очень плохо жили, Василиса Прокофьевна? — спросил Зимин, внимательно: разглядывая ее лицо. Нелегко, видно, прожитые годы положили глубокую складку между светлыми ее бровями и резко очертили углы рта. В рыжеватых волосах проглядывала седина.

— Ой, и не говори, дорогой, — вздохнула она. —хлопотали от зари до зари, а земля-то скупоблагодарствовала, словно сердчала на нас.

Глаза ее, как и у Кати, были голубые, только без искорок смеха, и даже сейчас, при улыбке, не покинула их какая-то грустная озабоченность. Казалось, они все время сомневались в чем-то, хотели расспросить и не решались.

— Так вот и перебивались... Правда, доченька? Василиса Прокофьевна посмотрела на Катю долгим ласковым взглядом и опять повернулась к Зимину:

— Маленькая-то она все грустила... Деревенские наши тронутой ее считали.

Зимин поставил на стол недопитый стакан чаю.

— Как то есть тронутой?

Катя вспыхнула, быстро поднялась и вышла.

— А дочка-то с характером!

— С характером, — смущенно подтвердила Василиса Прокофьевна, прислушиваясь, как дочь гремела чем-то на кухне.

Хлопнула входная дверь.

— Ушла. Язык-то у меня хоть на привязи держи. Не любит, когда о ней рассказываю. Ты уж, родной, про нее не выпытывай, не вводи меня в грех.

Но по лицу ее было заметно, что самой ей сильно хочется войти в этот «грех».

— Может, горяченького?

— Можно, — согласился Зимин и протянул стакан. — А куда же все-таки ушла она? — спросил он.

— Должно, к соседям. Теперь, глядишь, до утра.

— Гм... Это что же, всегда она так гостей принимает: за стол посадит и убежит?

— Прoberу я ее за это. — Василиса Прокофьевна машинально сдернула с гвоздя полотенце и принялась мыть посуду.

— О чем это мы? Да! Замаялась я с ней, с Катей-то. Как в понятие она стала входить — и пошло: заиграют где песню, а она — в грусть. Песни-то, поди, приходилось слышать деревенские наши — не теперешние, старинные, про темноту больше, про горе да про судьбу-злодейку. Вот и давай она меня выпытывать: так ли все было, как в песнях? «Так, дочка, — говорю я ей. — И еще темней бывало: солнышко-то, оно, мол, светит, да не нам». А мы в ту пору, милый, к слову сказать, по рукам и ногам кулацкой жадностью были связаны... вся деревня!.. Сказала я ей так про солнышко, а у ней брови нахмурились, и убежала она от меня, не дослушала. «Что, — думаю, — с ней?» Вышла следом — на дворе нет, заглянула в хлев — сидит она там в углу и плачет. Испугалась я, спрашиваю, а она слезы-то удержать не может, заикается: «Неправильные песни, не хочу их!»

Василиса Прокофьевна повесила полотенце на спинку стула.

Зимин сидел, облокотившись на стол и подперев ладонями подбородок. В тишине скрипуче тикали ходики.

— Говорю, глупенькая была. Да тебе, поди, неинтересно это?

— Продолжайте, продолжайте.

— Да чего же продолжать? С той поры словно хворь у нее какая внутри завелась.

Сядет, бывало, у окна, грустит. Душа прямо переворачивалась, глядячи на нее. Чего только не делала: и святой водой спящую кропила, в другой раз бабушку привела — есть тут у нас одна, Агафья, травами лечит и наговорами, — а толку никакого.

Зимин улыбнулся.

— И кто же ее от этой хвори вылечил?

— Сама средство нашла. Прослышала, что в Залесском в читальне книжки на дом дают, и стала ходить... Осенью в грязь, зимой в стужу — оденется и идет. Мы с отцом не задерживали: рады были. Один только раз — стужа была лютая, вьюга... Снегом окна залепило так, что света божьего не видно. Говорю: «Катя, да ты нынче пропустила бы денек,

смотри — непогодь какая». — «Ничего, — говорит, — мамка, я быстренько». Вечер подошел

— нет. Полночь — ее все нет. Оделись мы с отцом — и на улицу. Темь-глаза выколи.

Кричим, и едва свои голоса слышим. Выбегла я в поле — ветер с ног сшибает. Кричу, а в ответ только буран вуйкает. В наших местах всегда так: то тихо-тихо, а то такой буран завернет — не приведи бог! Кричу я и слышу — кто-то откликаться стал. Пошла на голос

отец. «Наверно, — говорит, — в Залесском у кого заночевала, не иначе. А на всякий случай ставню откроем и лампадку зажгем: красный огонек далеко в темноте приметен». Так и сделали. Лежим оба и не спим. Часа в два слышим — стук. Спрыгнули с постели.

Открываем

дверь — Катя. Вся в снегу. Отряхивается и хохочет. «Ну, — говорит, — погодка!» И прямо на шею ко мне: «Ой, мамка, как интересно было!» Давно мы от нее смеха не слышали —

так

обрадовались, что и поругать забыли. Раздевается и рассказывает: в залесской читальне, когда книги брала, комсомольцы на собрание сходились, ну и она осталась... Говорит, а глаза у самой так и смеются. И с той поры...

Под окнами послышались голоса. И Василиса Прокофьевна настороженно умолкла.

— Нет, не она. Манины шаги.

— Дочь?

— Старшая. У этой, секретарь, другое на уме — заневестилась.

В горницу вошла смуглая полная девушка лет восемнадцати. Она поклонилась гостю и сбросила с себя шаль — на спине шевельнулась тугая коса. Взглянув на часы, Зимин поспешно встал: было уже около трех.

— Ну, Прокофьевна, если не успею подготовиться к докладу, — вы виновница.

— Да что ты!

— Не пугайтесь, я шучу. Он крепко пожал ее руку.

— А Катя ваша... Побольше бы нам таких...

— Тебе виднее, — вспыхнув от удовольствия, пробормотала Василиса Прокофьевна и пошла проводить гостя. Еще из сеней слышали они оживленные голоса.

— Вот эта шестеренка, Катя, маленькая, а значения большого, — говорил шофер. — От нее жизнь и сюда идет и вот сюда...

— Интересно-то как! Очень интересно, — отзывалась Катя.

Они так увлеклись, что не слышали скрипа, открывавшейся калитки. Катя опустила фонарик, которым светила шоферу.

— А что, если бы тебе, товарищ шофер, в Залесское завтра, скажем, к нашей избе-читальне подъехать? У нас ребята моторами здорово интересуются. Одни в шофера хотят, другие — в трактористы. А тут бы наглядно... И рассказываешь ты увлекательно.

Подходит?

— Это, Катя, не от моего желания, — помолчав, проговорил шофер. — Я все время при Алексее Дмитриевиче. Ежели разрешит...

— Разрешу...

Выронив от неожиданности ключ, шофер обернулся.

— Извините, Алексей Дмитриевич, мы тут малость техникой увлеклись. Сейчас я, мигом.

Катя повернулась к матери спиной и сердито взглянула на Зиминого.

— Наговорились? Это, выходит, интереснее, чем доклад готовить.

Зимин рассмеялся.

— Побереги, Катя, огонек. Технику изучаешь, а в ней первое правило — мотору вхолостую не работать.

Не выдержав, Катя тоже засмеялась.

— Ладно. А насчет помещения посмотришь?

— Посмотрю.

— А когда еще доклад политический, можно к тебе прийти?

— Можно. И без политического доклада приходи. Потолкуем. Хорошо? Книги мои посмотришь.

— Приду, — подумав, сказала Катя. — Товарищ шофер, не забудь, завтра ждем тебя. — Она помахала рукой: — Счастливо доехать! — и скрылась во дворе.

— Быстрая у вас дочка, Прокофьевна, очень быстрая... С огоньком, — прощаясь, сказал Зимин. Он еще раз сердечно пожал ее руку. — Теперь ваша очередь приезжать ко

мне

в гости.

Василиса Прокофьевна долго стояла у ворот, глядя в темноту, поглотившую автомобиль. «Сколько завтра по всей деревне разговору будет: к Волгиным, мол, ночью машина приезжала, сам секретарь партийный... и чай запросто пил... Да, свой человек, душевный». Вспомнила, что Катя на нее сердится, но это не нарушило приятной теплоты

на

душе. «Ну что же... рассказывала, да ведь не кому-нибудь, а секретарю партийному», — оправдывалась она, входя в избу.

Маня уже спала, а Катя сидела за столом и, отхлебывая из стакана холодный чай, читала книгу.

— Ложилась бы, дочка. Завтра ведь чуть свет побежишь в свою читалку.

Катя промолчала.

«Вовлеклась и про все забыла... Теперь до утра». Василиса Прокофьевна разделась.

Забираясь под одеяло, еще раз взглянула на Катю, привлеченная шелестом.

Та перевернула страницу и, о чем-то задумавшись, сидела неподвижно, точно застывшая.

«Непонятая ты у меня, Катенька. Ох, господи!..»

Глава третья

За окном изредка мелькали фонари, бросая на землю качающиеся полосы бледного света. Окрестные поля едва проглядывали сквозь сизую пелену тумана. Вот они оборвались, и вдогонку им побежал черный лохматый лес.

До разъезда Ожерелки оставалось несколько километров. «Интересно, какая она?»

Федя вынул из кармана газету и перечитал постановление обкома партии от 10 июля 1937 года о премировании лучших изб-читален. «...Стиль работы комсомолки Волгиной

является

образцом, по которому следует равняться всем избачам нашей области».

Нет, по этим словам нельзя было судить ни о внешности, ни о характере заведующей залесской избой-читальней.

Он сунул газету в карман и вышел на площадку вагона. Мелькнула станционная будка. Не ожидая, когда поезд остановится, Федя спрыгнул с подножки.

Женщина в форменной тужурке махнула желтым флажком, раздался свисток, и колеса вагона опять застучали.

«А ведь здесь глушь. Настоящая глушь», — подумал Федя, оглядывая лес, шумевший по обе стороны железнодорожного полотна.

— Далеко ли до Залесского?

— Не очень, — сонно отозвалась железнодорожница. — Пойдем, покажу.

Дорога пролежала в нескольких шагах от полустанка. По одну ее сторону тоже стеной стоял лес, а по другую дико разрослись кусты — можжевельник, ивняк; кое-где белели стволы березок. Вдали смутно вырисовывались силуэты домов.

— Это Ожерелки, — сказала женщина, — а в Залесское прямо надо итти.

Федя поблагодарил ее и, закурив, не спеша зашагал по дороге.

Залесское встретило его веселыми переливами пастушьего рожка. Из калиток с протяжным мычанием степенно выходили коровы, кучками пугливо выбегали овцы. Во дворах, мимо которых он шел, слышались людские голоса.

В двух окнах сельсовета светился огонь. Федя хотел было зайти и раздумал: «Если человек в такой ранний час сидит за работой, то, должно быть, дело срочное. Не стоит мешать».

Его обогнали высокий седой пастух и подпасок — босоногий мальчишка лет двенадцати, с увлечением игравший на рожке.

— Где у вас изба-читальня, папаша? Старик указал кнутовищем на переулочек.

— Не дойдешь до конца, поперек улица будет, — вот на ней и есть пятистенка. По флагу отличишь.

Окна избы-читальни были закрыты ставнями, а на двери Феде сразу бросился в глаза широкий лист бумаги, исписанный неровными печатными буквами.

«13 июня — воскресенье.

Доклад на тему: „Почему русскому народу дорог А. С. Пушкин“ (начало в 7 часов вечера). Докладчик из Певска. После Доклада будут розданы билеты на спектакль. Силами нашего драмкружка будет представлена пьеса А. Корнейчука „Платон Кречет“. Спектакль состоится в школе. На танцевальной площадке с 10 часов и до 12 играет наш струнный оркестр.

14-го — понедельник.

Слушание и обсуждение беседы: „Кого мы должны послать в Верховный Совет СССР“. Беседа транслируется по радио из Москвы. Начало ровно в 6 час. 30 мин. вечера.

В 9 часов вечера в доме стахановца Федорова „Домашний концерт“.

Выступают с новой программой наши кружки — музыкальный и хоровой.

15-го — вторник.

Очередные занятия кружков — агроминимума и стрелкового.

На площадке — доклад: „Что показал суд над троцкистско-бухаринскими бандитами“. Докладчик — секретарь РК ВКП(б) Зимин.

Примечание. Книжная передвижка работает в эти дни в свои обычные часы.

Е. Волгина».

«Вот тебе и глушь!»

Он вынул записную книжку и целиком переписал объявление.

Из соседнего переулочка, громыхая, выехала телега; на ней тесно сидели шесть девушек.

— Здравствуйте, красавицы! Без выходных живете?

Девушка в брезентовом пиджаке, правившая лошадей, черноглазая, с хмуро сдвинутыми бровями, мельком скользнула по нему сердитым взглядом.

— Выходные бывают у Симона-гулимона да лентяя преподобного. Тебя, случайно, не Симоном звать?

Остальные громко рассмеялись, но Федя не смутился.

— Случайно, по-другому, — засмеялся он. — Не скажете ли: товарищ Волгина во сколько приходит?

Девушка придержала лошадь.

— Приезжий, что ли?

— Приезжий.

Она оглянулась на подруг:

— Сказать?

— Скажи, Люба. Может, по делу, — зашумели они, с любопытством разглядывая незнакомого парня.

Он стоял перед ними — сильный, широкоплечий, в рубахе с расстегнутым воротом и с засученными по локоть рукавами.

Густые брови Любы дрогнули, складка между ними разгладилась, и лицо ее от этого сразу стало добродушным и приветливым.

— Парнишка ты вроде ничего, скажу... Когда мы на конюшню шли, Катя у себя была.

— В Ожерелках?

— Да нет, в сельсовете.

Федя удивленно посмотрел на подпись внизу объявления, затем опять на девушек.

— Разве она больше не избачка?

— Избачка. Только у нее теперь еще другая работа, — вмешалась в разговор девушка в голубой кофточке. — Она у нас секретарь.

— Секретарь?

— Комсомольский, — пояснила Люба и тронула лошадь.

Федя постоял, пока телега скрылась за углом, и зашагал обратно.

* * *

Катя сидела в сельсовете одна за столиком, заваленным книгами и брошюрами.

— Извините, товарищ Волгина... — Федя переступил порог и остановился, изумленный. — Такая молодая?

Катя отвлеклась от книги и взглянула на него не то с досадой, не то с удивлением, потом засмеялась.

— И сам не больно старик.

— Как сказать. Еще столько, полстолько да четверть столько — и стариком буду.

Он подошел к столику и протянул ей руку:

— Корреспондент из Калинина, Федор Голубев.

— Катя. — Она сказала это так просто, что он смутился и тут же поправился:

— Федор Голубев — по паспорту, а в жизни меня тоже короче зовут: просто Федей.

— Садитесь, Федя. Уж очень вы, корреспонденты, много расспрашиваете. Можно подумать, сами в избачи собираетесь и выпытываете: подходяще это или нет? Комсомолец?

— С тридцать второго года.

— Это хорошо.

Феде нравилось, что она разговаривает с ним, будто со старым знакомым.

«Агротехника льна», — прочел он на обложке одной книги.

— В специалисты по льну готовитесь?

— Нет, это не я... Девчата наши в молодежное звено организовались и хотят такой лен вырастить, чтобы...

Федя вынул записную книжку.

— Ой-, обождите! — вскрикнула она, точно испугавшись, и тихо попросила: — Вы про лен не записывайте...

Стекла окна вдруг блеснули, и в комнате стало светло и розово. Скользя по подоконнику, лучи солнца легли на книги, на катину руку, на кончик ее уха, запутались в

ее волосах.

— Солнце?! А у меня все огонь! — Быстро поднявшись, она потушила лампу и распахнула окно.

— Засиделась я. — Катя заложила руки за голову и сладко потянулась. — Вот времени, корреспондент, мало... Так мало! Не успеешь оглянуться, а дня уже нет...

Она взяла со стола черную записную книжечку и вслух прочла: «13 июня, утро.

Побывать у девчат. Дождаться агронома. Сходить домой...»

— Знаете, я не была дома со вторника. Это сколько же?

— Пять дней.

— Неужели, пять —? — Катя покачала головой и как-то виновато засмеялась. — Не

знаю как и отговариваться буду от мамки. Да все так получается: то дела, то девчата к себе затащат. — Она взглянула на тикающие ходики: было без десяти минут семь. — Вы, наверное, с вечера не ели. Хотите?

— Есть? — Как говорят врачи, особых показаний: нет, но и противопоказаний не имеется.

— А вы веселый, — одобрила Катя. — Значит, так сделаем: пойдём ко мне, а дорогой и за чаем; поговорим. Подходит?

— Со всех сторон. — Федя приподнял книгу, которую перед его приходом читала Катя. На желтом корешке ее было оттиснуто:

«Практический справочник по хлопководству. Узсельхозгиз. Ташкент. 1930».

Катя молча взяла у него книгу и сунула в ящик стола.

На улице Федя попытался расспросить ее про лен, но Катя перевела разговор на другое, а когда вышли за село, и совсем умолкла, о чем-то глубоко задумавшись.

На небе кое-где белели облачка, неподвижные и редкие, похожие на клочки ваты, приставшие к голубому сверкающему стеклу: день обещал быть жарким. От села Катя свернула влево, на дорогу, теряющуюся в зеленом; хлебном поле.

— Разве здесь в Ожерелки? — удивился Федя.

— В Ожерелки-то? — Катя остановилась, не отрывая взгляда от густой, глухо перешептывавшейся ржи, в которой, покачиваясь, красиво голубели мохнатые головки васильков. — Нет, там наш лен... Хотите зайдём? — предложила она нерешительно.

Они шли минут двадцать. Льняное поле девчат было у самого железнодорожного полотна. Со стороны дороги его скрывали густые кусты ивняка.

Раздвинув их, Федя даже зажмурился — такая вокруг голубизна была: цвел лен — буйно-голубой, кудрявый, широко раскинулось над ним голубое небо, и воздух тоже, казалось, был с голубизной.

— Вот это лен! — восхищенно вырвалось у Феде. — Море голубое!

— Море-то морем... — Катя вздохнула. — Не понимаешь ты ничего, корреспондент.

Вероятно, она и сама не заметила, как перешла на «ты», и Феде это было приятно.

Осторожно раздвигая стебли, Катя прошла в глубь поля. Нежные голубые цветочки мягко скользили по ее бокам. Она взяла в руки стебель, провела по нему пальцами.

— Все желтеет...

Федя подошел к ней — она не пошевелинулась. Он заглянул ей в лицо и растерялся: на глазах ее блеснули слезы.

— Цветение в самом разгаре — и вдруг... желтизна. Не должно так быть!

Стебель, который она держала в руке, снизу был темно-зеленый, а от верхушки по нему, как сыпь, крупчато расползалась бледная желтизна.

— Хорош, говоришь?.. Я и сама так думала... Прибежишь, бывало, сюда — глаз не оторвать, душа дрожала от радости. Правда, стебли-то и раньше меня немного смущали: какие-то они, смотри, уж очень темно-зеленые. Никогда таких я прежде не видала. Да думала: это от крепости, вроде как у людей румянец, а на прошлой неделе гляжу —

желтеть

стебли стали, и цветенье в рыжину ударило. Испугалась: не ржавчина ли? Проверила — нет. А все равно тревога. Притащила агронома. Он говорит: от засухи, а мне не верится: когда от засухи, то стебли к земле никнут, а эти прямо стоят. На всякий случай заставила девчат полить. Прибегаю на другой день утром, а Любаша Травкина — она звеньевая у нас — говорит: «Слышь, Катя, желтизны-то... больше стало». Утешаю их, а самой, понимаешь, плакать хочется. Искала в книгах — нет ничего подходящего. Вот в справочнике о хлопке

нашла похожее. От избытка азота это получается. Мы по-разному удобряли: и навозом, и куриным пометом, и калиевыми солями... А больше всего аммиачной селитрой. Достали ее вволю и не жалели, а в ней самый азот и есть. Вот теперь и думаем: насытили землю азотом,

а калия и фосфора мало дали...

— А исправить это дело нельзя? Если, скажем, подбавить калия и фосфора? — прервал Федя.

— Не знаю. Советовалась с агрономом. Он говорит: не знает случаев такой поздней подкормки. И потом еще он не уверен, что дело в азоте. А меня никак не оставляет мысль: азот!

Набежавший ветер закачал стебли, и цветы всколыхнулись, точно волны, мелкой рябью. Катя зябко поежилась.

— Вот и болит душа. А ты про море... — Светлые брови ее хмуро сдвинулись. — Заставь дурака богу молиться, он лоб расшибет — так и мы... Накормили...

Федя стоял, покусывая губы. Было очень досадно, что он ничего не понимал в агротехнике.

— Катя! Ведь ты сама-то в этом звене не состоишь?

— Ну и что же?

— А переживаешь, наверное, больше, чем все твои девчата, вместе взятые. Будто ты звеньевая!

— Эх, опять ты ничего не понимаешь, корреспондент, — проговорила она глухо и отвернулась. — Опозорятся если девчата, тогда... А главное-то не в нашем позоре. Провалимся — так на год, а то и больше, старинка на полях хозяйничать будет. Ты понимаешь, что это значит?

Вдали протяжно загудел паровоз. Катя вздрогнула, взглянула на Федю, и щеки ее вспыхнули.

— Не надоела я? Привела на поле и слезами угощаю.

— Нет, что ты. Я смотрю: лен-то больно хорош. Должен выправиться.

Пыхтя и обволакиваясь дымом, паровоз поравнялся с краем голубого поля. Из окон вагонов смотрели пассажиры. Катя-молча проводила поезд глазами.

По земле еще стлался дым, оставленный паровозом, но вокруг все опять стало тихо.

— Сделаем подкормку, — на ее лоб легла упрямая складка, — тогда посмотрим.

Пойдем, корреспондент.

У кустов Катя еще раз оглянулась на поле.

— Должен выправиться.

Но голос ее прозвучал не совсем уверенно. Помедлив, она круто завернулась.

— Пойдем, Федя. В Ожерелках из сельсовета позвоню. Может, готов анализ.

Солнце поднялось уже высоко, и в воздухе парило, как перед грозой, когда они вышли на опушку ожерелковского леса. Не заглянув домой, Катя направилась прямо к сельсовету.

— Обожди, я скоро, — сказала она Феде и, легко избежав по ступенькам крыльца, скрылась за дверью.

Деревушка — от сельсовета она была видна с края до края — показалась Феде похожей на большую строительную площадку. Рядом с ветхими домами, выглядывавшими из-под соломенных шапок, стояли дома с обнаженными стропилами и наполовину крытые железом.

На улице кучами валялись стружки, кора, лыко; лежали груды теса и необструганных кругляшей. В стенах некоторых домов, между почерневшими от времени бревнами, белели

только что вставленные. По крышам ползали кровельщики; стучали топорами плотники, подпоясанные холщовыми фартуками с высокими нагрудниками. Едко пахло смолой и олифой.

Федя раскрыл книжку и хотел кое-что записать, но мысли путались. Он закурил и задумчиво смотрел на черные тени, отброшенные до середины дороги редкими тополями и плакучими березами, которые, покачивая своими опущенными ветвями, шелестели тихо-тихо, с тоненьким перезвоном, будто напевая о чем-то грустном и очень нежном.

На стороне, освещенной солнцем, бродили куры и гуси. Близко слышалось довольное, с всхрапом, сопение — это у ворот соседнего с сельсоветом двора развалилась породистая многопудовая свинья. Больше десятка кругленьких тупорылых поросят, похрюкивая, тыкались в ее отвислое брюхо.

Наконец дверь распахнулась, и на крыльцо выбежала Катя. Ветер растрепал ее волосы. Придерживая их рукой, она сбегала со ступенек.

— Верх наш будет, корреспондент! Понимаешь? Анализ есть, и вышло так, как я говорила: страшно много азота. Вчера агроном разговаривал по телефону с академиком. По его мнению, то же выходит: от подкормки калием и фосфором лен должен выправиться. Понимаешь? Не подведем агротехнику!

Федя крепко пожал ее руку.

— Не болит теперь душа?

— Уж очень ты скорый. Вот когда сойдет со льна желтизна, тогда... Ну, ладно, теперь к мамке.

* * *

Агроном приехал в полдень, и Катя распрощалась с Федей.

— Приезжай к нам, когда вздумаешь, и не как корреспондент, а запросто.

— С удовольствием!

«Удивительная девушка!» — думал он по дороге на полустанок.

Дома Федю ждала повестка. Из военкомата он забежал на почту и отправил телеграмму в Залесское. Катя получила ее ночью. Принесли прямо на поле. Желтыми от суперфосфата пальцами она осторожно надорвала бандероль и, наклонившись над костром, прочла: «Уезжаю Красную Армию. Не забуду часы, проведенные с вами. Хочется крепко подружить».

Давайте переписываться. Подходит? Федя».

Катя сложила телеграмму, несколько минут молча смотрела в сторону темневшей за кустами железнодорожной насыпи, потом улыбнулась и крикнула отдышавшим на траве девушкам:

— Хватит, девчата, землю пролеживать! Давайте до рассвета без отдыха, а? По-моему, подходит... со всех сторон!

Никто из девчат, конечно, не догадался, что последние ее слова адресовались не им.

Засмеявшись, Катя побежала туда, где желтели на земле кучи суперфосфата, и запела:

И тот, кто с песней по жизни шагает...

Глава четвертая

Шел июнь 1941 года, когда, демобилизовавшись, Федя вернулся в Калинин. Прямо с вокзала он направился в обком. В выцветшей гимнастерке, туго стянутой ремнем, он по-военному четко размахивал руками и восхищенно смотрел по сторонам. Вот здесь, когда уходил в армию, стояли деревянные, почерневшие от старости халупы, а теперь высятся пятиэтажные дома с широкими окнами, с балконами. Вон там, где сквозь изгородь сквера сочно зеленеют кусты акаций и всеми красками горят на фигурных клумбах цветы, был

замусоренный пустырь... Город неузнаваемо помолодел за эти четыре года.

Из обкома Федя вышел вместе с директором Головлевской МТС. Радостно потирая руки, директор говорил:

— Уж как хочешь, дорогой, брыкайся не брыкайся, а я тебя не выпущу.

— Зачем же брыкаться, когда согласие дал? Директор взглянул на Федю, и радость в его глазах потускнела.

— Нет, по лицу вижу — без энтузиазма ты... Об институте думаешь? Брось! Успеешь. А мне просто шах и мат: половина тракторов «заморожена», а уборка на носу. Два выговора, — голос его дрогнул, — и все по объективным обстоятельствам.

Вытащив из кармана платок, он провел им по седеющим усам.

— Товарищ Зимин — вот ты его узнаешь — никаких обстоятельств не признает: вынь да положь, чтоб к началу уборки все тракторы были, как новенькие, хоть сам чини... Дорогой мой, да если бы технические познания — конечно, сам бы! А механики... Где их найдешь? Закончат образование и тотчас норовят на заводы-гиганты да в крупные города.

Он взял Федю за рукав гимнастерки и решительно проговорил:

— Как хочешь, а без драки от себя не отпущу.

— Драться со мной не советую, Матвей Кириллович: я на белофиннах натренирован. Федя шагал крупно, и директор едва поспевал за ним.

— Значит, в понедельник, рано утречком? — спросил он, с уважением покосившись на медаль «За отвагу», украшавшую широкою федину грудь.

— Рано утречком.

— Ну, гляди. А может, все же завтра? А? Завтра у нас на Волге большое гулянье. Весь народ будет.

— Нет, товарищ директор, до понедельника. — И Федя решительно протянул ему руку.

* * *

В своей комнате он нашел все на том же месте, как оставил четыре года назад, и лишь толстый слой пыли, покрывавшей вещи, стены и окна, свидетельствовал, что комната была необитаема долгое время.

На столе лежали запыленные листки с набросками для очерка о залесской избачке.

Федя ничего не знал о ней. На другой же день по приезде в часть он послал Кате письмо, интересуясь, понравился ли ей очерк, который он написал перед отъездом в армию. Катя не ответила.

Подойдя к столу, Федя собрал разбросанные листки в стопочку и задумался.

Вспомнились первые дни армейской жизни. Казалось, все в природе сговорилось тогда напоминать ему о Кате. Плыли по небу облака — белые-белые; они таяли, разрывались, и место разрывов заполняла радостная голубизна, похожая на голубизну катиных глаз.

Ночью,

когда в казарме все затихало, а он стоял на часах, свет луны, падавший сквозь качавшиеся ветки тополей на желтоватую дверь, напоминал ему ее волосы...

Любовь?.. Нет! Просто приятно было вспомнить: мысль, что в родном краю живет такая милая девушка, согревала душу.

Он сдунул с верхнего листочка пыль и прочитал несколько слов. Они ничего не сказали бы постороннему, а на него от них повеяло очарованием июньского дня, проведенного им в Залесском и Ожерелках.

«Тогда не пришлось, а теперь, если никуда не уехала, наверняка встретимся. В одном районе будем. Да к тому же Головлевская МТС обслуживает и Залесское и Ожерелки. Интересно продолжает ли она заведовать избой-читальней или выращивает лучший в

мире лен? Или, может быть, учиться уехала?..»

Он попытался вспомнить ее лицо. Память сохранила искрящиеся глаза, шелковистые волосы, сочные губы, выпуклость скул, несколько широковатой нос... Но когда он пытался соединить все это вместе, ничего не получалось: лицо Кати расплывалось туманным пятном.

«Забыл, — удивленно подумал Федя. — Странно...»

«Весь народ на Волге будет, — вспомнил он слова директора. — А может, и Катя?»

Не спалось всю ночь. Едва стало светать, Федя встал. Времени: до прихода поезда оставалось в обрез. Он наскоро умылся и, уложив в чемоданчик еду, побежал на вокзал. В вагоне было тесно, к Федя остался на площадке. Когда поезд тронулся, в лицо пахнуло свежестью, утреннего ветерка.

«Как тогда», — подумал он радостно.

Поезд, дробно выстукивая, шел мимо хлебного поля. Земля в этом году необычайно расщедрилась: пшеница только что начала наливаться, а поднялась так высоко, что у людей,

пробиравшихся полем, видны были лишь головы да плечи. Вдали, в зеленом разливе хлебного поля, мелькнули два голубых островка — цвел лен. Прошумел мимо лес, и опять широко, как Волга в половодье, поплыла, закружилась зеленая пшеница...

На площадке стояли две женщины; одна лет тридцати, курносая, с веселыми голубыми глазами, другая — с сединой в волосах и со множеством рябинок на желтом морщинистом лице. Обе ехали из Москвы, с Всесоюзной сельскохозяйственной выставки...

— Какой урожай из земли прет, батюшки мой! — восхищалась пожилая. — Земля, она чувствительная — ласку и внимание любит. Приголубь ее по-сердечному, и она не останется

в долгу, отблагодарит. А кто кое-как в земле ковыряется, тому и она осенью шиш покажет. — Это беспрременно, — согласилась другая, одергивая вязаную кофточку. — Катя наша говорит: земля-то...

Федя не расслышал, что дальше сказала, женщина: перед глазами с грохотом замелькала решетчатая стена мостового пролета. Когда она оборвалась, словно отброшенная

назад ветром, он с живостью спросил:

— Какая, вы сказали, Катя?

Женщина обернулась.

— Наша... Волгина...

— А вы откуда будете?

— Мы — головлевскне.

— Значит, Волгина в Головлеве работает?

— Приходится, и работает, — ответила пожилая, пытливо вглядываясь в его лицо. —

Она, милый, везде работает: и у нас и в других местах.

На площадку вышел кондуктор и предложил всем зайти в вагон.

В вагоне тоже шумно говорили об урожае, о земле, о выставке.

— Был такой грех... — долетел до Федя веселый, по-мальчишески звонкий голос, и тут же пропал, заглушенный взрывом хохота. Заинтересовавшись, Федя прошел вперед и увидел

худощавого, невысокого роста старика в голубой рубахе, туго стянутой крученым поясом.

Над левым кармашком поблескивал орден «Знак почета». Череп у старика был почти голый;

глаза под седыми лохматыми бровями шустрые, с хитринкой.

— Прослышал я про одного человека... — рассказывал он девушкам, тесно сидевшим на лавке против него, — по этой части науку двигает... Богомолец... Поди, чай, слышала, Прокофьевна?

— Нет, Михеич, не приходилось, — отозвался с верхней полки ласковый, певучий голос, показавшийся Феде знакомым.

— Ну, ну? — заторопили девушки.

— Чего нукаете? Я не конь, красавицы, — засмеялся старик. — Ну, думал я, думал, да и напиши ему: так, мол, и так, советский чудотворец, до вашей ученой милости. Ежели нельзя,

говору, помолодить, ну, там, комсомольцем сделать, так, пожалуйста, нельзя ли остановить

года? Не жениться мне, — он скосил глаза на сидевшую с ним рядом высокую, внушительного объема старуху, — нет! Детей-то, говорю, мы вот с бабой и так целый колхоз

народили...

Щеки старухи зарумянились.

— Да будет тебе, Никита, — сказала она. — Такое при народе говоришь... Не стыдно?

— Отчего же стыдно? Так прямо, красавицы, и отписал ему запросто. Я, мол, и стариком с превеликим впечатлением проживу, лишь бы подольше. Это, мол, вполне нашему

колхозному интересу соответствует. Ведь жизнь-то... Гляньте вокруг!

— Про жизнь ты правду, Михеич. Настоящим солнышком ее греть стало, — опять задушевно проговорил сверху женский голос.

Федя заглянул на полку. На ней полулежала, подперев ладонью подбородок, Василиса Прокофьевна. Она встрепенулась.

— Господи! Да ведь ты тот самый, что к нам от газеты приезжал?

— Тот самый. Здравствуйте, Василиса Прокофьевна!

Василиса Прокофьевна села и, наклонившись, протянула ему руку. Волосы ее гуще побелила седина, а лицо как бы помолодело, точно разгладились на нем морщины, и глаза смотрели светлее.

— Вид-то у тебя приметный, не забудешь. Отслужил? — проговорила она, разглядывая его слегка широкоскулое, обветренное лицо. — Тебя ведь, сокол, ежели не запомновала, Федей звать?

— Федей. Тогда, мамаша, Федей звали, и теперь все Федей зовут. В армии побывал, из корреспондентов в старшие механики попал, три бритвы о свою бороду притупил, а Федором Ильичом никто не величает.

— Шутник ты, — улыбнулась она. — Такие не стареют! Не записываешь больше в книжечки-то?

— Нет, мамаша. Я только вчера из армии.

— Вон как! А когда же механиком успел сделаться?

— В армии, мамаша. Служил в мотомеханизированной части. А ведь недаром говорится: быть у воды да не напиться!

— Соответствует, — поддержал Михеич. Василиса Прокофьевна засмеялась.

— Теперь, Никита Михеич, молодые-то такие до всего дотошные пошли, — и на сухом месте напьются. К примеру, Катю мою возьми...

— А где она сейчас? — перебил Федя.

— Катя-то? На реке, наверно. Нынче там гулянье, сокол.

— Я не про то. Что она делает сейчас? Наверное, лучший в мире лен выращивает?

— Выращивает.

— И все так же, наверно, по ночам вы ее спать не можете уложить?

— Да она, сокол мой, в Ожерелках не живет. Она теперь...

Взглянув в окно, Василиса Прокофьевна не договорила и поспешно спрыгнула с полки: поезд шел мимо ожерелковских полей. Федя встретился глазами с Михеичем, и старик весело подмигнул ему.

— С выставки катим... По именному приглашению были, так сказать гости и хозяева. — Он проворно снял с полки свой мешочек. — Эй, залесские и ожерелковские... вытряхивайтесь! Пообчистимся от пыли да на Волгу, а то именины без именинников пройдут. Не соответствует.

Девушки выходили, оглядываясь на Федю и перешептываясь. Уже в дверях оглянулась и Василиса Прокофьевна.

— А ты вроде еще больше вырос! — крикнула она. — Будешь в наших местах — заходи, опять блинками накормлю.

— Непременно приду.

Поезд остановился у знакомого полустанка. Федя увидел, как мимо окна прошли Василиса Прокофьевна, Михеич и девушки. Старик, с увлечением жестикулируя, продолжал

о чем-то говорить. Девушки смеялись.

Пронзительно загудел паровоз.

Вдали за кустарником блеснули железными крышами дома Ожерелок. Набирая скорость, поезд шел мимо льняного поля. В глубине его парами ходили девушки, держа в руках носилки — две жерди, скрепленные рогожей. Девушки ступали медленно и так осторожно, что не заметно было колыхания голубых цветов, достававших им до пояса. Носилки мерно покачивались, и на поле желтым туманом оседала пыль суперфосфата. Поле все быстрее и быстрее уплывало назад.

Федя провожал его глазами и досадовал на себя за то, что не успел расспросить Василису Прокофьевну о Кате.

Мысли его отвлекла девушка, занявшая место у окна напротив. При ее появлении стихли все разговоры. Смуглая, в черном запылившемся платке, она облокотилась на выступ

окна, но смотрела куда-то в угол вагона и, не замечая, нервно наматывала на гриф гитары конец косы, перекинувшейся у нее через плечо. Лицо ее было какое-то измученное и неподвижное.

Пожилая женщина, расположившаяся на месте Михеича, подошла к ней.

— Здравствуй, Маруся.

— Здравствуйте, — неохотно ответила девушка.

— А я и не знала, что ты приехала. Давно?

— Позавчера.

— На гулянье теперь?

Девушка повернулась к ней спиной и пошла к выходу.

— Ваша знакомая? — спросил Федя, когда дверь резко захлопнулась.

— С нашего хутора — Кулагина. Учится... — Женщина оглянулась на дверь и зашептала: — По весне к свадьбе готовилась, а парень-то, слышь, подлец оказался. Раздался паровозный гудок. Замедляя ход, поезд приближался к Певску.

Федя вышел на площадку.

Глава пятая

Солнце уже клонилось к западу, а праздничное веселье было еще в самом разгаре. На одной поляне выступали кружки колхозной самодеятельности, на другой танцевали, на третьей устраивались «бега в мешках». Колхозники расположились, как на кочевье: под соснами дымили самовары, над кострами в котелках и чугунках булькало варево, и легкий смолистый аромат сосен перемешивался с запахом мясного навара и едкого дыма.

Гулко хлопали вылетающие из бутылок пробки. Выпивали торжественно, с чоканьем. И везде слышались разговоры — об урожае, о колхозах, о семейных делах. Некоторые, разгорячась, вынимали карандаши и принимались за подсчеты. Хозяйки безуспешно напоминали о стынувших самоварах, спорящие с досадой отмахивались.

А рядом играла музыка, аукались парни и девушки.

Среди залесских колхозников, когда мимо них проходила Маруся Кулагина, сидел Михеич. Старик уже успел как следует выпить, принять участие в конкурсе на лучшего плясуна и получить за это приз — узбекскую тубетейку. Шустрые глаза его влажно поблескивали. Он попыхивал трубкой и, любуясь серебристым бисером тубетейки, говорил:

— Была судьба барыней — на мужике каталась, а мужик-то возьми и заверни в колхоз. «Слазь, — говорит, — барынька, накаталась! Теперь мы тебя в запряжку...» И запрягли! Ничего, не дюже брыкается. Теперь, кто ежели на судьбу жалуется, скажу: «Врешь, в твоих руках от судьбы вожжи! Куда ты правишь, туда она тебя и везет». Оно и соответствует. На реке было не менее шумно и весело. В обе стороны, вспенивая волны, неслись лодки. С берегов с гиком и визгом прыгали в воду купальщички.

Маруся с гитарой в руках подошла к самой кромке берега. Мимо пронеслась шестивесельная лодка. Рыжеголовый парень лихо растягивал мехи баяна, а трое ребят и девушки, сидевшие в лодке, громко пели:

На диком берегу Иртыша

Сидел Ермак, объятый дума-а-ай...

Из-за деревьев выбежала и встала рядом девушка в желтом платье. Концы шелкового шарфа, обмотавшегося вокруг ее шеи, трепетали на ветру. Она скользнула взглядом по реке и радостно закричала:

— Катюша-а!

— Чайка-а!.. Алексей Митрич! — несло с другого берега.

В приближавшейся лодке за рулем, приветственно махая фуражкой, сидел Зимин, рядом с ним — предрика Озеров. Гребли Катя и редактор районной газеты Коля Брагин, а

на носу в обнимку пристроились агитпроп райкома комсомола Зоя Абрамова и Люба Травкина.

Никого из них Маруся не знала и смотрела равнодушно, скучающе, а стоявшая рядом с ней девушка закричала еще громче и радостнее:

— Чай с нами пить, Катюша-а!

— Нельзя! — отозвалась Катя. — Общественную нагрузку выполняю, — она легко взмахнула веслами. — секретаря проветриваю.

Маруся побрела обратно в лес.

Шум реки становился глуше, а звуки духового оркестра, игравшего вальс, громче, ближе. В просветах деревьев запестрела девичьими нарядами поляна.

Маруся остановилась, но позади тоже слышались голоса:

— Женька, сколько времени ты у нас, а все от своих «що» не отвыкнешь.

— А на що?

Обернувшись, Маруся увидела подходившую к ней большую группу девушек и невольно задержала взгляд на украинке в нарядном сарафане и с монистами на шее: она была

чуть не на голову выше остальных. Под густыми бровями ее насмешливо поблескивали глаза

— очень черные, похожие на спелые вишни. Монисты тихо звенели. Перебирая их рукой, она говорила:

— Кто хочет со мною дружить, тот и «що» поймет. Вот Катя понимает...

«Опять какая-то Катя! — с досадой подумала Маруся. — Дружбу ищут — выдумки книжные...» Она свернула в сторону и, пройдя несколько шагов, услышала умоляющий голос:

— Ну еще разок... один только...

За деревьями парень целовал девушку.

На душе становилось все тоскливей и горше... Вдоль реки она добрела до густых зарослей ивняка, сбегавших по берегу к самой воде, забралась в них поглубже и стала настраивать гитару.

«Любовь... дружба...» Губы ее покривились.

Вокруг она не находила ничего, что заставило бы потеплеть душу. А завтра?

Послезавтра? Через год? То же самое будет — серенькая пустота!.. И тоска, тоска... Было светлое, был восторг впервые пробудившегося чувства. Все в жизни казалось розовым, пахло

цветами... А теперь все это растоптано, опошлено... Будто солнечным днем шла по зеленому лугу и, не видя, полетела в черный овраг. А когда выбралась: нет ни луга зеленого,

ни солнца — одна мгла, и ни конца ей, ни края...

...Небо блеском вышито,

Звездочки горят... —

донеслась к ней звонкая песня, которую сама она еще так недавно любила петь.

Посреди реки плыла лодка, в которой сидела Катя. Пели одни девчата, и чей-то голос фальшивил, забегая вперед. Круто развернувшись, лодка понеслась к берегу. Маруся слышала, как мягко ткнулась она в кусты, под смех остальных кто-то выпрыгнул из нее и, кажется, упал.

Маруся чуть повернула голову. Все, кроме Кати, с чемоданами и свертками были уже на берегу. Катя стояла в лодке — высокогрудая, полная, линии шеи плавным изгибом спускались к плечам. Загорелые руки с ямочками на локтях были и женственными и сильными. Лоб — чистый, светящийся. Между бровями лежала пухлая складочка, — не старя лица, она придавала ему резко выраженный волевой оттенок.

«Глаза красивые», — равнодушно отметила Маруся.

Компания расположилась на соседнем лужке. Вероятно, собирались выпивать и закусывать. Шесть человек, но слишком много от них было шума. Это раздражало, и Маруся

сильнее защипала струны. Голос ее — сильный, грудной — легко поплыл над кустами:

Мой костер в тумане светит...

А сердце сжималось, ныло...

Ночью нас... —

пропела она и услышала, как совсем близко веселый голос подхватил:

...никто не встретит...

Замолчав, Маруся обернулась.

За её спиной, раздвинув кусты, стояла Катя и, посмеиваясь глазами, пела:

Мы простимся на мосту...

Марусе не по душе было это непрошенное вторжение, но на губах Кати проступала такая дружелюбная улыбка и глаза ее светились так приветливо, что девушка невольно предложила:

— Садитесь.

Катя села, обернув вокруг колен юбку.

— Хорошо ты играешь.

— А вы играете? — безразлично спросила Маруся.

— Немножко... Вальс один. А больше у меня ничего не получается, — призналась

Катя.

Она взяла гитару и заученно стала перебирать струны.

— Так?

Маруся кивнула.

— А не вру?

— Немножко.

— Немножко, да вру, — огорчилась Катя. — Что же это мы сидим вместе, а как звать друг друга — не знаем.

— Я с хутора Красное Полесье.

— А имя?

— Маруся. А ваше — Катя?

— Катя. Только на «вы» звать меня не нужно. Я на «вы» только с теми, кто мне не нравится, чтобы подальше их от себя держать. В Красном Полесье я бываю, Маруся, а тебя почему-то не помню... не видела.

— Я училась.

— Где?

— В педагогическом...

— Учительница? Вот здорово! — радостно вырвалось у Кати. — Если бы ты знала, Марусенька, как нам учителя нужны!.. А почему ты одна сидишь? Ведь так скучно.

Маруся отвернулась, но Катя успела заметить сверкнувшие на ее глазах слезы.

Перебирая струны, она чуть слышно пропела:

Все тихо кругом,

Лишь ветер на сопках рыдает...

И, как бы между прочим, спросила:

— Комсомолка?

Маруся отрицательно покачала головой.

— Почему же?

— Скучно.

— В комсомоле скучно? — От удивления Катя чуть не выронила гитару. — Почему же скучно?

Маруся пожала плечами.

— В техникуме я была комсомолкой. Мух ловить и то веселее.

— Что же вы делали?

Маруся не ответила, взяла гитару и хотела встать, но Катя удержала ее.

— Нет, все же... Ну, что-нибудь-то делали?

— Членские взносы платили. Изредка собрания бывали, а на них одни болтают, другие на часы смотрят: скоро ли кончится? Ни дел, ни веселья.

— Это, правда, скучно. А вот у нас комсомол веселый, Маруся! — Катя взяла ее за руку. — О чем ты грустишь?

— Так...

Зашелестели кусты, и к девушкам подошел Коля Брагин. На стеклышках его очков поблескивало солнце.

— Чаши наполнены, закуска нарезана. Послан делегатом — пожалуйста кушать, Екатерина Ивановна!

— За мной дело не станет, — засмеялась Катя. — Посидим, — обратилась она к Марусе. — Закусим, чайку попьем... Поиграешь, а мы послушаем.

— Спасибо, Катя. Я пойду.

— Куда торопишься? Сегодня же праздник.

— Итти далеко. До свиданья.

Катя отстранила протянутую ей руку.

— Я провожу тебя.

Они втроем вышли на лужайку, и Маруся настороженно оглядела незнакомых ей людей, сидевших вокруг скатерти, уставленной бутылками и закусками.

— Видишь, вся наша честная компания в сборе, — увлекая ее, весело сказала Катя. —

Девушки — мои подружки. Вот этот дядя, — она указала на Озерова, — вполне хороший,

но

только до тех пор, пока у него денег не попросят.

— Тогда он — страшный, — добавил Коля Брагин, присаживаясь у кустов, чтобы завязать распутившиеся шнурки ботинок.

Все рассмеялись, а предрика укоризненно покачал головой.

— Другой дядя — мой отец. Не родил, не крестил — сам себя в отцы посадил. Ты все плачешь, Зимин: «Педагогических кадров не хватает». Вот и кадры появляются. — Катя смеющимися глазами взглянула на Марусю. — Наша будущая комсомолка.

— Почему комсомолка? — смутилась та, но Катя взяла обе ее руки и сильно сжала их.

— Будешь, Марусенька, комсомолкой, будешь. Мы тебе скучать не дадим... И сейчас зря торопишься. Может быть, закусим?

— Спасибо. Не хочу.

— Ну, ладно, пойдем. — Катя обняла ее и, не оборачиваясь, крикнула: — Не скучай без меня, отец! Я недолго.

Они прошли мимо Брагина, и он слышал, как Маруся спросила:

— Тот мужчина тебе, что же... не родной отец?

— Нет. Но лучше, чем родной.

— Кто же он?

Катя сказала.

— Секретарь райко-ома?

Маруся кивком головы указала на Брагина:

— А этот товарищ?

— Наш редактор.

Вспомнив, как зазывали к себе Катю с обоих берегов молодежь и старики, Маруся приостановилась.

— А вы... кто же будете?

— Опять «вы»?

— Простите, но я... Ну, хорошо, хорошо — ты..

Катя плотнее привлекла ее к себе.

— Я, Маруся, ожерелковская. Соседки...

Глава шестая

За весь день Федя так и не встретил Катю, хотя на обоих берегах, кажется, весь лес, пядь за пядью, измерили его выдавшие виды красноармейские сапоги. Он знал теперь о Волгиной многое.

Немало девушек с белокурыми головами привел он в смущение, заглядывая им в лицо и затем разочарованно говоря: «Извините, обознался». Думалось: где Катя, там должны

быть самые веселые песни, самый заразительный смех. По несколько раз ходил он туда, где танцевали, играли, пели, — и все безрезультатно.

Начинало темнеть, когда Федя решил, что следует закусить и отдохнуть. Он расположился под сосной и раскрыл чемоданчик. Шагах в трехстах от него на поляне играл духовой оркестр — там танцевали.

«Итак, Федор Ильич, мы теперь опять штатские... Опять будем привыкать галстуки носить», — усмехнулся Федя, сдирая с колбасы кожицу. Покончив с едой, он отряхнул с колен крошки, лег на спину и с наслаждением потянулся. С качающихся веток на лицо падали усики хвои. Сосны шумели ласково, убаюкивающе. Федя прислушивался к музыке,

голосам и смеху танцующих и думал: «Завтра обязательно забегу в райком. Узнает ли? Секретарь райкома... Чайка... Почему Чайка? А хорошо прозвали».

В ней много свободы,

В ней много простора, —

пропел он, а по всему телу разливалась приятная сонная лень, глаза закрылись. Музыка и голоса танцующих уплывали все дальше и дальше...

Проснулся он от холода. По земле стлался туман, кое-где поднимаясь до нижних веток. Небо было в звездах, но они бледнели: очевидно, ночь начинала отступать. Где-то вдали аукнулся девичий голос, ему ответил мужской, и опять все стихло. Только лес шумел да за кустами слышался плеск Волги.

«Так вот как, Федор Ильич, у нас штатская жизнь началась!» — рассмеялся Федя.

Пораздумав, он решил сначала итти в Певск — встать на партийный учет, а потом уже в Головлево.

Под ноги попадались бумаги, пустые бутылки, банки из-под консервов; влажные ветки цеплялись за плечи, прохладно касались лица.

В Певск пришел на рассвете. На окраине пышной зеленью шелестели деревья, и было их столько, что казалось, шел садом. От нечего делать Федя долго бродил по зеленым улицам и, видя, как одно за другим открываются в домах окна, думал: «Какие-нибудь из

этих окон — ее. Если бы знать какие — постучал бы и зашел...»

Заметив, что солнце поднялось над крышами, он заторопился к Дому Советов.

Несмотря на ранний час, в райкоме уже было людно. Стучали машинки.

— Товарищ Зимин всегда лично знакомится с новыми членами партии, — сказал Феде секретарь. — Пройдите в кабинет.

Зимин сидел, за столом и разбирал бумаги. Федя назвал себя, и Зимин, внимательно, оглядев его, улыбнулся.

— Знаю, был у меня вчера директор МТС, говорил. Потолковать нужно, друг, да сегодня ничего не выйдет: уезжаю сейчас. А-а! — воскликнул он вдруг. — Вот и наша «гроза

комсомольская»! Познакомься, товарищ Голубев.

— Да мы уже знакомы, — услышал Федя и быстро обернулся.

В кабинет входила Катя. В шелковистых волосах ее запутались две рогулечки хвои.

Лицо было разгоряченное и свежее, точно росой умытое. Федя смотрел на нее изумленно и радостно.

— Ну, здравствуй! Я тебя еще вчера узнала... с лодки. Смотрю: стоит на берегу, как семафор. — Она крепко пожала ему руку, и глаза ее приветливо встретились с его глазами.

— Из Красного Полесья? — спросил Зимин.

— Нет, в лесу просидели.

— Всю ночь?

Катя кивнула.

— И понимаешь, только когда на дорогу выбралась, почувствовала, что сильно продрогла. Туманище в лесу был... брр... жуткий. Ты посиди, корреспондент, я сейчас.

Она указала Феде на диван, а сама села к столу.

— Оставить Марусю так нельзя, — сказала она Зимину. — И жалко и обидно... Такое равнодушие ко всему... Глупо как-то... Она ведь умная, и душа у нее светлая такая, порывистая... Вот видишь, есть еще, оказывается, у нас комсомольские организации, в которых так хорошо все, что «мух ловить и то веселее». — Она раздраженно бросила на

стол

карандаш.

Зимин внимательно всматривался в ее побледневшее лицо.

— Не убедила?

— Пока еще нет, — призналась Катя. — Одних слов здесь мало, Зимин. Что-то еще надо придумать... А комсомолка из нее хорошая будет.

— Думаешь?

— Конечно.

Федя слушал их разговор и все никак не мог прийти в себя от смущения. Он представлял себе Катю все такой же худенькой, скорее девочкой, чем девушкой, и думал,

что

встреча у них произойдет такая же непосредственная и веселая, как тогда. И вдруг...

Это непонятное смущение и сковывало его и злило: «Дурацкий вид, наверное, у меня: как у пушкинского старика, когда тот пришел от золотой рыбки и увидел новую избу».

— А что случилось с ней? — спросил Зимин.

— Так... После расскажу.

В кабинет вошел Озеров. Встретившись глазами с Катей, он смущенно проговорил: «Ах, да...» — и повернул обратно.

— Ой, нет! Обожди-ка! — Катя поднялась со стула, но предрика, не оглянувшись, хлопнул дверью.

Зимин расхохотался.

— Улепетнул, — с досадой вырвалось у Кати. — Неспроста это он так.

Она подбежала к двери, распахнула ее и крикнула:

— Озеров! Слышишь? Я сама к тебе сейчас приду!

— Видал, механик? — Зимин подмигнул. — Неправду я сказал про «грозу комсомольскую»?

— Ты знаешь, в чем дело? — прикрыв дверь, встревоженно спросила его Катя.

— Догадываюсь.

— И главное, вчера ведь весь день в лодке рядом со мной сидел и — ни слова.

— Понимаешь, товарищ Голубев, — обратилась она к Феде, — этот предрик... На каждом шагу от него тормоз, каждую копейку приходится у него зубами вырывать.

Хлопнул

дверью... Ну, да все равно далеко не убежит.

— Вот-вот, запомни, механик. Смотри, чтобы и тебе не пришлось, как предрику, от нее бегать.

Катя скосила на Зимина засмеявшиеся глаза и взяла Федю за руку.

— Пойдем, а то секретарь потом скажет, что мы у него отняли дозарезу нужные минуты.

— На-днях я буду у вас в МТС, — пообещал Зимин, поднимаясь из-за стола.

В дверях общего отдела райкома толпились колхозники, громко о чем-то споря.

— Смотришь, как потолстела, — перехватив удивленный федин взгляд, улыбнулась Катя. — Ой, Федя, здорово! Старые платья не годятся, приходится новые шить. Разор один... — Глаза ее были все такие же — голубые, искрящиеся, но в веселом вихре золотистых точек мелькало что-то трудно уловимое, придававшее взгляду выражение затаенного лукавства.

— Ты и тогда была такая же, но тогда... тогда ведь была совсем молоденькой, — проговорил он сбивчиво, смущенный ее взглядом. — А теперь... как бы это сказать.

Катя засмеялась. Подойдя к окну, она присела на подоконник. Федя сел рядом.

— Не сердись, что я тебе тогда на письмо не ответила?

— Нет. Разве на тебя можно сердиться! А почему не ответила?

— Из-за твоего художества. Удружил, нечего сказать! Житие какой-то советской великомученицы Екатерины сочинил. Можно подумать, что у комсомолки Волгиной пятьдесят голов и сотня рук! Что же, по-твоему, я одна все это сделала? После твоего

очерка

стыдилась людям в глаза смотреть. Ведь девчата могли подумать, что это я тебе сама все

так

рассказала. Ох, и злилась же я!

Федя сначала растерялся. Очерк о Кате он считал лучшим из всего написанного им за время работы в газете. Но голос Кати звучал дружелюбно, и он от души расхохотался.

— На живого человека трудно угодить, особенно если этот человек похож на Катю Волгину. И сейчас все злишься?

— Что ты!.. Век злиться — раньше времени состаришься. После хотела написать, да время такое было — некогда. А потом думала: куда писать? То ли ты там, то ли в другом месте. Ведь у армии постоянной квартиры не бывает. Так и не написала. Беды-то в этом большой нет, правда? Вот то, что ты вместо корреспондента механиком стал, мне нравится.

— А как тогда лен-то, Катя, отстояли? Люба где? Так, кажется, звеньевую звали?

— Отстояли. А Любаша... Ее звено три года подряд первенство держит. Да только в этом году вряд ли удержит. Ты понимаешь, что теперь на полях делается? Такие звенья, как у Любаша, у нас повсюду. Соревнование идет — душа радуется!

— Значит, агротехника берет свое?

— Еще бы!

Эти разгоревшиеся глаза, задор, звучащий в ее голосе, были очень знакомы Феде.

Смущение и неловкость исчезли. Он чувствовал себя рядом с Катей легко и весело.

Армейская жизнь, бои с белофиннами, госпиталь — все это отступило куда-то в глубокую даль. И было у него такое ощущение, что расстались они не четыре года назад, а совсем недавно, может быть вчера.

— Скажи, Катя, если не секрет, почему тебя Чайкой зовут?

— Понятия не имею, — рассмеялась она. — Об этом ты, если в Залесском будешь, спроси заведующего животноводческой фермой Михеича. Вздумалось старику, и прозвал, а от него по всему району пошло. — Она опять засмеялась. — И фамилия, говорит, соответствует: где Волга, там и чайки летают.

— Знаешь, в сущности, ты ничуть не изменилась, — с широкой улыбкой сказал Федя.

— А зачем же мне меняться? — проговорила Катя недоумевающе. — Чудак ты, Федя! Это курицы к осени линяют. А мы не курицы. До нашей осени далеко, правда? Как это у Маяковского, помнишь: «Лет до ста расти нам без старости». Ты ведь тоже, в сущности, не изменился. Такой же веселый. А я люблю веселых!

Колхозники, стоявшие в дверях, разошлись, а некоторые райкомовцы смотрели в сторону Кати и Феди, привлеченные их громким разговором.

— Мы людям работать не даем, — сказала Катя, спрыгнув с подоконника. — Я ведь с тобой не поболтать села. Дело есть у меня к тебе.

— Какое?

— Пойдем ко мне, там переговорим.

Из коридора донесся топот ног, звонкие веселые голоса.

— Наверно, меня разыскивают, — прислушиваясь, сказала Катя.

Она не ошиблась. Едва вышли они из дверей, как парни и девушки шумной толпой обступили ее и повлекли за собой. Говорили все разом, каждый о своем. Катя виновато взглянула на Федю.

— Ты иди, а я в Головлево приеду. Подходит?

— Со всех сторон.

Он засмеялся и с удовольствием еще раз отметил про себя: «Все такая же, а если изменилась — то... еще лучше стала».

Приехав в Головлево, Федя надел комбинезон и сразу же принялся за осмотр тракторов.

Поздно вечером, выпачканный и усталый, он пришел к директору. В кабинете был полумрак.

Директор ходил по кабинету из угла в угол и курил.

— Ну, хозяин, кони будут бегать.

— Все?

— Все.

— И к началу уборки?

— Конечно. Свет зажигают к ночи, а не на рассвете. Вот, например, теперь — в самый раз. — Федя повернул выключатель, и кабинет стал как бы вдвое просторней. На осветившемся столе заблестела телефонная трубка.

— Значит, все пойдут? — все еще не решался поверить директор.

— Пойдут, хозяин, пойдут.

— Спасибо, друг, душевное спасибо. Все, значит! И в какую же сумму обойдется ремонт?

— Недорого, — глядя на телефон, рассеянно отозвался Федя. Он думал, что сейчас можно взять трубку и поговорить с Катей. Хотелось услышать ее голос. Главное, и предлог имелся: сама сказала, что есть у нее к нему какое-то дело. Федя взглянул на часы: было уже поздно. «А вдруг...»

Он снял трубку и вызвал райком комсомола.

— Тетя Ньюша у телефона, уборщица. Вам кого? — послышался в трубке грубоватый голос.

— Товарища Волгину.

— Катерина Ивановна в Залесское уехала. Еще под вечер. А вам зачем?

— По делу.

— Тогда в другой раз звоните.

Федя повернулся на звук открывшейся двери и торопливо положил трубку. На пороге стояла Катя.

— Извини, товарищ секретарь, я не при галстукe, — пошутил он, оглядывая свой запачканный комбинезон и черные от машинной мази руки.

— Ничего, мне такие больше нравятся, — сказала Катя, переступая порог.

— Учту, и с этого дня в баню ни ногой.

Катя рассмеялась.

— Грязь грязи рознь. Просто грязных — не люблю. — Она поздоровалась с директором и села на стул возле окна.

— Я к тебе, Федя, только ненадолго: меня на дороге подруги ждут. Дело простое — многие девчата трактористками хотят стать. Курсы нужны. Вот твое начальство все время жалуется — преподавательских кадров нет. Сможешь ты при МТС провести такие курсы?

— Курсы?

— Да. Ты подумай об этом, а тогда уж подробнее поговорим. Сейчас мне важно твое согласие.

— Не знаю, Катя, — сказал он помолчав. — Работать — это одно, а преподавать не приходилось. Совсем новое для меня дело. Подумаю.

— Подумай.

Она встала и, прощаясь с директором, спросила:

— Зимин не приезжал?

— Нет. Но вчера говорил, что приедет. Ты не знаешь, зачем?

Катя улыбнулась.

— Беспокоишься? Значит, грешки за собой знаешь. Без воды мокро не бывает, Матвей Кириллович.

Повернувшись к Феде, она с лукавой усмешкой взглянула на его руки.

— С тобой прощаться — на мыло большой расход. Так я надеюсь на тебя, Федя. Не подведи. А что дело новое — это ничего. У нас каждый день новый. Ну, пока, товарищи.

Федя пожелал директору спокойной ночи и вышел вместе с Катей во двор.

— Я забыл утром спросить: что за история у тебя с предриком?

— Ой, ты и не представляешь, какое свинство: смету на вечернюю школу урезал!

Прибегаю к нему в кабинет, а он опять — шмыг мимо, и след простыл. Полдня ловила его

по всему городу, да часа два ругались, пока смету по-старому не выправил. Куда это годится!

— А чего же вы с Зиминным, смотрите? Взяли бы его да легонько... с председательского места, чтобы местный пейзаж не портил.

Катя смотрела на него долго, удивлена.

— Да ты что, Федя? Это Озерова-то? А ты знаешь, кто он, Озеров-то? Из наших колхозников. Хозяин — цены нет. Две электростанции построил, дороги... Видел, какие у нас дороги? Это все — его дело. Да я тебе до утра буду перечислять, что он сделал, и не успею. А ты: «пейзаж»... Эх ты, корреспондент!

— Пощади! Что ты на меня накинулась? — засмеялся он. — Я же не знаю этого Озерова, слышу — сердисься, и подумал: значит, дрянь-человек.

Она задумчиво улыбнулась.

— На него и сердиться-то по-настоящему нельзя. Другой раз разругаемся так, что, кажется, год не помиримся, а через несколько минут встретимся — посмеивается, как будто

между нами ничего и не было.

Из-за забора звонко донеслось:

Нынче в море качка...

Катя подтянула:

Вы-со-ка-а...

Ее услышали, и песня вмиг оборвалась.

— Катюша-а! Чего ты там? — закричали девушки.

— Сейчас, девчата... С вашим будущим учителем прощаюсь. Как только обдумаешь, позвони, — сказала она Феде и побежала к воротам.

Открывая калитку, оглянулась:

— Жду.

Глава седьмая

В кузове грузовика тесно сидели девушки — все из звена Танечки Камневой. Танечка была в том же желтом платье, в котором видела ее Маруся на берегу Волги. Шелковый шарф

ее развевался на ветру, задевая концами лица подруг. Катя села с ней рядом, поджав под себя

ноги, и шофер включил мотор.

— А может быть, Танечка, ты зря шум поднимаешь? Увидела одну-две травинки, а они тебе за луг показались...

— Да нет же, Катюша, кустами трава.

— Нас тогда, подсидела эта Женька, а сама очковтирательством занимается! — возмущенно зашумели остальные девчата.

— Не нравится мне, девчата, это слово, — хмурясь, сказала Катя. — Что значит «подсидела»? Не подсидела вас Женя, а помогла. Оттого, что, она обнаружила у вас неправильность в подкормке, лен хуже не стал. Самый лучший на весь район.

— Лучший-то лучший, а показатели нам снизили. Мы и сами бы исправили подкормку.

— Вот мы теперь им тоже подсобим... За ночь все поле вычистим, а траву к вам в штаб... Подходит, Чайка?

Не ответив, Катя запела:

Девушки-подружки...

Глаза девчат оживились.

Сердцу не прикажешь... —

подхватили все дружно и звонко.

Песня рвалась на ветру, а голос Кати, выделяясь, забегал вперед, точно ему, как и самой Кате, было некогда:

Эх, сердцу не закажешь огненно любить...

Так, на полном ходу, машина влетела в Красное Полесье. На улице было тихо и безлюдно. Только у ворот своего дома стоял Тимофей Стребулаев в полотняной рубаше, аккуратно стянутой поясом, в до блеска начищенных сапогах. Чернобородый, смуглый, с лохматыми бровями, он был похож на цыгана.

Грузовик замедлил ход.

— Товарищ Стребулаев, здравствуйте! Где Кулагины живут?

— Здравствуйте, Катерина Ивановна. — Он степенно поклонился. — Вот переулочек проедете, и налево.

Оставив облако пыли, грузовик скрылся в переулке.

— Степка! — позвал Тимофей.

Со двора с вилами в руках вышел кривоногий парень лет двадцати пяти. Лицо у него было круглое, поросшее рыжеватой щетиной.

— Беги к Кулагиным: старуха нонче лошадь просила — в город, что ли, свезти ей чего надо. Скажи — потому отказал, что по хозяйству были заняты, а на завтра — пожалуйста, хоть на целый день. Понял?

Степка с неохотой пробормотал:

— Сейчас, умоюсь.

— Не женихом посылаю, — рассердился отец. — Хватит одного раза-женил дурака на свою шею. Брось вилы и беги, пока Волгина не уехала. Да скажи: я тебя еще в полдень посылал, а ты, дескать, замешкался по хозяйству и забыл.

...Выбежав на шум, Маруся растерянно оглядела сидевших на грузовике девушек. Катя спрыгнула наземь.

— Что, Марусенька, не ожидала так скоро? Смотри, сколько я тебе гостей привезла.

Встречай.

Маруся смущенно проговорила:

— Пожалуйста.

— Шучу, Марусенька, — засмеялась Катя. — Мы не в гости, а по делу.

Усадив учительницу на завалинку, она предложила ей обойти всех звеньевых-льноводок, расспросить их о жизни, о работе, о чем мечтают они, и все подробно записать.

— Для меня это очень важно. Я бы сама, да некогда, а надо скорее. Я сразу и вспомнила о тебе.

Маруся задумалась.

— Может быть, времени нет? — спросила Катя.

— Нет, не то. Я думаю, зачем это?

— Обкому нужно, понимаешь? — Катя вынула из рукава кофточки листок. — Вот список.

— И очень скоро надо?

— Очень. Вот если бы ты смогла прямо завтра с утра. Не выйдет?

— Хорошо, — согласилась Маруся и, помолчав, добавила: — Для тебя.

— Конечно, для меня. Может быть, и я пригожусь тебе за чем-нибудь.

...Когда Степка выбежал из переулка, Маруся стояла у калитки одна и задумчиво смотрела вслед отъезжавшей машине.

Шофер, чтобы наверстать время, потраченное на заезд в Красное Полесье, за селом пустил грузовик на «сверхполную» скорость; девчата с хохотом и визгом цеплялись друг за дружку. Танечка ухватилась рукой за край кузова, Катя держалась за ее плечо. Волосы у

всех

разлохматились, ветер парусами раздувал кофточки.

— Так это она? — сказала Танечка. — Я уж видела ее, на Волге. Скучная она...

— Ничего, будет и веселая. Только ты с ней, Танечка, когда она придет к тебе, от души... Понимаешь?

— Катюша, а что с ней?

— Об этом не надо ее расспрашивать. И вообще ни о чем пока не надо расспрашивать. В Жуково они приехали в половине двенадцатого ночи и сразу же пошли на поле. Пробирались пшеницей по меже, освещая тропинку фонариками. Издали донесся шум голосов.

Когда подходили к льняному полю, слышался уже только один голос Жени Омельченко, задушевно рассказывавшей:

— Ой, дивчата, який Днипр! Едешь на челне, наклонишься через край и, як в громадное зеркало, дивуешься. А степи! Ой, що за степи! Пойдеш ляжешь, и вся цветами да травами пропитаешься. Недели на две нияких одеколонов и духов не треба. На бахчах — кавуны, як поросята круглые. Що за сады! А скрозь сады хаты — чистеньки, белы, будто тильки що народились и дивуются, як все вокруг гарно, зелено да солнцем богато. А писни яки!..

Дивно

у нас по вечерам спивають. Раз послухаешь — век не забудешь. А гопак!.. Дивчина пройдет по кругу — монисты звенят. А парубки!..

— Здравствуйте, девчата! — поздоровалась Катя. Женя оглянулась и, увидев головлевских льноводок, прошептала подругам, лежавшим вместе с ней на лугу:

— Ну що, неправду я говорила? Она быстро поднялась.

— Будь здорова, Катюша! А кто це с тобой? Ба, Танечка! И со всем отрядом... До нас? Будьте ласковы, — в голосе ее слышалась плохо скрываемая насмешка.

— Спасибо за привет, — настороженно поблагодарила Танечка. — Что это вы ночью здесь делаете?

— Що?! Да нищо! Пошли под окна писни спивать, про лен разбалакались, да и пришли сюда, и вот дивимся, дивимся, сил нет очи отвести, и до дома неохота.

Женя была на целую голову выше Танечки да еще нарочно встала на бугорок, и Танечке приходилось смотреть снизу вверх.

— Женя! В нашем договоре есть пункт, чтобы поля до самой уборки содержались в чистоте — ни одной травинки. Так? — Голос ее звучал ласково, вкрадчиво.

— Це так, Танечка, — добродушно подтвердила Женя.

— Твое звено по чистоте первое место занимает в районе. Об этом и в газете написано.

— Це так.

Жуковские льноводки, шумно здороваясь, насмешливо поглядывали на головлевских.

— Ты очковтирательством занимаешься, Женька, — резко изменила тон Танечка. — У тебя травы — хоть сенокос устраивай.

— Вот це не так, Танечка.

— Проверим.

— Будь ласкова.

Танечка позвала своих подруг, и они следом за ней гурьбой пошли в поле. Под светом фонариков нежно, дрожащими полосами заголубел лен.

— Ох, коли потопчете — головы оторву! — крикнула Женя.

Где-то вдали играла гармонь.

— Прогуляемся, Женечка, — предложила Катя, любуясь небом, которое высоко-высоко поднялось над темными полями и было часто исколото звездами, похожими на брызги раскаленного добела металла. Они отошли в сторону, и Катя коротко рассказала о Марусе Кулагиной и о поручении, которое ей дала.

— А що я кажу той Марусе? — удивилась Женя.

— Все, что близко тебе, Женя. О своем родном селе Расскажи, о том, как ты его любишь.

Женя лукаво подмигнула подругам, прислушивавшимся к их разговору.

— Щоб она до моего села вместе со мной поехала?

— Нет, она здесь останется. Ты все расскажи, и про то, почему туда уехать не можешь, что удерживает тебя здесь...

На краю поля показались головлевские девчата. Танечка смущенно подошла к Кате.

— Ни одной травинки...

— Я же сказала, що ни, — засмеялась Женя. Резко повернувшись к ней, Танечка спросила:

— Сейчас выдернули?

— Та ни! Снимите с меня голову, коли где травинка выдернутая лежит! Поищите!

...Гости прошли с фонариками вдоль поля и на вопросительный взгляд своей звеньевой промолчали.

— Сама видела сенокос целый, — раздраженно сказала Танечка.

Женя спросила ее ласково, вкрадчиво:

— А когда, Танечка, це було?

— Вчера, когда же! Шла на гулянье мимо и решила посмотреть, какое такое образцовое по чистоте поле.

— А ты, Танечка, после праздника спала трошечки!

— Ну, спала, что ж из этого?

— Так вот, во сне ты и бачила.

Женины подруги расхохотались; вместе с ними и Катя.

Танечка схватила украинку за руки.

— Девчата, посветите.

Несколько бледных лучей скрестились на больших ладонях Жени, черных от засохшей на них земли.

— Ну что? Тильки дивились на лен или траву в нем дергали? — торжествующе спросила Танечка. Ее подруги осматривали руки у вырывающихся жуковских льноводок и злорадствовали.

— Попались! Те молчали.

— Дивчата, та що вы стесняетесь? Кажите, як было, — весело проговорила Женя. —

Мы, Танечка, играли тут трошечки — кто быстрее вокруг поля на четвереньках допрыгает.

С минуту стояла тишина, потом прыснули, рассмеялись жуковские девчата, а за ними и некоторые из головлевских. Танечка сердито махнула рукой и легла на траву.

— Вот так и играли, — серьезно повторила Женя. Катя, смеясь, обняла ее.

— Выдергали?

Женя вздохнула:

— Выдергали.

— А трава где?

— Маня Карпова до дому снесла и, мабуть, зараз козла ею кормит.

Новый взрыв хохота покрыл ее слова.

Женя угрюмо оглядела девчат и подошла к Танечке.

— Пиши акт.

— Какой акт?

— За яким ехала, — сурово проговорила Женя. — Щоб показатели мне снизить.

Танечка посмотрела на Катю. Та полулегла на траву и, глядя в сторону, грызла стебелек ромашки.

— Конечно, напишем. Ты нам подкормку записала, — зашумели головлевские. Одна из

них сунула руку в вырез платья.

— У нас и бумажка для такого случая есть.

Девушки из жениного звена сидели притихшие, потупив глаза.

— А я бы на вашем месте не стала записывать, — сказала Катя.

Растерявшись от неожиданного заступничества Чайки, смолкли и головлевские.

— А Женя даст нам товарищеское обещание, что больше такое дело у нее не повторится, — продолжала Катя. — Не повторится ведь, Женя?

— Ни.

— Они-то нас подсидели, а мы — прощать! — с обидой вскрикнула головлевская девушка, приготовившая листок бумаги.

— Опять это слово! — укорила ее Катя. — Поймите, у вас же совсем другое было.

Неизвестно, сделала бы вы сами подкормку без жениной укаски. А Женя... Женя допустила сорняк — правда, но она сумела быстро исправить свой промах — вырвала траву до того,

как

ей на это указали. И если бы она сама не призналась, вы ничем не смогли бы доказать, что у нее на поле была трава! Козла в свидетели не позовешь.

Танечка оглядела своих подруг.

— Ну как, девчата?

— Придется простить, что с ней поделаешь, — отозвалось несколько голосов.

— Счастье твое, Женька, что ты быстро выдергала... — Танечка нерешительно улыбнулась. — Прощаем...

Глубокий вздох вырвался у многих жуковских девчат. Они радостно зашумели, а некоторые принялись обнимать гостей.

— Не хочу прощенья, — громко сказала Женя. Какое-то время, казалось очень долгое, слышна было, как стрекотал в траве потревоженный кузнечик.

— Женька! Что ты, дурочка! — испуганно вскрикнула одна из жуковских девушек, а другая негодуя и тревожно шепнула:

— Показатели-то снизят...

Женя отстранила подруг так резко, что монисты ее зазвенели, и повернулась к Танечке:

— Пиши акт.

Танечка отрицательно покачала головой. Женя вздохнула, исподлобья посмотрела на Катю.

треба

— Коли может так быть, щоб показатели не трогать — будьте ласковы. Тильки дивчата не должны срама терпеть. Я звеньевая, на мне и ответ. Мне одной будет наказание. Не

прощения. Сама не хочу.

— Ты как в мысли мои глядела, — засмеялась Катя. — Показатели-то, пожалуй, не тронем, а за халатность... Как думаете, девчата, за такое дело стоит по комсомольской

линии

выговор дать?

Все — и головлевские и жуковские — с молчаливым сочувствием поглядывали на Женю.

— Стоит, — глухо ответила она.

Кате хотелось крепко расцеловать ее, но она сдержалась. Стараясь придать голосу строгость, сказала:

— Если до конца уборки не случится у тебя таких промахов, совсем выговора не будет, а случится, то уж не обижайся, Женя.

Она оглянулась на Танечку.

— Все с этим вопросом?

— Все, — поколебавшись, ответила та.

— Тогда поцелуйтесь, морды противные. Два месяца дуются.

Девушки со смехом потащили Женю и Танечку друг к дружке. Рассмеявшись, они обнялись.

Со стороны льняного поля налетел ветер и, прохладной волной пробежав по лужку, зашуршал в пшенице.

— Вот и у нас близенько к Днепру такой же ветер! — воскликнула Женя. Она взволнованно повела взглядом. — Коли б все, що полюбила тут, с чем душой породнилась, взять бы все — и Катю и вас всех — да в мое село ридное. Вот так бы взять... — Она широко

раскинула руки: сцепив их, прижала к груди. — Тогда б сердцу ничего больше не треба було. — Она засмеялась сквозь слезы. — Ну, а як це неможно, тогда начнем писни спивать. Подходит, Катюша?

— Подходит, — растроганно отозвалась Катя. — Запевайте.

Глава восьмая

Зимин приехал в МТС через полторы недели. Ходил по двору, долго и придирчиво осматривая тракторы, потом часа два разговаривал с директором. Из конторы вышел один и направился в глубь двора.

Федя разбирал мотор. Секретарь сел рядом с ним на опрокинутый ящик; разговор завязался легко, по душам. К концу беседы оба остались довольны друг другом.

Федя пошел проводить секретаря до ворот.

Прямо за дорогой начиналось поле, отлого спускавшееся к густому лесу. За зеленой стеной пшеницы голубел лен, и там по меже продвигались телеги с бочками. Парни, управлявшие лошадьми, были без рубаш. Натягивая вожжи, они молодецки что-то выкрикивали, и к ним со всех сторон бежали девушки с ведрами, лейками.

— Катина армия, — сказал Зимин, удовлетворенно оглядывая поле.

— А где она сейчас, «гроза комсомольская», которой вы меня пугали? — словно между прочим, спросил Федя. Все эти дни он безрезультатно звонил в райком. Ответы были одинаковы: «Нет и не была». И лишь один раз сказали: «Была и опять уехала».

— Что это ты, молодой человек, о «грозе» скучаешь? — рассмеялся Зимин.

Федя вспыхнул и не нашелся, что ответить.

— Не смущайся, друг, я сам «люблю грозу в начале мая», — сказал Зимин, протягивая ему на прощанье руку.

Пужинав поздно вечером, Федя разделся и лег с книгой в постель, но сосредоточиться мешала гармонь, игравшая во дворе.

Под окном послышались шаги, и грубоватый женский голос спросил:

— Механик тут, что ли, квартирует?

— Здесь, войдите.

В комнату вошла женщина лет сорока пяти. Лицо у нее было простое, бесхитростное.

— Это ты механик-то? — спросила она недоверчиво и, получив утвердительный ответ, покачала головой. — Уж больно бедны твои хоромы-то — стол, стул да кровать. Придут два человека сразу — и сесть негде. Как сам голый, так и квартира.

Она достала из-за пазухи конверт.

— Катя вот прислала.

Федя вынул из конверта листок бумаги и прочел:

«Федя! Надеюсь, у тебя уже есть программа курсов. Пришли, пожалуйста. Если сможешь, приезжай завтра в Певск. У меня в планах — Зимина „проветрить“. Рано утром у меня бюро, а потом — на Волгу. Подходит? По-моему, подходит. Катя».

Наискось была сделана приписка:

«Только сейчас видела Зимина. Он называет тебя Федей, а это значит, что ты ему понравился. И еще это значит, что ты у нас одними тракторами не отделаешься. Такой уж Зимин человек. На тех, которые ему больше нравятся, он больше и работы взваливает».

— А где она сейчас?

— У нас, в Покатной.

— Вы что же — колхозница?

— И колхозница и нет. Семья у меня в колхозе, а сама в Певске. В обоих райкомах работаю.

— В обоих райкомах?

— Да, уборщицей.

— А-а... Так вы и есть тетя Ньюша?

— Откуда знаешь? — удивилась женщина.

— Три дня назад я с вами по телефону разговаривал.

— Ага-а... — протянула тетя Ньюша. — За день-то другой раз со многими говорить приходится. Разве упомнишь! Ну, личность было бы видать, тогда бы еще туда-сюда, а то голос один. По нему только и можно что различить мужика от бабы. От тебя Кате-то что передать? Планы, что ли, какие тракторные прихватить?

— Планов пока нет, тетя Ньюша, есть наброски, но в них, кроме меня, никто не разберется.

— А переписать... долго?

— Не очень.

— Ну, ежели не очень, так обожду.

Федя пододвинул ей стул, а сам сел на кровать и придвинул к себе чернильницу.

— Не торопись, разбористой пиши, — сказала она, облокотившись на стол. — Что-то я гляжу: чем ученее человек, тем хуже пишет. Другой раз подберешь с пола бумажку, смотришь на нее — и никакого понятия. Заучиваются, что ли?

— Бывает, и заучиваются, — засмеялся Федя.

— А вы говорите, говорите, — сказал он, заметив, что тетя Ньюша строго поджала губы и стала разглядывать пустые стены. — Переписывать — это разговору не мешает.

— Да чего же говорить-то?

— Ну, мало ли чего... Расскажите, как живете. О Кате расскажите, как работает она.

Тетя Ньюша улыбнулась.

— Живем — нечего бога гневить — не хуже других. Нужды ни в чем не испытываем. И я-то в райкомах теперь не из-за нужды — привыкла. Выходной день другой раз придет — длинным покажется. Хлопот, известное дело, и по дому много, а все как-то не то. Веселей в райкомах время-то идет... В одном месте ежели все время — примелькается, а тут в райкомах пока — к концу домой захочется, а дома когда — в райкомы тянет, и туда и сюда

охотой бежишь. А Катя — что же? Как всегда. Она ведь тоже, как я, в обоих райкомах, только у меня простое дело — уборка, а у нее совсем другое — голову тут надо большую иметь да ответственность. Вот и кружится.

Тетя Ньюша не спеша поправила сбившийся набок платок.

— Сообразись-ка тут... Парни и девки-то ведь теперь какие? Бедовые! А ей все мало,

все торопится. «Когда, — говорит, — молодые все станут комсомольцами, начнем стариков на комсомольцев переделывать». Я и то уже раз не стерпела: «Да куда, мол, тебе такая прорва их, комсомольцев-то? Есть полторы тыщи, и за глаза довольно». — «Что же тебе, тетя Ньюша, — спрашивает она, — не нравится, что у нас комсомольцев много?» — «Да мне, — говорю, — что: сто ли человек по полу пройдут — натопчут, тыща ли — все равно мыть. Тебе, — говорю, — мытарно». Смеется. «Ты, — говорит, — тетя Ньюша, ничего не понимаешь». Я и в самом деле человек малограмотный, в темноте выросла. Может, и не понимаю. Только ведь вижу — вздохнуть ей не дают. Полные сутки в движении. Другой раз,

не утаю, беру грех на душу. Звонят по телефону; я это спрошу — по какому делу? А сама в уме прикину — стоящее дело или так себе. Если пустое-отвечаю, что нет ее, и нарочно поглубже говорю, чтобы больше не звонили. Все хоть от лишнего человека отдохнет. Так вот

мы и работаем: она все больше по району, а я уже в кабинете сижу... обыкновенное дело — и рассказывать нечего. Что смеешься-то?

— Веселая вы, тетя Ньюша.

— Это кому как взглянется: одним кажусь веселой, другие почитают за сердитую, а я какая есть — обыкновенная.

Звуки гармони, игравшей в глубине двора, стали приближаться. Мимо окна, в обнимку с девушками, прошли трактористы и слесари. Одна из девушек задумчиво выводила:

Я стою за речкою,

В воде месяц лоснится.

Федя подумал: будь среди этих девушек Катя, он сейчас выпрыгнул бы в окно, пошел вместе с ними и от всей души подтянул бы:

Гляжу на тропиночку,

К тебе сердце вроеется.

Тетя Ньюша встала.

— Поди, кто из наших! Выйду погляжу. Вернулась она не скоро.

— Наши. Сразу признала — горластые. До ворот проводила. Не отпускали все. Ты, что же, кончил? — спросила она, увидев, что Федя задумчиво смотрит в окно.

— Кончил.

— Тогда я пойду. Дай бог, к середке ночи до дому добраться.

В дверях она обернулась.

— Будешь звонить к нам, назовись — не обману. Только имя не говори, много у нас имен-то всяких, путаются в голове. А ты скажи: я, мол, тетя Ньюша, механик голый, с тракторной станции. Тогда не спутаю.

Федя рассмеялся.

Оставшись один, он опять взял книгу, но читать не мог: мысли были полны Катей. Он видел лишь ее одну — смеющуюся, голубоглазую. И ему казалось, что он даже голос ее слышит.

— Бывают же такие девушки! — прошептал он. Часы пробили двенадцать.

Федя закрыл глаза, но спать совсем не хотелось. Закурив, он подошел к окну. Пахло сосной, лес был рядом. Оттуда неслись звуки гармони и голоса парней и девушек:

Ты ли меня, я ли тебя

Из кувшина,

Ты ли меня, я ли тебя

Из ведра.

«Пойду-ка попою с ними», — решил Федя.

Он выпрыгнул в окно и быстро пошел к воротам.

Ты ли меня, я ли тебя

Иссушила,

Ты ли меня, я ли тебя

Извела...

— с каждым его шагом приближалась песня.

Смолистый воздух кружил голову. Дойдя до опушки леса, Федя раздумал итти к парням и девушкам. В груди переливалась легкая, никогда прежде не испытанная теплота. Хотелось удержать ее в себе как можно дольше.

Лес шумел спокойно, ласково. Мох под ногами вдавливался беззвучно, точно вата.

И Федя вдруг понял, что переполняло его грудь, искало выхода. Лицо стало горячим-горячим, в висках застучало. Он стоял посреди леса, большой, сильный, растерянный, и счастливо шептал:

— Катюша... радость ты моя...

Глава девятая

У иных людей одна пора жизни переходит в другую легко и плавно, как бутон в цветок, свободно распускающийся все свои лепесточки, и жизнь ни на минуту не перестает ощущаться

единым целым: в прошлом — ее корни, в настоящем — цветение.

Но бывает и так, что день перелома — глубокий ров: все, что осталось в прошлом, мертвеет, отодвигается в глубокую даль и смотрит на тебя оттуда, точно из другого века, и тебе кажется, что жил по ту сторону переломного дня не ты, а кто-то другой, только внешне

похожий на тебя.

Так было и с Марусей. Больше недели ходила она по полям. Сначала катино поручение вызывало у нее усмешку, и она выполняла его хотя и добросовестно, но с безразличием, точно автомат; потом на душе появилась не ясная ей самой встревоженность, а в прошлое воскресенье — это было после встречи с Женей Омельченко — она пришла домой и до рассвета не сомкнула глаз. Все рассказанное девчатами переплеталось в ее мыслях с тем,

что говорила ей Катя в тот праздничный день. И в эту ночь у Маруси появилось и стало крепнуть такое ощущение, будто она проспала много лет, а сейчас проснулась и увидела,

настоящая жизнь шла мимо нее. И была эта жизнь такой необозримо широкой, было в ней столько светлого и волнующего, что ее, марусино, существование, в котором самым большим событием была неудавшаяся любовь, показалось ей до обидного бесцветным, маленьким, ненужным. И ей стыдно стало за себя.

К остальным звеньям после этой ночи она приходила робея. Расспрашивала их и настороженно ждала: а вдруг и ее спросят: «А ты как живешь, Маруся? Что ты сделала в жизни? Какие у тебя планы?»

Но, к ее счастью, все обходилось благополучно. Девушки встречали ее радушно, показывали свой лен, приглашали поработать вместе. Особенно хорошо было ей среди льноводок Любы Травкиной. Она проработала с ними весь день и охотно согласилась на предложение звеньевой заночевать вместе в поле. Люба положила ее рядом с собой и, тесно прильнув, спросила:

— Ты, конечно, комсомолка, Маня?

— Нет, — ответила она и покраснела: ей почудилось, что Люба немножко отодвинулась и, наверное, только из вежливости не отняла свою руку. — Но я подала заявление. Не знаю, может быть, примут.

И вот теперь Маруся стояла у дверей катиного кабинета и в тревоге ждала решения своей судьбы.

Члены бюро, и особенно Зоя и Саша, очень придирчиво расспрашивали, почему она оказалась вне рядов комсомола.

И когда, чувствуя на лице жар от стыда, она ответила им, как тогда Кате: «Скучно было», — ей не поверили. Она заметила это по настороженности, проступившей на лицах членов бюро. А Катя все время молчала, ни одного вопроса не задала и, встречаясь с ней глазами, отводила свои в сторону. Может быть, под влиянием настороженности товарищей

она переменяла свое мнение, решив, что для той, которая однажды равнодушно рассталась

комсомольским билетом, дверь в комсомол должна быть закрыта навсегда. Конечно, если они не утвердят, правда будет на их стороне, но и на ее стороне тоже правда, своя. До ее слуха доносились громкие голоса спорящих. Наконец все смолкли и ее позвали в кабинет.

Маруся перешагнула порог и дальше не пошла: ноги точно приросли к полу — не двигались.

Все молча смотрели на нее.

— Подойди сюда, Маруся. — Катя приподнялась из-за стола. Маруся побледнела, неуверенно сделала шаг от порога, еще один...

Катя от имени райкома поздравила ее с возвращением в комсомольскую семью и стала говорить о том, какую ответственную роль отводит партия комсомолу в великой перестройке

всей жизни. Но Маруся уже не улавливала смысла слов. Шум, схожий с шумом зеленого леса, поплыл в ее голове: «Утвердили! Не оттолкнули».

Катя крепко пожала ей руку. Маруся знала — так налагается; она тоже что-то должна сказать, и ей хотелось говорить: дать клятву в том, что она будет неплохой комсомолкой, рассказать о том большом празднике, который был сейчас у нее на душе.

— Товарищи... — Она взглянула на Катю.

Катя улыбнулась, и Маруся поняла, что секретарь догадывается о ее состоянии и радуется вместе с ней.

— Товарищ секретарь! — К глазам подступили слезы. Катя стояла рядом, такая простая, близкая. Маруся порывисто обняла ее, поцеловала и, смутившись еще больше, выбежала из кабинета.

У входных дверей столкнулась с Федей и, как близкому другу, сказала:

— Здравствуйте, товарищ!

На улице было большое оживление, обычное для выходного дня. Мимо палисадника шли нарядно одетые люди, — вероятно, на Волгу. Маруся видела их сквозь радостные слезы,

как в тумане. Ей хотелось окликнуть их, подбежать к ним и, обнимая каждого, всем сообщить, что теперь она комсомолка, что той Маруси Кулагиной, которая еще совсем недавно равнодушно отворачивалась от всех и всего, нет и никогда больше не будет — никогда! Ее место в жизни заняла совсем другая Маруся Кулагина, понявшая всей душой, что в жизни много и дружбы, и любви, и солнца. Теперь ей стало, физически близким и родным это святое понятие — родина, вбиравшее в себя все: и жизнь, и чувства, и мысли

людей. Необъятная, она была во всем, что окружало ее, Марусю, а в то же время как бы целиком помещалась в ее душе.

С глубокого безоблачного неба солнце светило ей прямо в лицо. Слезы ползли по щекам, но Маруся их не замечала.

«Здравствуй, долго от меня ускользавшая, настоящая, большая жизнь!» — растроганно прошептала она, сбегая с крыльца.

По тротуару мимо калитки шли две девушки с большими букетами цветов. Они переглянулись, и одна из них сказала:

— Влюбилась, наверное, девка.

Маруся засмеялась.

«Правильно, девчата, влюбилась, — в жизнь!» — чуть было не крикнула она им вдогонку, но удержалась, почувствовав, что ей вовсе не хочется ни с кем говорить: хочется побыть одной, может быть выплакаться от радости.

— Внимание! — раздалось из радиорупора, стоявшего в окне над крыльцом. Голос диктора прозвучал взволнованно и сурово, но Маруся не уловила второго оттенка и поэтому

не удивилась: все теперь ей казалось взволнованным.

Она быстро, почти бегом, пошла по тротуару.

— Говорит Москва! Одновременно работают все радиостанции Советского Союза, — неся вдогонку: ей голос диктора.

Возле Дома Советов на тротуарам и посреди дороги останавливались девушки, парни, пожилые люди.

Из ворот дома, мимо окон которого проходила Маруся, вышла седая женщина и, что-то сказав, побежала к Дому Советов.

Дойдя до электростанции, Кулагина опять оглянулась, пораженная тишиной. Улица перед Домом Советов была вся запружена народом, но, кроме неясных звуков радио, ничего не было слышно. Поколебавшись, Маруся повернула обратно. С каждым шагом она шла все быстрее, подгоняемая усиливавшимся предчувствием чего-то недоброго.

Люди заполнили улицу, садик перед Домом Советов, стояли на крыльце, на лавочках.

Стояли, как неживые. Радио звучало теперь отчетливо, но слова не доходили до сознания

Маруси. Она чувствовала только вот это онемение людей. Было слышно, как шумели тополя,

как, развеваясь, трепетал на крыше красный флаг.

Узнав Любу Травкину, она тронула ее за рукав.

— Что это? Кто говорит?

Люба не оглянулась, а женщина, стоявшая рядом, с трудом прошептала:

— Война, дочка... Говорит Молотов... — и провела по глазам рукой.

«Война!» — Маруся почувствовала, как от этого слова в груди у нее все похолодело.

Ошеломленная, она смотрела на радиорупор.

— «...Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении и Советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора...»

Голос Молотова гневно вырвался из рупора. Война!

Глава десятая

Телефонистка нервничала. Перед ее глазами вспыхивали и гасли красные и зеленые огоньки. Слишком много было вызовов, а для этого требовательного голоса, разыскивавшего

Катю, она включила уже седьмой загородный телефон. Из Замятина, Торопца, Жукова и хутора Красное Полесье ответили, что сегодня у них Катя совсем не была, в Головлеве ее видели утром.

Провод гудел. Издалека слышался еле внятный женский голос:

— Товарища Волгину? Она выехала полчаса назад вместе с механиком в Ожерелки. «Сейчас будет Ожерелки вызывать», — устало подумала телефонистка. Послышался отбой, и едва успела она выключить телефон Залесского сельсовета, на контрольном щите засветилась красная лампочка и в наушниках прозвучало: — Станция? Пожалуйста, побыстрее!.. Ожерелки, два нуля восемнадцать...

* * *

Ожерелками шло стадо. Поднятая пыль мутно колыхалась над воротами двора Волгиных. Под навесом, возле раскрытого хлева, Маня торопливо доила корову.

Трехлетний

Витька, цепляясь за ее подол, смотрел на небо. В сторону Залесского, под белесыми, тающими в синеве облаками, рядом с лохматой расползающейся тучей, плыли двумя треугольниками самолеты.

— Наши! — сбегая с крыльца, определил Шурка. Он распахнул мелко дрожавшую калитку, и во двор кучкой протиснулись овцы. Двух не хватало.

Шурка вышел на улицу, и в раскрытое окно кухни долетел его ласковый голос:

— Бар-бар-бар-бар...

Василиса Прокофьевна суежилась у печки. Она была, как прибежала с поля, в порыве вязаной кофточке, в запыленных мужских ботинках. Синий платок съехал на затылок, открыв растрепавшиеся волосы.

На табуретке у окна, с узелком и серпом на коленях, сидела несколько полная для своих тридцати лет Марфа Силова, жена председателя сельского совета. На загорелых щеках

ее рдел темный румянец.

У порога стояла Лукерья Лобова — соседка Волгиных. Она принесла Василисе Прокофьевне сито и, разговорившись о полевых работах, никак не могла уйти: «несколько раз толкала дверь и опять закрывала ее. Взглядывая то на хозяйку, то на Марфу, Лукерья с тоской в голосе говорила, что работы много, а толку мало: без мужиков и комбайнов с такими хлебами не управиться.

Василиса Прокофьевна торопилась. Сегодня женщины решили не уходить в лунные ночи домой, работать на поле круглые сутки. Нужно было успеть засветло сбегать к председателю и договориться об этом.

— Комбайны, говоришь? — переспросила она, смазывая сковородку. — Кто же спорить будет? Комбайном-то враз бы отмахали, да видишь, время какое. Сказывают, трактора-то приспособили немца бить. И слава тебе, господи... пожалуйста!

Толкнув сковородку на красные угли, она обернулась к Лукерье, вытерла руки о фартук и вытянула их перед собой — жилистые, потемневшие от солнца и пыли.

— Мы, соседка милая, и на этих вот тракторах выдюжим.

— А не выдюжим ежели? Ведь и я-то, Прокофьевна, завить, в работе не последний человек... Посмотришь на хлеба — душа ноет.

В печке зашипело: из глиняного горшка на горящие угли сползла пена. Василиса Прокофьевна отодвинула горшок.

— Выдюжим, — глядя на огонь, проговорила она сурово.

И, помолчав, добавила тихо, как бы убеждая самое себя:

— Ещё как выдюжим-то! Катя сказывала, в случае чего ее комсомол забудет и про сон, а в поле ни одного колоска не оставят...

— Чайка скажет — от слова не отступится, — поддержала Марфа.

Лукерья улыбнулась.

— Чайка-то — это конечно. Да что-то давно не видно ее у нас. Забывать стала.

— Милая мои, да я мать ей, и то с месяц прошло, как виделись, — сказала Василиса Прокофьевна, сердито переворачивая кончиком ножа шипящие лепешки.

— Что ж, выходят, она и мать забыла? — Взгляд ее с лица Лукерьи перебежал на Марфу. — Мы вот об одном колхозе горюем — не управимся, а ей о всех колхозах забота.

Да

еще ученья эти... Ни в гранатах, ни в винтовке ни одному парню уступить не хочет. Где уж теперь ее увидишь!..

Она тяжело вздохнула. От последней встречи с Катей в душе у нее остался тревожный осадок: лицо дочери было бледно, а глаза не голубые, а какие-то синие.

Хлопнула калитка, и тут же к окну подлетел Шурка.

— Мамка, к нам едут... Катя!

Щеки у Василисы Прокофьевны вспыхнули.

— Лукерья, Марфа, поглядите, милые, за лепешками, — попросила она радостно дрогнувшим голосом и, приткнув в уголок цапельник, побежала в горницу.

Улица была словно в дыму от пыли. Высунувшись в окно, Василиса Прокофьевна увидела: с дороги, распугнув овец, сворачивала к дому лошадь. Правил его Михеич. Катя сидела на телеге, поджав ноги; рядом с ней попыхивал огоньком папироски Федя. Из-за его головы выглядывала Маруся Кулагина. На ней был синий комбинезон. В таких же комбинезонах на задке телеги пристроились Танечка Камнева и незнакомая девушка.

„Шесть человек, а в избе-то у меня, господи!..“ — всполошилась Василиса Прокофьевна, окинув взглядом неприбранную горницу.

— Тп-пр-ру... — раздался под окном голос Михеича.

Василиса Прокофьевна схватила с подоконника тряпку.

— Горшочек-то с телятиной к жару придвиньте. Катя с разварки любит! — крикнула она и торопливо принялась смахивать со стола.

Вот гости уже во дворе, в сенях... На губах у Василисы Прокофьевны дрогнула улыбка, с каждым мгновением все шире и светлее разливаясь по лицу и расправляя на нем морщины.

— Где хозяйка-то? Угощай-ка, мать, нас ухватами, потому нежданы, непрошены.

На ходу вытирая о фартук руки, она выбежала из горницы.

— Дочку, Прокофьевна, тебе привезли, да у самых ворот и упустили, — сказал Михеич, поглаживая седые пышные усы. — Бабоньки ваши ее полонили, с нас не взыскивай.

Василиса Прокофьевна засмеялась.

— Придет. Не все же они ее в полону держать, будут. Проходи, Никита Михеич, проходи, родной.

Михеич перешагнул порог, и следом за ним в избу шумно ввалились трактористки и Федя.

— Пылищи-то на вас, батюшки! — удивилась Василиса Прокофьевна. — Пришел все же в гости, — сказала она, протягивая руку Феде. — К разу: печь-то, видишь, не истопилась,

опять накормлю блинками. Девки, я вы чего? Скидайте балахоны свои, проходите в

горницу.

Никита Михеич!

Марфа, раскрасневшись, сбрасывала со сковороды на тарелку горячие лепешки.

— Спасибо тебе, Марфуша. Теперь я сама... — Василиса Прокофьевна подбежала к печи и принялась подкладывать поленья.

— Чай, посидела бы с нами за столом, куда ты? — спросила она, увидев, что Марфа взяла с табуретки свой серп.

— Нет, Василиса, попозже, может, забегу, а сейчас не могу. Васька-то мой, поди, целый день не евши.

— Ну ладно, приходи. А Филиппу скажи: я к нему завтра рано утречком.

Девушки и Федя прошли в горницу и расселись за столом. Михеич один стоял в дверях и в раздумье комкал ободок картуза.

— Никита, да что же тебя — упрашивать? Чего, как сирота казанская, к порогу прирос, пройди в горницу.

— Нет, Прокофьевна. Обещал старухе к ужину вернуться. Ждет, поди.

— Ну, какое дело! Проголодается — и перестанет ждать. Скажешь, другая старуха на сегодня приглянулась.

Ощущение близости дочери, которая вот-вот должна появиться в дверях, отодвинуло куда-то вглубь все тревожное и тяжелое, связанное с войной. Подмигнув задержавшимся на пороге соседкам, она сокрушенно сказала:

— Ну, как знаешь, Михеич, силком держать не буду. А я было собиралась в чулан сходить — пол-литрочка там у меня есть, в пятьдесят пять градусов...

Глаза старика молодо оживились.

— Ой ли? Вот разуважишь, Прокофьевна! — проговорил он так поспешно, что Лукерья и Марфа рассмеялись. — Не пожалеешь?

— Дочку привез, праздник для меня, да еще жалеть! — ласково отозвалась хозяйка. —

Привозил бы ты ее каждый день — ну, тогда бы я, думается, ничего не пожалела, расставила

бы перед тобой бутылочки грядками...

Михеич засмеялся.

— Грядками, говоришь?.. Хе... Выдумщица ты, Прокофьевна! А я, признаться, к этому продукту большое уважение имею. Пойду, в таком случае, лошадь пристрою.

Он надел картуз и вышел.

В горнице девушки и Федя оживленно разговаривали об освобождении Ельни: сегодня весь народ только и говорил об этом.

Повозившись в печке кочергой, Василиса Прокофьевна подошла к окну. Лохматая туча расплывалась, застилая все небо. На земле перед крыльцом волнисто шевелилась пыль, а в воздухе, точно снежинки, кружились пушистые хлопья, слетавшие с тополей. Они залетали

в

окно, лепились к закоптившимся стенам, плавали под потолком.

В сенях тонко скрипнули половицы, и в избу вошла Маня, держа в руке ведро с парным молоком.

— На улице она, маманя... Соседки окружили... — ответила она на вопросительный взгляд матери.

Ждать дольше не хватало сил. Василиса Прокофьевна прислонила кочергу к шестку, одернула кофточку, поправила волосы.

— Маня, ты постой у печки-то, а я сейчас...

Во дворе Михеич и Шурка любовались конем, жевавшим овес. Старик, посмеиваясь, что-то говорил. Увидев сбегавшую со ступенек Василису Прокофьевну, крикнул: — Подойди-ка сюда, Прокофьевна! — Он похлопал коня по гриве и любовно провел ладонью по его спине. — Взглянь, как он, дьявол, ушами прядет. Огонь! Станешь рукой гладить, а в ладонь от него ток электрический... Я это только из Певска воротился, прихожу

к себе, смотрю, конюх Семен клячонку запрягает. „Куда?“ — спрашиваю: у меня теперь насчет коней строгость — чтоб попусту не гоняли. „В Ожерелки, — говорит, — Катерину Ивановну отвезти“. Ну, раз для Катерины Ивановны, тут, конечно, особая статья. И, конечно,

от чистого сердца категорически обругал я Семена, прямо скажу, некультурным словом. „Дурак ты!“ — говорю. Оно и соответствует: разве для Катерины Ивановны клячонку нужно? И вывел из стойла вот этого молодца.

Михеич приподнял морду коня. Конь, вздрогнув, скосил на него выпуклые глаза. Старик восхищенно засмеялся.

— Самолично и за вожжи сел... А мне, к слову сказать, прокатить Катерину Ивановну не в тягость, а сплошное удовольствие. Конь же, я тебе скажу...

— Обожди, Никита, я после тебя дослушаю. — Василиса Прокофьевна повернулась к воротам и радостно вскрикнула: в приоткрывшейся калитке стояла Катя в серенькой тужурке, накинутой на плечи поверх кофточки, в запыленных хромовых сапогах.

— Вот и до тебя, мамка добралась...

Катя крепко обняла мать, и они расцеловались. У Василисы Прокофьевны сладковато защекотала в горле. Слегка отстранившись, и, держа руки на плечах матери, Катя внимательно смеющимися глазами разглядывала ее морщинистое лицо.

— Не помолодела без меня? Нет, все такая же... Когда же ты будешь, молодеть, мамка? — Она еще раз поцеловала мать, — То со встречей, а это с праздником.

— С каким таким праздником?

— Разве: не знаешь? Немцев под: Ельней....

— Вот ты про что! Знаю! Чтоб им мордам собачьим, на каждом месте Ельня была. Чтобы повсюду колья осиновые над ними забить.

— Забьем. Осины у нас в лесах много. На всех „любителей“ нашей земли хватит.

— И соответствует, — подал: свой голос Михеич. — Хотя, ежели поглубже вникнуть, для таких тварюг и осины жалко. Как-никак, все же растение. Капиталы вот большие надо,

а то бы канал такой, до Берлина, спихивать их туда: плывите, мол, к своему Адольфу, пусть он, пес шелудивый, куда хочет вас деваает, а нам землю свою: мусорить несподручно. Катя засмеялась.

За воротами глухо зашумели тополя, и опять вихрасто пронеслась по двору пыль.

— Бабы-то наши, поди все жаловались, что тяжело? — запирая калитку, спросила Василиса Прокофьевна.

— Жаловались. А разве не тяжело?

— Тяжело, дочка. Хлеба-то! За всю жизнь я такого не видала. Жнешь-жнешь, а он вроде и не убавляется.

Оглянувшись на Михеича, устраивавшего своего коня под навесом, она тихо сказала:

— Другим-то, Катя, я все время говорю: „выдюжим“, а на сердце тревога: ну, как не выдюжим?.. Хлеб! Ежели он в поле под снег ляжет — это ведь, сама знаешь, для крестьянской души стыд; Да еще в такое, время. Нельзя не выдюжить.

— Хорошая ты у меня мамка!

— Уж какая есть... — простодушно сказала Василиса Прокофьевна. — Может, и не всем хороша, да на другое обличье не переродишься. Года, дочка, уже не те...

Они вместе вошли на крыльцо. Из сеней выбежал Шурка и обнял Катю.

— Ждем вот, Катюша, не дождемся, когда ты к нам свою комсомолию приведешь, — с гордостью любуясь детьми, продолжала Василиса Прокофьевна. — Только что Лукерья да Марфа Силова об этом со мной разговор вели.

— Привела, мамка.

— Только трех?

— Нет, это трактористки. А завтра, на рассвете, придут восемьдесят человек с залесских полей и семьдесят из Покатной. Пока больше не могу.

— И комбайны будут?

— Будут. Уже пригнали.

— Ну и слава богу! — Василиса Прокофьевна на радостях даже перекрестилась.

Вдали коротко белым клином сверкнула молния. Темное небо недовольно загрохотало, будто по выщербленной булыжной мостовой прокатилась тяжело нагруженная телега.

— Ого! Гроза-то, видать, на славу будет, — подходя к крыльцу, заметил Михеич.

Сунув в рот трубку, он чиркнул спичкой. Ярко осветилось лицо Кати, и Василиса Прокофьевна увидела, что оно не такое уж веселое и свежее, каким показалось ей у калитки.

Щеки осунулись еще больше, глубоко запавшие глаза густо обвела синева, а губы побледнели, и по краям очертили их тонкие морщинки.

— Устала ты, дочка. Поди, и не поешь путем, и без сна?

— Ничего, — Катя обвила рукой стойку крыльца. — Немножечко устала, правда, но это ничего... Неважно это, мамка. Высплюсь сегодня на сеновале — и вся усталость пройдет. Вот ты говоришь — тяжело, — сказала она, прислушиваясь к глухому шуму деревьев. — И в других колхозах тоже тяжело. Война наши деревни... почитай, весь район обезмужичила. Одни по мобилизации ушли на фронт, другие — добровольцами. На укреплениях оборонных сколько народу! Вот и разошлись... А хлеба нынче повсюду — не хлеба, а лес. Везде помощи ждут, а у нас народу, мамка, тоже мало осталось. И комбайны... Не достанем если завтра горючего — последние тракторы станут.

Голос её дрогнул, и она подавила пальцами горло, точно в нем застрял какой-то комок, мешающий ей говорить.

В калитку кто-то толкнулся, потом затряс ее.

Шурка отодвинул засов, и во двор вбежал Васька Силов.

Метнувшаяся до земли синевато-белая молния осветила его веснушчатое лицо, покрытое крупными каплями пота. Он поправил съехавший к плечу узел пионерского галстука и запыхавшимся голосом выпалил:

— Катерина Ивановна, тятя к тебе прислал. Из Певска звонят... Товарищ Зимин...

Срочно нужно... Дождидается у телефона.

Катя встревожилась. Она за последние дни привыкла к тому, что ее всюду настигают телефонные звонки, но на этот раз, вероятно, случилось что-то очень серьезное, если Зимин вызывает „срочно“. Он не часто прибегает к этому слову, считая, что все нужные дела — срочные. „А может быть, людей нашел?“

— Ох, уж этот мне Зимин! — рассердившись, проворчала Василиса Прокофьевна. — Что он, Катя, думает, — стожильная ты у меня, что ли? Человек устал, ночь ко двору близится, гроза, а он нате-ка — к телефону.

— Откуда же, мамка, Зимин знает, что я устала? Это во-первых. Во-вторых, если звонит, значит нужно. А в-третьих, я пошла. Ты не сердись, я быстренько. Скажи девочкам

и Феде, что я сейчас, пусть Без меня чаю не пьют. Не хмурься, не так уж я и устала... Вот погляди!

Катя легко сбежала со ступенек.

— Пошли, Вася.

Все еще ворча, Василиса Прокофьевна вышла за ворота, и следом за ней Михеич.

Катя и Васька бок о бок бежали вдоль улицы. Ветер обволакивал их пылью и трепал пустые рукава катиной тужурки.

Ты уж, Прокофьевна, не очень того... — успокаивающе пробормотал старик. —

Катерина Ивановна по существу мнение высказала. Михей Митрич зря не будет тревожить: такое у них обоих положение соответствующее... Д-да...

Занятая своими мыслями, Василиса Прокофьевна не слушала. На руку ее упала крупная капля дождя.

— А ты, Никита заметил: у нее, у губ-то, морщинки! — Она хотела еще что-то сказать, но в это мгновение по набухшей черноте неба с двух сторон сразу расчеркнулись молнии. Одна, как длинный раскаленный штык, воткнулась в лес, черневший за домами, другая переломилась надвое, и стало ослепительно светло, точно тысячи мощных электроламп зажглись вдоль всей деревни. Крыши блестели — зеленые, красные... Густая качающаяся листва тополей и плакучих берез зеленела сочно, с отсветами, как янтарь. Шапки роз и георгин, кланявшихся под окнами, сделались похожими на пятна крови. А на вдруг побелевшей земле засверкали мелкие стеклышки и холодно заблестала натертая колесами колея дороги.

Все это длилось секунду-две. И когда гулко, с металлической звонкостью отгремел гром, часто забарабанил по крышам, зашуршал в листве деревьев и с глухим шумом застучал

по земле грозовой дождь.

„Намочит! Всю как есть намочит... Господи!..“ — не двигаясь с места, встревоженно думала Василиса Прокофьевна.

Глава одиннадцатая

В Певск Катя приехала на попутной машине вместе с красноармейцами. С Зиминым встретилась на улице, возле дома, в котором он квартировал.

Отпирая ключом дверь, Зимин сказал ей, зачем вызвал.

Дождь продолжал идти такой же крупный и частый; стекла окон, закрытые черными шторами, тонко звенели.

— Двести человек? — растерянно переспросила Катя. Она сидела вся мокрая; с рукавов тужурки и с портфеля, лежавшего на коленях, стекала вода.

Зимин утвердительно кивнул.

— Тяжело, отец. Взять с производства почти некого... Придется с полей... Ты представляешь, что это значит?

— Представляю, дочка, представляю.

Катя положила на стол руки ладонями вверх.

— У всех такие, — сказала она тихо. — Не думай, что мои девочки щадят себя. Были, два случая — упали прямо на поле, водой отливали.

— Что же, по-твоему, эта мобилизация нам не под силу? Отказаться от нее?

Катя молчала, глядя на свои потрескавшиеся ладони.

— Та-ак... — хмуро протянул Зимин и, вырвав из блокнота листок, положил его перед Катей.

— Ну что же! Пиши...

Она недоумевающе вскинула на него глаза.

— В обком пиши: для нас, мол, это невозможно.

Катя возмущенно отбросила от себя листок.

— Разве я так сказала? — Глаза ее сделались злыми. — Я сказала — тяжело. А „тяжело“ и „невозможно“ — разные слова. Когда отъезд — завтра в два?

— В два.

Катя поднялась, но уходить медлила. В этой так хорошо знакомой ей комнате, казалось, было что-то новое. Она осмотрелась и поняла: „новое“ — это сыроватый воздух, пыль на стеклах книжных шкафов, на столе и под кроватью, остановившиеся на половине пятого настенные часы, открытая банка с засохшими рыбными консервами. От всего этого веяло нежилым. Очевидно, Зимин стал редким гостем в своей квартире.

В дверце гардероба она увидела тусклое свое отражение и, подойдя, провела по зеркальному стеклу пальцем. На зеркале осталась светлая, серебрящаяся полоска, на пальце — дымчатая пыль. Рядом с выключателем висел отрывной календарь, и на верхнем запылившемся листочке было „22 июня“.

— Ты что же, с начала войны не бывал у себя? — спросила она, исподлобья взглянув на Зими́на.

— Бывал, дочка, бывал. На прошлой неделе был, но дело не в этом...

Катя подтянула у часов гири, потом, забравшись на запыленное кресло, перевела стрелки и толкнула маятник. Часы затикали, и комната словно ожила. Спрыгнув с кресла, Катя подошла к календарю.

Зимин наблюдал за ней молча, досадуя на себя. Он сознавал, что поступил с Катей резко, несправедливо. Конечно, у него и в мыслях не было желания сделать ей больно, а сделал. Он заметил это по вспышке в ее глазах.

А Катя только сейчас разглядела серую усталость на его лице: веки были припухшие, красные, — вероятно, от бессонных ночей.

„Работает столько, что и домой забежать некогда“, — подумала она, обрывая листочки календаря. И ей тоже стало неловко за то, что она так резко дала почувствовать ему свою обиду.

— Погорячились мы с тобой, дочка, — тихо сказал Зимин.

Перехватив его взгляд, Катя наклонила голову:

— Ты же знаешь: я, все мы... куда партия найдет нужным нас поставить, там и будем стоять.

Щеки ее разгорелись.

— Знаю, Катя.

Последним она сорвала с календаря листок за 8 сентября. Все оторванные листки подобрала ровненько, как колоду карт, положила их на край стола и взглядом опять задержалась на пыльном зеркале.

„Выкроится время, забегу на полчасака порядок навести или кого-нибудь из девчат пришлю. Разве можно так?“ Она отошла от стола и вздохнула:

— Значит, двести?

— Двести.

Зимин проводил ее до дверей.

— С двухчасовым они должны выехать в Калинин. Отбери самых лучших. Не жалея.

Так надо.

— Знаю.

— Особенно подумай о командире. Здесь нужен человек с авторитетом, стойкий, который не растеряется в опасные минуты.

Взявшись за дверную ручку, Катя обернулась:

— А из партийцев... можно?

— Можно.

— И даже из тех, которые на броне?

— Из всех, кто находится в твоём распоряжении. Ты кого хочешь?

— Кого? Нет, это я так... Я ещё не решила. Обдумаю — позвоню.

* * *

Дождь перестал лить в половине второго ночи. В просвет расплывающейся тучи выскользнула луна. Тускло заблестели тротуары и мокрые крыши домов. Тополя шумели, сбрасывали с листьев светящиеся крупные капли.

Перед Домом Советов стояли два грузовика.

Зоя, агитпроп райкома, крутила рукоятку мотора. Её мокрые волосы отсвечивали темной бронзой. По лицу, густо усеянному веснушками, струйками стекала вода. Высунув

дверцу кабины голову, девушка-шофер смотрела на стоявших возле второго грузовика райкомовца Сашу, машинистку Нюру Баркову и шофера в кожаной куртке.

Ветер перебирал светлые кудри на сашиной голове. Шофер курил. Небритое лицо его, освещенное вспыхнувшей цыгаркой, было сердито. Он сплюнул и замотал головой, видимо не соглашаясь с тем, в чем его настойчиво пытались убедить Саша и Нюра. Голоса их

тонули

в гуле мотора.

Зоя забралась в кабину, девушка-шофер положила руки на руль, и грузовик с ревом подался назад.

Из широко распахнувшихся входных дверей Дома Советов шумной толпой вышли на крыльцо парни и девушки, и среди них — Катя.

— До восьми часов надо вручить все повестки, — говорила она, смотря на разворачивающийся грузовик. — Кого не застанете дома, ищите на производстве, у товарищей и...

Не договорив, торопливо сбежала с крыльца.

— Зоя! Не забудь передать письмо Марусе... в Ожерелках...

— Переда-ам! — донеслось с удалявшегося грузовика.

К крыльцу подошел Саша.

— Упирается этот тип, — сказал он раздраженно. Комсомольцы гурьбой двинулись ко второму грузовику, возле которого молча стояли шофер и Нюра.

— В чем дело, товарищ? — спросила Катя. Шофер вытащил изо рта цыгарку, сплюнул.

— Да все в том же. Говорили, за два километра от города, а оказывается — в Головлево. Не поеду.

— Поедешь, — спокойно сказала Катя.

Садиться? — спросила ее Нюра.

— Садись.

Растолкав девушек, шофер подступил к Кате вплотную.

— Из гаража на час отпустили, понимаете? Мне в гараж надо.

— Нет, в Головлево.

Она обняла его за спину и подвела к дверце кабины.

— С горкомхозом согласовано, не беспокойся. И потом, товарищ, когда выполняют задание для фронта, то много не разговаривают!

Шофер растерянно смотрел на комсомольцев.

— Ну что ты, как пень! — с досадой проговорил Саша. Шофер вскипел:

— Я, можно сказать... Не могу я, понял?

— Понял, дорогой. Раньше, чем ты сказал. Словами тебя не проймешь. — Саша подтолкнул его легонько в кабину и под веселый смех товарищей и двух часовых, стоявших у калитки, захлопнул дверцу.

— Список у тебя? — крикнул он Нюре.

— У меня, — отозвалась та из кабины.

— Ну, действуй.

Грузовик, точно бешеный, сорвался с места и вскоре скрылся за углом.

Услышав позади себя шаги, Катя оглянулась. К ней подходила Женя.

— Почему... не на поле?

— Была на поле, а зараз до тебя, — глухо сказала Женя. Катя пристально взгляделась в ее лицо. Женя тревожила ее давно. В первые дни войны она ходила по улицам города с пылающим лицом, с разгоревшимися глазами. Выступая на митингах, страстно рассказывала

о родной Украине и о том, как лютуют там теперь фашисты. Рвалась на фронт. Потом притихла. Подруги уже с месяц не слышали от нее ни слова об Украине. На прошлой неделе

Катя хотела поговорить с ней, но Женя замотала головой и убежала. И вот теперь она стоит перед ней — мокрая, усталая, угрюмо опустив голову.

— Женечка, ты... не захворала?

— Ни. До тебя у меня дило есть... — все так же глухо ответила Женя.

Катя села с ней на лавочку. Помолчав, Женя судорожно прильнула к ее груди и разрыдалась.

— Не могу я, Катюша... И Днепр, и степи... Где ж теперь все, що в сердце живо? —

Она опустила на землю, чтобы лучше видеть катино лицо, стиснула ее руки.

— Отпусти меня, Катюша, в ридны леса... Партизанить.

— В леса? — Катя привлекла ее голову к себе на колени. — На Украине есть кому партизанить, — сказала она ласково. — А ты, Женя, и отсюда хорошо помогаешь. Ведь здесь, на полях, никто тебя не заменит — некому. Подумай об этом.

Женя молчала. Катя бережно отстранила ее голову и встала.

— Я сейчас в военкомат, Женя. А когда вернусь, ты мне скажешь, что надумала.

Вернувшись через полчаса, она не застала Жени. На лавочке белел лоскуток бумаги.

Катя попросила у патрульного спички и прочла; „Отправилась до поля. Женька“.

Положив записку в карман, она взглянула на небо: до рассвета было еще далеко.

Глава двенадцатая

Чаепитие в доме Василисы Прокофьевны затянулось за полночь. Федя вышел из горницы последним и присел на крыльцо покурить. Воздух был сыроват и прохладен. Перед крыльцом серой жестью мерцала лужа. Девушки еще не спали: с сеновала доносились их приглушенные голоса и смех. Василиса Прокофьевна стояла возле Михеича, запрягавшего коня. Во рту старика торчала неразлучная трубка. Стягивая туже дугу, он неторопливо говорил:

— Это я тебе, Прокофьевна, прямо скажу: веселой душе водочка не вредит ни с какой

стороны. Она на веселость действует, скажем, как керосин на дрова: вдвое огонь увеличивает. А теперь, гляжу — нет: стакан выпьешь, другой — спервоначалу вроде захмелеешь, а вспомнишь, что сейчас на земле делается, и хоть в голове по-прежнему шум,

а
душа трезва. Злобствует она, душа-то...

По небу к западу мелкими островками уплывали остатки туч. Молочная облачность редела, и сквозь нее проступала синева, усеянная звездами.

Михеич вывел лошадь со двора. Попрощавшись с ним, Василиса Прокофьевна заперла ворота на задвижку. Из открытой двери сеновала уже не слышалось девичьих голосов. — Заснули, умаялись за день. А ночь-то короткая, за минуту покажется. — Василиса Прокофьевна, поправляя в волосах шпильку, подошла к крыльцу. — А ты, сокол, чего же сидишь?

— Присел закурить, да, видите, ночь-то... Хорошо так после дождя! И спать не хочется.

— После дождя вольготно, — согласилась Василиса Прокофьевна и вздохнула. — А я, сокол, нынче тоже, пожалуй, не засну... Присмотрелась давеча к Кате — морщинки... В двадцать два года-то, в цвет самый! Вот и не идут они из головы... Ведь что делает вражина проклятуций! Батюшки вы мои! А у Кати, у нее душа-то какая...

Она стояла освещенная луной, слегка ссутулившаяся, хмурая.

— Посидите, мамаша, — предложил Федя. — Расскажите что-нибудь.

— Да что ж мы будем ночь просиживать? Время-то гулевого нет теперь, — сказала она и, медленно поднявшись по ступенькам, села с ним рядом. — Какие рассказы теперь, голубь? Поди, у всех душа на одном остановилась: как бы поскорее нечисть эту

фашистскую

с нашей земли стряхнуть... Сколько жизней губится, сколько кровушки льется! И Катя моя — дома, а все равно как на войне. Ей-то, может, в суматохе и не до матери, а материнское сердце, оно, как на дрожжах, — и возит, и возит его там внутри. Зимин вызвал: говорит, брось все и приезжай. А зачем? Ну-ка на фронт? Она ведь не откажется — пойдет. В самое пекло пойдет.

С сеновала донеслись детский плач и сонный голос, сердито проговоривший: „Спи! Девочку разбудишь. Спи, говорят“.

— Маня со своим Витькой, — сказала Василиса Прокофьевна. Она помолчала, прислушиваясь к возне на сеновале. — Муж у нее в армии. Эта у меня свое гнездо уже свила.

Вот так, милый, и получается: под одним сердцем выношенные, одним молоком вскормленные, а разные...

— Которая же лучше?

— Обе дочери... — уклончиво ответила Василиса Прокофьевна. — Ишь, звезд-то сколько ныне! Кажись, никогда столько не было... Маня-то, милый, проще, понятней, за нее

я не тревожусь. А Катя... Шли мы раз с ней по улице. Веселая была Катюша. Это в ту пору, когда лен у них в Залесском выправился, желтеть перестал... Идем, я и говорю ей: „Вот,

мол,

и наша деревушка молодеть начинает — чистится, топорами постукивает. Относила старое платье, новое примеряет“. Посмотрела она на меня и засмеялась: „Что ты, мамка, какое же это новое! Пока на старое заплатки кладем. А вот подожди, — говорит, — скоро

разбогатеем

как следует и тогда уж взаправду в новое платье обрядимся. Улицы сделаем прямые да широкие, как в городах; дома-то, — говорит, — поставим для всех просторные, светлые, с садочками. По такой улице, слышь, пойдешь — душа сама песню запросит“. А у дворов кучами мусор лежал — навоз, стружки. Показывает она на эти кучи и говорит: „Вот здесь, мамка, цветы будут“. А ведь и правда, родной; чуешь, как цветами пахнет? Шел вечером-

то,

поди, видел — под каждым окном цветы: и георгины и розы. Ну ладно. Пришли это мы с ней

домой и сели, вот как с тобой сейчас, на эту ступеньку. Обняла она меня, смеется и говорит:

какую, дескать, мы скоро жизнь устроим!.. Чего только не наговорила, — сказку прямо. Тогда думалось: и в раю, поди, такого нет, как она расписала. А жизнь-то, скажу начистоту, и впрямь такая стала. Ежели чего еще нет, так война помешала. А знаю сама — будет... Она испытующе взглянула на Федю. Он курил и задумчиво смотрел на остатки туч, далеко за деревней пятнавших небо.

— Так все это, милый. Да только я тебе про другое сказать хотела. Про другое... Вот говорила она со мной, значит, а я загляни ей в глаза, да так и обмерла... Ну, прямо звезды светятся! С той поры беды все ждала... Потом время такое горячее пошло — забылось, а теперь, как война эта навалилась, опять на душе мытарно. Так явственно, милый, все помню,

будто вчера мы с ней сидели...

— Да что же в этом плохого? — не понял Федя. — Говорят, глаза — зеркало души.

Чудная вы, мамаша!

— О душе-то я знаю. Мать я. Кому же и знать, ежели не матери, — сурово проговорила Василиса Прокофьевна и тише, глухим голосом добавила: — Нехорошо, коли у человека глаза так светятся.....

— Почему же нехорошо? Она не ответила.

Ветер подул с Волги, резкий, холодный. Василиса Прокофьевна сняла с головы платок и укутала им плечи. Она сидела неподвижно, смотря, как сквозь тающую молочную облачность проступала светящаяся звездами атласная синева.

Папироса у Феди потухла, но он не замечал этого. Звезды после сравнения с ними катиных глаз стали для него как-то ближе, роднее. И в то же время думалось, что Катя, какой

желает ее часто и горячо стучащее сердце, далека от него, как эти звезды. Сейчас она, пожалуй, просто не поймет его. А сколько будет длиться эта война?

Знакомое чувство ненависти садняще обожгло грудь.

„Утром позвоню к Зимину, буду ругаться, пусть снимет бронь“, — решил он, чиркнув спичкой.

Небо светлело. Вдали, в стороне полустанка, две небольшие звездочки перемигнулись, а чуть левее одна полетела вниз, оставляя за собой серебрящийся хвост.

До рассвета оставалось час-полтора. С улицы донеслись хриплые гудки, шум подъехавшей машины и возбужденные голоса девушек.

— Господи, к нам! — Василиса Прокофьевна быстро поднялась и открыла калитку. Во двор вбежала Зоя.

— Здравствуйте, тетя Василиса! Товарищ Голубев, я за вами. Срочно... Катя вызывает. Федя встревожился:

— Зачем?

— Катя скажет сама. А где Маруся?

Маруся не спала. В одной рубашке она торопливо соскользнула вниз к двери.

— Здравствуй, товарищ Кулагина! Это вот вам от Кати. — Зоя сунула ей в руку записку и выбежала со Двора следом за Федей.

В открытую калитку Маруся увидела тархтящий грузовик, переполненный девушками.

Было еще не настолько светло, чтобы прочитать записку, и Маруся бросилась в избу.

Когда она снова выбежала за ворота, грузовик уже тронулся с места. В кузове вокруг Феде сидели девушки, которые должны были прийти с рассветом на ожерелковские поля.

— Товарищи, куда? — крикнула Маруся, но за гулом мотора никто не расслышал ее голоса.

Василиса Прокофьевна тронула девушку за руку.

— Чего она пишет-то?

— Вместо механика меня оставляет... И еще — о горючем.

— Вместо механика?

— Да, вместо механика, — растерянно повторила Маруся. Она была готова ко всему:

итти на курсы медсестер, работать на транспорте, учиться на танкиста, но сразу стать сейчас

механиком... Ведь до войны она и трактор-то только издали видела!

Комкая в руке катину записку, Маруся не отрывала глаз от удалявшегося грузовика.

Проехав мимо сельсовета, он круто развернулся и скрылся за углом.

Глава тринадцатая

Ветер шевелил бордовую занавеску с плетеными кистями. С пола — от дивана к окну, — точно в летний день, колеблющимся дымчатым рукавом протянулась пыль.

Катя сидела за своим столом в кофточке с засученными по локоть рукавами. Серенькая тужурка, еще не просохшая после ночной грозы, висела позади нее на спинке кресла. Стол был завален раскрытыми папками.

Катя взглянула на часы. Стрелки показывали пять минут одиннадцатого. Она прислушалась: часы стояли.

Заводя их, Катя взглянула на заднюю стену. Одну ее половину занимал высокий шкаф со множеством ящичков; на другой висела географическая карта СССР. Две верхние полки шкафа были застеклены. Сквозь стекла виднелись книги, газеты и пухлые папки с бумагами.

Катя смотрела на солнечные лучи, упавшие через боковое окно на верхнюю полку. Времени

было еще достаточно: когда солнечные лучи соскользнут на нижнюю полку, будет немножко

больше девяти часов.

„Каждый комсомолец, оставшийся на производстве, ни на минуту не должен забывать, что он обязан работать не только за себя, но и за товарища... — перечитала она недописанную фразу, и перо вновь закрипело по листу: — который оставил станок свой, чтобы, рискуя жизнью, строить оборонительные укрепления. Быть стахановцем военного времени — это значит“ быть верным сыном своей родной страны. Только такие люди имеют

право на...»

Издали, из зала заседаний, где собрались вызванные ночью комсомольцы, донеслась песня:

Если надо, если нужно...

Катя устало провела ладонью по горячему лбу.

«Да, так надо». Она взяла со стола списки. Столбики фамилий рябили в глазах. Что будет потом, покажет время, а сейчас так остро и так тоскливо ощущалось, что она, Катя, теряет в трудные, страдные дни двести комсомолок. Самых лучших!

Она сидела не шевелясь; и перед глазами ее плыли золотистые хлебные поля; тяжелые колосья никли, осыпались, и ветер перекатывал из ямки в ямку драгоценные зернышки. Сердце стучало как-то нехорошо, в висках стоял жар, а во всем теле ощущался мелкий озноб. Может быть, это потому, что ночью промокла насквозь?

— Едут! — влетел в окно звонкий голос.

Катя прислушалась. Шум машины, хриплые гудки...

— Все городские? — Это голос Саши.

— Городские... Все, — услышала она гул девичьих голосов и подбежала к окну.

Напротив калитки, все еще вздрагивая, стоял грузовик. Федя у открытого борта принимал на руки тех, которые не решались прыгнуть сами. Из-за радиатора выбежала

Зоя.

Девушки шумно обступили Сашу. Загибая на руке пальцы, он перечислял вещи, которые девчата должны взять с собой.

«Вот теперь, наверное, все». Катя попыталась пересчитать приехавших девушек и не смогла: глазам почему-то становилось все горячее. Она отвернулась от окна и стала ждать Федю.

Он вошел вместе с Зоей.

— Боюсь, что меня по ошибке притащили к тебе в гости.

— Нет, Федюша, не по ошибке. Сядь... — Катя указала ему на диван и обратилась к Зое: — Все? — Все до одной. Заморилась прямо. Я тебе не нужна?

— Нет. Ступай к девчатам — попроси обождать. Я сейчас приду.

Зоя вышла. Подержав за чем-то в руках свою недописанную статью, Катя положила ее на стол и села на диван рядом с Федей.

— Скажи мне, только откровенно... Я о Марусе... Сможет она заменить тебя на полях? На случай серьезных неполадок? Понимаешь?

Федя покачал головой.

— Не сможет? А я думала...

— Вот вместе с Клавдией... Глаза ее оживились.

— Смогут вместе?

— Думаю, что смогут.

— Вот и хорошо. Будем считать, что с этим вопросом покончили. Теперь другое.

Катя подошла к карте и дотронулась пальцем до черного кружка, обведенного красным карандашом.

— Это Ельня. Здесь немцев немножко успокоили, а они, как ты знаешь, и другими дорогами к Москве лезут, — сказала она тихо и провела пальцем вниз до точки, обведенной синим квадратиком. — Вот тут спешно, под ежедневной бомбежкой, строятся укрепления.

—

Федя, заинтересованный, тоже подошел к карте. — Есть сведения, что сюда движутся сейчас

немецкие войска из Смоленска и остатки разбитых от Ельни. Понимаешь, Федя? И потом, смотри, — она обвела пальцем вокруг синего квадратика, — это уже наша область.

Не отнимая от карты пальца и заметно волнуясь, она рассказала ему, что в этом пункте

на строительстве оборонительных укреплений до вчерашнего дня работало свыше тысячи человек. В их среду пробрались провокаторы. Они распространяли всевозможные панические слухи, и часть людей деморализована. Командование требует срочно оздоровить

обстановку. По разверстке обкома партии невская комсомольская организация должна послать на строительство укреплений двести человек.

— Вот ты и поедешь туда вместе с девушками. Начальником отряда. Понимаешь?

— Все понимаю, Катя, кроме одного: почему именно я? Она настороженно посмотрела ему в глаза:

— Тебе, что же... не хочется? А на прошлой неделе, помнишь, ты говорил...

— Я говорил, Катя, о другом фронте. Катя устало поморщилась.

— Сейчас, Федя, трудно сказать, что важнее: сесть самому в танк или построить такие укрепления, которые задержат немецкие танки. И то и другое важно. А с Зиминским насчет тебя уже согласовано.

— Ну что ж!.. Раз уж вы здесь без меня меня женили, я...

— Поедешь?

— Лишний вопрос, Катя.

— Я знала, что поедешь... Я, Федюша, тебе очень... как себе, доверяю... Девчата...

они все хорошие, но войну пока только по газетам знают. А работать, может быть, придется не только под бомбежкой — и под артиллерийским обстрелом. Ты, Феденька, береги их, девчат-то... И дела там выправь, и сбереги.

На разгоревшихся ее щеках выступили красные пятна.

— У тебя температура? — спросил он обеспокоенно.

— Нет... Это я вчера под дождем долго была... Ничего, пройдет. — Она прислонилась спиной к шкафу, вздохнула.

— Ты уедешь... Двести девчат...

— Все двести с уборки?

— Нет, сто тридцать сняла с полей. Понимаешь, Федюша, самых лучших отдаем.

Каждая за пятерых работала. Трудно будет без них... и пусто.

— Понимаю... Очень понимаю... Как же ты теперь?

— Не знаю. Ничего еще не придумала. — Катя отвернулась и глухо проговорила: — Зимин считает, что должна справиться. И обком так считает.

Она подошла к столу и, медленно собирая в папки раскиданные по столу бумаги, сказала:

— Сейчас устроим короткий митинг. Я поговорю со всеми, и потом... — В голове, над самыми бровями, она ощутила тупую боль и опять замолчала. В горле была горечь, точно там прилип листочек полыни.

— От Советского информбюро, — громко заговорил радиорупор в окне над крыльцом. Клин света на полу становился шире. За перегородкой постукивала машинка, и тетя Нюша, задевая за стулья, гремела щеткой. Издали слышались голоса поющих девушек. «Потом я уеду и не увижу больше ее. И как долго не увижу, неизвестно», — смотря на склоненную голову Кати, подумал Федя. С ноющим сердцем он подошел к окну.

Ярко, не по-осеннему, светило солнце, к от ночной грозы не осталось почти никаких следов.

В калитку палисадника торопливо прошли мужчина в очках и худенькая девушка, оба с портфелями, вероятно служащие: до начала работы оставалось не больше получаса.

— ...На южном участке фронта наши войска... — передавал диктор.

По дороге, оставив за собой облако пыли, проехали две грузовые машины с красноармейцами. Мелькнули на тротуаре фигуры трех девушек, подбегавших к Дому Советов. На их сливах горбились вещевые мешки.

— Митинг, и потом... — вслух проговорил Федя и как-то сразу почувствовал, что не может больше сдерживаться, скажет Кате все. Вчера она могли бы не понять его, но сегодня,

сейчас... Так страстно хотелось, уезжая, увезти с собой — нет, не ответное «люблю», — так

далеко его дерзание не простиралось, — но хотя бы маленькую надежду на возможность этого в будущем.

— Катюша...

— Что, Федя? — ласково отозвалась Катя.

Он подошел к ней, взял за руки, стиснул их.

— Я... Катюша... я... Прости, может быть, это сейчас неуместно... Может быть... и вообще... Но я...

Кровь густо хлынула ему в лицо. Звонкое биение сердца слышалось не только в груди, но и в висках; в глазах зарябило. Казалось, кабинет заполнил густой туман, и в этом тумане белым пятном вырисовывалось лицо Кати с широко открывшимися, удивленными и

немного испуганными глазами. Во рту стало сухо-сухо, и он больше не мог выговорить ни слова.

Катя поняла все. Так не смотрел на нее еще никто, но она совсем не подозревала, что, кроме привычной для нее и такой простой любви-дружбы, у Феди была еще и другая любовь, вот эта, которая смотрела сейчас на нее из его глаз. Он стоял перед ней — высокий, широкоплечий, и губы его дрожали готовые произнести то, что уже сказали глаза.

Сердце ее замерло, насторожилось, и ей захотелось прикрыть его губы рукой, чтобы они больше ничего не сказали. Стыдно как-то стало от этих еще не произнесенных слов.

Нет, нет, не надо их! Она любит его, как хорошего друга, и больше ничего не надо, ничего...

Она не сможет сказать «да». Нет, не сможет. Столько страданий вокруг, столько крови... Не надо

сейчас и думать об этом, не надо...

Она попыталась высвободить свои руки, но он не отпустил их, а сжал сильнее.

«Больно, Федюша», — хотела вскрикнуть Катя, но голос пропал. Она почувствовала, как вспыхнуло ее лицо, она наклонила голову, но все так же продолжала ощущать на себе его взгляд, и от этого ее внезапно охватила какая-то незнакомая слабость, и сердце колотилось, колотилось...

— ...наши войска оставили город... — продолжал говорить диктор. За перегородкой по-прежнему постукивала машинка.

— Катюша, я...

Катя слышала близкие голоса, топот ног.

— Девчата... ко мне идут.

Федя выпустил ее руки, и она, красная от смущения, подбежала к распахнувшейся двери. Две девушки ступила уже на порог, а остальные заполнили весь общий отдел, стояли в коридоре.

Сколько преданных глаз, сколько дорогих лиц, в которых она на память знала каждую черточку! Все они были ее подругами. Сколько вместе разных дел переделано!

В кабинет протиснулась Зоя. Пожимая плечами, она улыбалась, и все лицо ее так и говорило: «Я здесь ни при чем, Катя... Разве их удержишь?»

— Девчата, милые, я сейчас, — Катя оглянулась на Федю. Он стоял у окна и смотрел на улицу.

— Федя!

— Да? — отозвался он глухо.

— Мы, кажется, с тобой обо всем переговорили. Нет, что-то еще я хотела сказать. —

Она потерла лоб. — Да! Ты ведь без всего, а нужно хотя бы смены две чистого белья взять, полотенце, еще кое-что. В Головлево к себе съездить не успеешь, так мы тебе сейчас все здесь организуем. Хорошо?

— Хорошо, — ответил он не оборачиваясь.

* * *

Митинг закончился в двенадцать, а в половине первого на дороге перед Домом Советов выстроилась колонна девушек, по четыре в ряд, с топорами и лопатами. За спинами у всех были вещевые мешки.

У калитки стояли Катя, Зимин, Зоя, Саша, тетя Нюша, Нюра Баркова, военком и два товарища из райкома партии. Тетя Нюша, вытирая слезы, что-то говорила Кате, но та не слушала. На губах и щеках своих Катя все еще чувствовала горячие поцелуи подруг и в ладонях ощущала тепло их рук.

Федя оглядел колонну и, повернувшись по-военному, быстро подошел к калитке и козырнул. На груди его, поверх военной гимнастерки, крест-накрест перехлестнулись ремни

вещевого мешка, за поясом был засунут топор.

— Товарищи секретари партийного и комсомольского комитетов, трудовая рота певских комсомольцев готова к отправке для выполнения фронтового задания.

Он смотрел только на Зимина, стараясь не встречаться взглядом с Катей.

Ни до митинга, ни после ему так и не пришлось побыть с ней наедине. То, что жгло сердце и горячим волнением проходило в крови, не было сказано. И Катя бог знает что думает теперь о нем. Может быть, она решила, что он трусил и хотел отказаться от дела, связанного с громадной ответственностью и смертельным риском, — иначе почему же так вспыхнуло ее лицо, почему она наклонила голову, почему так обрадовалась приходу девчат?

И в зале совещаний во время митинга, встречаясь с ним взглядом, она поспешно отводила глаза в сторону. Почему?

А Кате так непривычно было видеть его лицо хмурым, а глаза тоскующими. Сейчас она жалела, что девчата помешали им там, в кабинете, — пусть бы уже были сказаны те слова. Они поговорили бы хорошо, по-дружески. Он все понял бы... Он умный.

— Твердо уверен, что задание будет выполнено вами с честью, — сказал Зимин.

Катя, прощаясь, задержала федину руку в своей.

— Ты что-то хотел мне сказать, Федя? Напиши оттуда, — попросила она тихо.

— Хорошо, может быть напишу.

Федя увидел на ее глазах слезы и сквозь них светящуюся ласку.

— Я тебе сейчас скажу это, Катюша, — проговорил он дрогнувшим голосом. — Не надорвись в работе, хоть немножко думай о себе. Об этом я тебя очень, очень прошу. До свиданья, Катенька!

Повернувшись лицом к шумевшей колонне девушек, он четко отдал команду; — Смирно-о! Колонна замерла. Федя забежал вперед.

— Комсомольская трудовая рота, шагом — арш! — Он крикнул еще что-то, и Косовицкая Вера, большеглазая и черная, шагавшая в головной четверке, тряхнула головой

и задорно, будто с вызовом кому-то, затянула:

Железными резервами...

— Ты что это, Чайка? — спросил Зимин, услышав, как тяжело вздохнула Катя.

— Сначала парни уходили, а теперь вот... Больше полутора тысяч было, а сейчас... —

И она, отвернувшись, быстро пошла к крыльцу.

Зимин нагнал ее у двери.

— Ты куда?

— На поля.

— Нет, Чайка, спать.

Катя посмотрела на него удивленно.

— Сто тридцать человек сняли с полей и — спать?

— Федя тебе правильно говорил, — сказал Зимин хмурясь. — Если надорвешься, от этого никому пользы не будет: ни полям, ни тебе.

Она молчала, прислушиваясь к удаляющимся голосам подруг.

— Я сейчас еду в обком доставать людей. За взрослых не ручаюсь, а школьников мне обещали... Конечно, вряд ли они заменят твою комсомолию, но все же... И кроме того... Я не говорил — хотел тебе сюрприз устроить: в обкоме обещали горючее дать.

— Правда, отец? — оживилась Катя. — Вот если бы на все тракторы?

— Но я не уеду, пока не дашь слова, что сейчас же отправишься спать.

Поспать очень хотелось, и в глубине души Катя соглашалась с Зиминым: немножко отдохнуть было бы нелишним. К тому же еще этот озноб и жар в голове. На ведь ее сейчас ждало какое-то срочное дело; Какое же? «Да! Статья в газету не дописана», — вспомнила она.

— Ну как же, договорились? — настаивал Зимин.

— Хорошо, отец... В Ожерелках...

Она посмотрела в ту сторону, куда ушли ее подруги и Федя. Колонна уже скрылась за углом улицы, и оттуда, с пустыря, сквозь шум тополей доносились замирающие слова песни.

— В Ожерелках у мамки выплюсь, — добавила Катя и толкнула дверь.

Часа в три, сдав в редакцию статью, она уехала в Ожерелки.

Глава четырнадцатая

Солнце еще не зашло но на горизонте уже проступал по-осеннему блеклый румянец вечерней зорьки. Тяжелые колосья пригибались под ветром, а глухого шума их не было слышно: он тонул в гуле людских голосов, в рокоте тракторов и в лязгающем грохоте комбайнов. Тракторы вели Маруся Кулагина и Танечка. Вздыхливаясь волной, падала набок золотистая пшеница. В открывающихся прогалинах мелькали фигуры женщин и детей.

— Мешки давай! Эё, мешки! — несся над полем голос Васьки Силова.

Поворачивая руль, Маруся то и дело посматривала на дорогу.

Девушки плачут... —

сквозь гул мотора доносилась к ней песня. Марусе и самой хотелось заплакать: столько пшеницы, что перед глазами расходились золотистые круги, а горючее на исходе. Утром обещали доставить с головлевской базы, а не доставили. Феде нет, и Катя куда-то запропала.

С лязганьем, потрескивая, поворачивалось за трактором громоздкое тело комбайна.

Возле него суетились женщины и пионеры. В поставленные мешки, шурша, стекало по жолобу сухое зерно.

За дорогой жали пшеницу серпами. Вместе с ожерелковскими женщинами и девушками работали комсомолки, пришедшие на рассвете из Покатной и Залесского. Вязальщицы едва успевали за жнеями. Снопы оттаскивали и устанавливали в крестцы пионеры, прибывшие рано утром со своими знаменами под бой барабанов и неумолчные звуки горнов. Из-за снопов мелькали их лица и голые коленки.

На опушке леса, острым углом врезавшегося в поле, белели осевшие полукругом парусиновые пионерские палатки. В центре этого полукруга, прикрепленный к вершине сосны, трепетал огненным языком флаг. Там же дымила кострами полевая колхозная кухня, а за деревьями снова желтело поле, мелькали головы, покрытые платками, и чей-то голос раздраженно кричал:

— Давай, давай! Эх, чорт, не задерживай!

Вдали пшеничное поле обрывала пересохшая канава, и по другую ее сторону шумела рожь. Там косили. Косцов было немного: старики, восемь прибывших из Залесского комсомолок и несколько ожерелковских колхозниц. Первым шел старик Семен Лобов. За ним — рослая комсомолка. Лицо ее от напряжения и солнца приняло почти малиновую окраску, и с него на шею в вырез платья ручейками стекал пот. Третьим косцом была Василиса Прокофьевна. Она ступала на влажную щетинистую землю твердо, всей подошвой,

и по-мужски, широко взмахивала косой. Рожь падала плавно, точно ложилась отдохнуть. Ни на шаг не отставала Василиса Прокофьевна от комсомолки. Но давалось это ей нелегко. Давно уже не притрагивалась она к косе, последние годы только на льне работала.

А ведь это всякий знает: для льна нужна одна сноровка, для хлеба — другая.

Во рту стало сухо, горло стянуло: очень хотелось пить. Не останавливаясь, она оглянулась на мальчишек и девчонок, вязавших снопы. Среди них был и ее Шурка.

— Воды, ребятки.

Одна из пионерок подбежала к бочонку, зачерпнула кружкой. Василиса Прокофьевна набрала в рот воды и, прополоскав горло, выплюнула, набрала еще и опять выплюнула.

Пить нельзя. Помнится, еще дед говорил: пить на косьбе — последнее дело; от воды кровь жижеет, усталости больше, и потливость одолевает. Дунет ветер с холодной стороны — и простыла. Лошадь и то, когда с бегу напоишь, сгинуть может.

Она отдала кружку, перевела дух... Поворот плечом — шаг... И коса опять весело запела: дзиндзи-взи... дзиндзи-взи... Мягко падает рожь. А сколько ее еще впереди! Ни конца ни края не видно.

Взмах косой... А плечо ноет-ноет, и между лопаток холодно, дрожат колени...

Мужиков бы сюда, хотя бы с пол-сотенки...

Рожь шумела, густая, высокая. В другое время сердце не нарадовалось бы, а теперь вместо радости гнездилась в нем тревога, и ныло оно так же, как руки, сжималось с тоскливой дрожью. Из головы не выходила мысль: «Ну, как не выдюжим?.. Побросают бабы и девки серпы с косами, сядут на колючую землю, головы в колени уткнут и заревут в голос:

„Сил больше нет, кончились силы!“ А хлеб будет стоять, потом наклонится, потом поляжет;

упадут на него первые снежинки... Навалятся сугробы, белые, мертвые. И станет преть да

гнить под ними колосистое золото. Будут в окопах дожидаться хлебушка — нет хлебушка». Поворот плечом, шаг — взмах косой.

Дзиндзи-взи... Дзиндзи-взи...

А голова болит, точно на нее надели раскаленный обруч. Наверное, за день солнцем нажгло, а может, оттого, что ночь без сна провела — сначала с гостями, за столом, потом с Федей на крыльце, а остаток ночи о Кате все думала. Мысли давние, в душе переболевшие, — боль и мечта материнская.

...Было это незадолго перед войной. Обняла она дочь и слез не сдержала. «Катенька, все ты в работе и в работе, ни выходных, ни воскресенья не признаешь. Неужто у тебя и семьи не будет?» — «Не знаю, мамка, — улыбнулась Катя. — А зачем мне семья? У меня весь район семья». За сердце, как заноза, зацепили тогда эти слова Василису Прокофьевну. «До каких же пор так будет? — думала она. — Соловей не человек — пичужка, и то:

родится

— молчит, а пора стукнет — петь начинает. И так все на свете. Человек же, будь то парень или девка, когда за двадцать перевалило и один бобылем остался, — это ведь вроде

растения

без цвета, без семени. Ладно, ежели бы изъян какой был, тогда еще туда-сюда, а то ведь девка в соку, в таком цветении — чью хочешь жизнь украсит». — «Стрижу все ясное небушко — крыша, а он, глянь, под застрехой нашего сеновала место облюбовал и гнездо свил, — сердито возразила она дочери. — Лета прибавляются человеку не без смыслу — перемены в жизни требуют». Катя засмеялась: «Перемен ищут, мамка, если то, чем

живешь,

наскучило. А разве я скучно живу? Скажешь, Маня веселее? Не думаю».

По глазам ее было видно, что говорила она серьезно, убежденная в своей правоте, и Василиса Прокофьевна не стала продолжать разговор. А на душу легла обида: считала, что Катя обкрадывает не только себя, но и ее. Подержать бы на руках внучонка от нее, полюбоваться им, вынянчить, и тогда бы старое материнское сердце успокоилось, сказало бы: «Все есть. Ничего больше мне не надо от жизни. Была она жестка смолоду, да под старость не поскупилась, сполна все радости выплатила, которые человеку от бога изведать положено». Война притупила эту обиду, спрятала ее в глубь души, а минувшей ночью почему-то опять эта обида наверх поднялась. Может, потому, что механик очень приглянулся и не раз за ночь подумалось: «Вот бы зять, лучшего и желать не надо».

И еще эта звезда, что камнем вниз полетела... Как вспомнишь о ней, словно кто шилом в сердце кольнет. «Не жильцы те на свете, которым в глаза звездный свет перешел. Ой, не жильцы! Время-то какое, господи! Многие теперь не жильцы».

Дзиндзи-взи... Дзиндзи-взи...

Комсомолка остановилась так неожиданно, что Василиса Прокофьевна чуть не зацепила ее пяток косой.

— Что, милая?

— Заело! — потрогав лезвие, раздраженно вскрикнула девушка. Она побежала к канаве, возле которой, оттачивая косы, сидел дед Василий, а Василиса Прокофьевна заняла ее место. Старик Семен шел легко, точно приплясывая. Коса его плавно описывала полукруги. Покорно и будто вздыхая падала на землю рожь.

— Тянись, Прокофьевна! — крикнул он.

— Тянусь, Семен, изо всех сил тянусь, — отозвалась она и оглянулась. Позади нее, стиснув зубы, шагала незнакомая ей девушка.

Дзиндзи-взи... Дзиндзи-взи... — ритмично пела ее коса.

Из-за плеча этой девушки виднелось посеревшее лицо Даши, дочери Лукерьи Лобовой. С утра она взялась горячо, а сейчас, видно, взмахивала из последних сил. На глазах ее поблескивали слезы, губы растерянно улыбались, и посвист косы звучал не так, как у других:

ди-и-зи... ди-и-зи...

Рожь тоже падала не сразу, а покачивалась, как бы раздумывая.

— Даша, передохни! — крикнула Василиса Прокофьевна.

— Нет, — сердито ответила девушка и распрямила плечи.

Дзиндзи-взи... Дзиндзи-взи...

«Упорная... Сразу видать — ожерелковская. Ожерелковские все упорные», — подумала Василиса Прокофьевна, и вдруг в спине у нее словно что надломилось — хрястнуло.

— Господи, не попусти, — охнула Василиса Прокофьевна.

— Ты что, Прокофьевна? — обеспокоенно спросил Семен.

— Ничего, Семен, ничего.

Поворот плечом — шаг... Поворот плечом — шаг...

— Веселее, милые, поднажмем, ребятушки! — крикнула она хрипло.

Дзиндзи-взи... Дзиндзи-взи...

Извела-а меня-а-а кручина-а-а... —

плыла над пшеничным полем песня. Это на участке Мани Волгиной. Здесь жали серпами, но работа спорилась не так быстро, как у клина леса. Больше половины жней — девчонки от десяти до четырнадцати лет. Ожерелковские, те еще тянулись за женщинами и девушками, а городские пионерки отставали: к серпу нужна привычка да привычка. Шли не рядом, а врассыпную.

На скирдовке снопов командовал отец Лукерьи — Игнат Лобов.

Последние пять лет дальше своего дома он никуда не ходил, а зимами, охая от ревматических болей, отлеживался на печке. Но сегодня не вытерпел. Опираясь на палку, еще затемно вышел из дому и к полудню добрал до поля, разыскал председателя.

— Под силу мне чего не найдется ли?

Филипп Силов вспомнил, что о старике Игнате в свое время ходила слава как о лучшем скирдовальщике. Он умел так укладывать снопы, что зерна не вышелушивались, ветер обдувал снопы ровненько и дождь мочил одну лишь солому.

— Найдется! — Филипп указал на бегущих со снопами пионеров и пионерок: — Вот тебе, дед, работники, командуй.

И дед стал «командовать».

Высокий, костлявый, с белой, как первый снег, бородой, опираясь на палку, он ковылял от скирда к скирду, и, выделяясь в звонком галдеже детских голосов, дрожал его старческий,

с хрипотой, голос:

— Без суетни, робятки, без суетни. Раз хорошо положить — десять раз не перекладывать.

«Разве так выглядело поле в прошлогоднюю уборку? — вытирая с лица пот, подумала Маня. — До десятка комбайнов работало. Не надо было ни крестцов, ни скирдов. Зерно бежало по желобам — успевай только мешки подставлять. Весело перекликались голоса. И если в том или другом месте раздавался крик: „Дава-а-ай! Эй, давай, не задержи-и-вай!“ — то от этого радостно замирало сердце, и ответный крик сам из груди рвался: „Ого-го!.. Давай!.. Не задерживай!“ Если же какой участок требовалось сжать, то жнеи подбирались

одна к одной. Хлеб стоял стеной, и они шли на него стеной, и падали золотистые полосы ровно, точно по линеечке. У дружной, слаженной работы — своя душа. Она и в воздухе чувствуется, ив крови проходит, и сердце захватывает так, что ни усталости, ни времени не замечаешь. Теперь не то, совсем не то... Не слышно голосов, от которых трепетным жаром охватывало бабьи и девичьи сердца. Обезмужичила деревня. Тоска. Оглянешься, а позади пшеница лестницей вырезана. Режут ее девочки, и серпы ерзают у них в руках. И после этой

оглядки кажется, что хлеба впереди еще гуще, выше и шире — в небо уперлись. И руками ли

девчонок это шумное море свалить! Легче Волгу кувшинами вычерпать. Нет, уж лучше не оглядываться».

Позади поднялся шум. Светловолосая, худенькая пионерка, с двумя косичками, выпустила из рук серп и, опустившись на землю, разрыдалась.

— Н-не м-могу... Жать б-больше не м-могу! — выкрикнула она заикаясь.

Марфа Силова обняла ее.

— Да что ты, касатушка? Разве тебя силком кто приневоливает? Сама заохотилась. А это что же... Вестимо, не под силу. Бабье дело, не детское. Ишь, руки-то... И мыто, дуры, согласились. Иди, касатушка, в свою палатку, отдохни, а потом... говорят, все же придет подмога-то. Иди, милая...

Марфа приподняла ее. Девочка покорно сделала несколько шагов и остановилась.

— Не пойду! Д-другие м-могут, и я с-смогу. Схватила рукой пук стеблей, скрипяще врезалась в них серпом. Плечи ее в последний раз дрогнули от затихающих рыданий.

— Я эт-то т-так с-сказала. Я с-смогу.

— Ох, отзовутся вам эти слезки, злыдни, — прошептала Марфа.

Одна из пионерок, вязавших снопы, тронула ее за рукав:

— Теть, а теть! Вы бы отдохнули чуть... От вас пар...

— Что ты! В уме ли, девка? Вам это нужно — вы маленькие, а нам...

Марфа приложила серп к стеблям, но не перерезала их; выпрямилась и настороженно слушала. Гул комбайнов стал жиже: казалось, грохотали не обе машины, а только одна. Оттуда, где работали комбайны, доносились взволнованные голоса, что-то кричали там, а что — никак не разберешь.

— Горючее все, — близко прозвенел детский голос, и Марфа вздрогнула.

— Бабоньки! Горючее!

— Ой! — вскрикнул один из пионеров и выронил серп: из левой руки, которую он прижал ко рту, капала кровь.

— Еще не легче! — Марфа сдернула с головы платок и подбежала к мальчику, чтобы перевязать ему руку.

Поднялся шум:

— Не надо детей допускать к серпам!

— Одни управимся!

— А не управимся, так и на их жнивье далеко не уедешь! — Покалечат только себя!

— Что случилось, товарищи? — прозвучал встревоженный голос, и шум разом оборвался; в кустах, начинавшихся у крайнего скирда, стояла Катя. Подойдя к пионеру, она осмотрела его пораненную руку и раздраженно сказала кареглазой комсомолке с добродушным усеянным веснушками лицом:

— Никонова! Я, кажется, просила, чтобы пионеров, особенно тех, которые никогда в жизни не держали в руках серпа, к жнитву не допускать!

— Катюша, да разве сдержишь их? — горячо проговорила та.

— Вот Нина — ладони в кровь истрескались, плачет, а серпа не отдает... И потом, думаешь, ничего... В свое время мы ведь тоже к серпу с этих лет привыкали...

— «В свое время», — гневно передразнила ее Катя. — Ты зачем, Коля, серп взял? — спросила она пионера.

Губы мальчика дрогнули; слезы, которые он до сих пор сдерживал, стремительно хлынули на щеки.

— Зачем? — Он кивнул на пионерку, смотревшую на него испуганно. — У Лиды взял. Посмотри, какие у нее руки, — жалко стало, мы ведь с ней дружим.

— А Лида зачем серп взяла?

Ничего не сказав, девочка наклонила голову. Катя тяжело вздохнула.

— Перевяжите ему руку быстрей.

«Воодушевлять? — усмехнулась она, вспомнив недавний разговор с Зиминим. — Война сама всех — и старых и малых — воодушевила».

К ней подошла Маня.

— Здравствуй, Катюша! Ты вчера так быстро уехала, что мы как следует и не поговорили.

— Здравствуй! — Глаза Кати, засветившиеся было ласково, вдруг подернулись синевой. — Это твой участок?

— Мой.

— Ну тогда мы с тобой после работы поговорим «как следует», — рассерженно пообещала Катя. — Ты что же это, всерьез вздумала на пионерах выехать? Тебе мало, что пионеры на вязке да на скирдовке помогают?

Маня растерялась. Разные характерами, они с Катей любили друг друга, и никогда еще сестра не говорила с ней так, как сейчас, ни разу за всю жизнь не смотрели так на нее глаза Кати.

— Девчата-то твои... Вместо полутора ста только... шестьдесят пришли, — проговорила она, путаясь в словах.

— Знаю, — отрывисто сказала Катя. На глазах Мани навернулись слезы.

— Ты вот накричала на меня, а что я... Посмотри: зерно-то осыпается...

Катя промолчала. Молчали и все остальные. Из-за скирда выбежала раскрасневшаяся Танечка.

— Катюша, у нас горячее... Мой трактор...

— Знаю. Может, будет скоро, — рассеянно отозвалась Катя.

Она смотрела вдаль, туда, где над кустами в полосе пыли вырисовывались верхушки повозок, нагруженных домашним скарбом и похожих на уродливые горбы.

Глава пятнадцатая

По дороге шли беженцы. Бок о бок двигались коровы, повозки, люди. Колеса телег, попадая в лужу, оставшуюся после ночной грозы, обдавали людей грязными брызгами. Но люди, казалось, не замечали этого. Они шли, как в полусне, — молчаливые, злые. Многие были босы. Ноги устало шмыгали по жесткой земле. Очевидно, шли издалека. Наверху повозок дремали ребятишки. Катя остановилась у самого края дороги. Мимо, чуть не задев ее колесами, проскрипела повозка. Поверх клади, привязанный к спинке сложенной кровати,

спал белокурый мальчик. Одна ручонка у него свесилась и болталась. Из-под сомкнутых ресниц выползли слезы — побегут по щекам, остановятся и опять бегут...

Рядом с повозкой шагали молодая женщина — вероятно, мать спящего мальчугана — и

высокий старик с забинтованной головой и небольшими глазами, угрюмо поблескивавшими

из-под отечных век, которые, словно подмаргивая, вздрагивали от мелких судорог, пробежавших по его темному, изрезанному морщинами лицу.

Вяло опустив вожжи, он говорил:

— Война, Серафима, как карты: у кого туз, тот ж верх берет. Немцу, видно, чорт танки родит — прут и прут, только лязг в ушах.

Старик говорил правду. Из писем с фронта Катя знала, что у ваших войск налитого меньше танков: и в этом; была одна из причин стремительного продвижения, немцев.

«Да, немцы прут и прут, а здесь хлеб стоит», — подумала она, окидывая взглядом дорогу. Куда хватал глаз, потоком двигались повозки, коровы, люди. Где-то, визжали поросята. Вытянув из корзинки длинную шею, надрывался в гоготе белый гусь.

Не всех детишек удалось пристроить на повозках, некоторые шагали в общем потоке, цепляясь за подолы матерей и сестер. Но Катя смотрела не на детишек, не на усталые и как бы окаменевшие лица беженцев, а на их опущенные руки. Сотни рук! Мускулистые, жилистые, привычные к труду... Руки, которые могут спасти урожай.

— Товарищи! — крикнула она взволнованно.

Сгорбленный, словно переломленный в поясице, старик, две женщины, косоглазая девушка и несколько чумазных ребятишек, приподнявшихся с повозок, посмотрели на нее, а остальные даже глазом не повели — точно глухие, точно на самом деле шагали в глубоком сне.

— Товарищи!

На этот раз никто не оглянулся.

Катя проглотила подступивший к горлу комок. Да, она понимала их: нелегко расстаться с родными местами, с жизнью, созданной собственным трудом! Кое у кого на бинтах и тряпках проступала кровь: были и под огнем. Некоторые, может быть, вырвались из деревень, уже занятых немцами. В любом районе, мимо которых прошли, они могли бы остановиться, и повсюду бы их приняли, как родных, и повсюду вот этими своими руками сколько помощи принесли бы они фронту, родной стране! А они не останавливались —

шли

и шли, точно под гипнозом. Куда? Неизвестно. Лишь бы подальше от фронта, подальше от того, что опустошило их души. Бежали от самих себя...

Она понимала, что у этих внешне безразличных ко всему людей, быть может, сердца на части рвутся: мысль о самой тяжелой смерти куда легче не, покидающего ни на минуту сознания, что там, в оставленном родном доме, хозяйничает теперь немец. Все это было ей понятно; но и они должны понять: хлеб-то созрел, а убирать некому. Зерно осыпается, фронтовое зерно!

Шагах в десяти от того места, где она стояла, окруженная пионерами, от шоссе отщеплялась и пряталась в кустах полевая дорога.

Катя подвела пионеров к этой дороге.

— Перегородите шоссе. — Голос ее от волнения прозвучал хрипло. Пионеры взяли за руки и цепью ринулись в середину скрипящего повозками потока. На Колю надвигалась лошадь; он остановил ее за узду. Послышались голоса:

— Тпрр-ру-у...

Но задние повозки продолжали напирать, и перед цепью детей образовалась «пробка». У полуголой женщины с растрепанными волосами расплакался на руках ребенок.

— Молчи, идол! — прикрикнула она. Схватившись рукой за веревку, туго стягивавшую

узлы, Катя поставила ногу на ступицу колеса, выпрямилась.

— Товарищи, куда вы идете? — спросила она, задерживая взгляд на тоскливом лице женщины в зеленой кофте. Та недоуменно осмотрелась, очевидно желая, чтобы кто-нибудь ответил за нее на вопрос, над которым сама она никогда и не задумывалась. Но все молчали.

— Туда, — сказала она, ткнув пальцем вдоль дороги, и отвернулась. — Шагаем, пока ноги шагают, а откажутся...

— Зачем же вам куда-то «туда» итти? Оставайтесь у нас, товарищи. Район наш просторный, богатый, а людей мало. Будете жить и работать, как у себя дома. И вам станет лучше, и нам легче. Выгонят из ваших сел немцев, тогда, кто захочет, сможет вернуться. А кому у нас понравится — оставайтесь, пожалуйста. И дома поможем поставить, и хозяйством

обзавестись.

Беженцы молчали. Было слышно, как шелестел кустами ветер.

Катя вытянула руку в сторону желтевшей за ними пшеницы.

— Хлеб стоит, товарищи...

Несколько человек медленно повернули головы по направлению ее руки.

— А про свой хлеб мы не знаем, красавица, — угрюмо проговорил один из беженцев — старик с рыжеватой бородой. Он закашлялся и стал поправлять дугу. — Может, стоит, а может, повалился. У немцев наш хлеб!

— Зерно осыпается, — сурово продолжала Катя. Старик уставил на нее воспаленные глаза.

— А у нас, девушка, семьи поосыпались. Детей кровных лишились. Так-то!..

Голос его начинал злить Катю. Лицо ее горело, и озноб тряс все тело.

— Не только наш, и ваш этот хлеб. Фронтовой! Вы сами понимаете, почему продвигаются немцы. Вот я слышала сейчас... — она оглянулась, отыскивая запомнившегося ей старика, — папаша жаловался — танков у нас мало. Может быть, это и так — мало. А вот вы, товарищи, наверное, хотите, чтобы у нашей армии и хлеба было мало!

Издали нарастал гул. Возница повозки, на которой стояла Катя, хмуро сказал:

— Слазь, девка!

А от задних повозок мужской голос разъяренно кричал:

— Эй, вы, там, впереди!.. Трогай!

Горбы узлов заколыхались, задние телеги напирали на передние.

— Никуда вы не тронетесь, пока не выслушаете меня, — решительно заявила Катя.

Она вытянула руку.

— Вон, за кустами, пропадает хлеб. Смотрите, сколько! Без него не построить танков.

С поля доносилась песня.

— Песни вот поем, товарищи, а послушаешь — плакать хочется. Не хватает сил. Стоит хлеб, осыпается.

Беженцы молчали.

Катя смотрела на них и тревожно недоумевала: «Почему молчат? Неужели ее слова не затронули их?»

Придержав развеваемые ветром волосы, она снова остановила взгляд на женщине в зеленой кофточке.

— Где муж твой сейчас?

— Муж? — В глазах женщины что-то дрогнуло, они округлились и вдруг вспыхнули

злостью. — Зачем про мужа? — закричала она, вся передернувшись. — Зачем бередишь? Но Катя уже не смотрела на нее. Глаза ее оглядывали всю массу беженцев.

— Где ваши любимые, девушки? Матери — вон те, что с грудными, где отцы ваших детей?

Шум поднялся такой, что она замолчала. Точно грозovým ветром заколыхало людей. Над головами замелькали поднятые руки. К повозке, на которой стояла Катя, протиснулась растрепанная женщина в серой шали. На ее лице из-под бинтов были видны лишь открытýй лоб и злые глаза — маленькие и круглые, как выпуклые пуговики.

— На хорошем привете — спасибо. Только, будь ласкова, не задерживай, — зачастила она, захлебываясь словами. — Вам тут война-то, может, цветочками кажется, а мы уже и ягодок отведали — не дюже сладкие.

Оттолкнув морду лошади, с другого бока подступила к Кате женщина с ребенком на руках.

— Танков, милая, с нас желательно? — положив кричащего ребенка на передок телеги, она с яростью оторвала от разодранной кофты болтающийся рукав. — Такой танк не подходящ будет? — Губы ее судорожно передернулись. — Другими не обзавелись пока, не обессудь...

Покрытая клетчатым платком старушка, совсем седая и сморщенная, с крючковато выдававшимся вперед подбородком, заплакала.

— Идем, идем, а конца все нет... — Она приподняла подол, до колен обнажив синие, распухшие ноги. — Бревна стали, смотри... Мочи никакой нет, а смерть-то, видать, забыла — не приходит...

— Из Никоновки мы! — крикнула девушка, стоявшая с ней рядом.

Шум все нарастал. Кате казалось, что беженки все до одной тянутся к ней — то ли выплакать свое горе, то ли озлобленно стащить ее с повозки. Из криков можно было понять, что у них у всех есть родные, которые погибли или бьются на фронтах... Многие и хлеба и дома свои пожгли, чтобы немцу не достались. Добро, годами нажитое, в землю позарывали. Катя с облегчением вздохнула: наконец-то перед ней были живые люди, а то как камни стояли.

— Этот хлеб для наших фронтовиков — ваш хлеб. А знаете, кто его убирает? — Она оглянулась через плечо. — Ребята, покажите им руки.

Зажав подмышками серпы, пионерки вытянули перед собой руки. Ладони их были похожи на кору — потрескались в кровь.

Катя вынула из кармана два крупных колоса, подняла их над головой.

— Смотрите, что делается! — И с силой трянула. На головы стоявших рядом с ней беженцев, под ноги им посыпались желтые зерна. Катя смяла колосья и швырнула наземь.

— Я все сказала, товарищи. Только чужаки, люди без совести могут проехать мимо протянутых рук. Если есть такие — задерживать не станем. А остальные — сворачивайте

вот

на проселок. Будем жить вместе и работать... одной семьей.

Шум оборвался так же резко, как и поднялся.

Тяжело дыша, Катя отошла к кустам. Сердце ее билось, полное тревоги, — и не только за судьбу урожая. В эти черные, страшные дни силы и бодрость духа она черпала в своей страстной вере в народ, который (в этом она была уверена) для спасения родины отдаст все-все, что может, не щадя и самой жизни. И вот теперь перед ней стояли озлобленные люди.

Куда двинутся они, по какой дороге?

Она осмотрела ближайшие ряды повозок, и в сердце ее точно лед попал: по всем жилам

медленно стал разливаться холод. Люди, которых она, казалось, вырвала из тяжелого сна, возвращались в прежнее состояние. На их лицах опять проступила равнодушная одеревенелость, глаза потухли. Задние повозки напирали на передние, и уже не один, а несколько голосов кричали:

— Трога-ай!

— Раз чужаки, чего с нами разговаривать. Трогай! Старик с рыжеватой бородой нагнулся было, чтобы поднять зерна, но соседняя с ним повозка тронулась, и он, стегнув лошадь, зашагал вперед.

Пионерки разбежались в стороны. Катя видела: ноги — босые и в разбитой обуви — наступали на золотистые зернышки, затаптывали их в пыль. Руки ее безвольно опустились,

а горло сжала спазма. Боясь разрыдаться, она резко отвернулась и, постояв, пошла кустами в ту сторону, где работала ее мать.

Во ржи по-прежнему свистяще пели косы, но косцов было уже меньше. Старик в синей рубашке и Даша Лобова сидели на краю канавы — отдыхали. Василиса Прокофьевна продолжала итти третьим косцом. Увидев дочь, она испуганно вскрикнула: «Катенька!» —

и подбежала к ней.

Катя досадливо махнула рукой. Взглянув на нее, Даша Лобова попыталась подняться, но только охнула и села опять на край канавы. Катя посмотрела вдаль — на кусты, за которыми двигались повозки, и молча взяла из ее рук косу: пока она больше ничем не

могла помочь измотавшимся в непосильной работе людям. Заняла место позади деда Семена и широко взмахнула косой. Василиса Прокофьевна несколько шагов шла с ней рядом, потом отстала: на скулах Кати крупно двигались желваки — так всегда у нее бывает, когда на

душу ляжет тяжелая боль или обида, и в такие минуты лучше не тревожить ее — дать поостыть немножко.

К косцам, перепрыгнув через канаву, подбежала Маруся Кулагина.

— Катюша, у нас горячее...

Катя повернула к ней голову и остановилась.

— А я-то что... рожу вам горячее? — закричала она зло, а в голосе слышались слезы.

Маруся оторопела.

— Косы берите, серпы! Нам только на себя надо надеяться! — размахнувшись, крикнула Катя.

Дзи... Дзиндзи-взи... — ожесточенно запела ее коса.

Солнце скрылось за верхушкой леса. По малиновой зорьке расплывались фиолетовые разводы туч, а местами она пламенела, точно пожар. Начинало смеркаться.

Глава шестнадцатая

Василиса Прокофьевна стояла возле окутанного туманом комбайна и с беспокойством осматривалась. У ее ног, на разостланном одеяле, обнявшись, спали Маруся Кулагина и Танечка. Вдали смутно белели пионерские палатки. Справа колыхалась пшеница: кто-то

шел в ней, скрытый целиком, — наверно, кто-нибудь из пионеров. Кати нигде не было видно. «Обещала прийти скоро, а вот поди ж ты... У ворот часа два понапрасну прождала ее — и здесь нет».

Ночь была какая-то чудная: небо ясное, а ни одной звездочки.

Чьи-то руки раздвинули пшеницу и исчезли. Минуты две колосья не шевелились; потом снова показались ребячьи руки, и к комбайну вышел Васька Силов.

— Ты не подумай чего зря, тетка Василиса, — проговорил он смущенно. — Я чистенько прошел, ни одного колоса не примял.

— Катю не видал?

— Очень даже видал.

— Где?

Васька кивнул на пшеницу.

— На краю поля, где кусты.

— Чего она там?

— Сидит.

Стянув развязавшийся узел платка, Василиса Прокофьевна быстро пошла вдоль пшеницы. Васька нагнал ее.

— Ты, тетка Василиса, лучше не ходи. Понимаешь? Думает она о чем-то...

Василиса Прокофьевна не слушала его, и Васька, огорченный, отстал.

Спать ему не хотелось, но одному среди ночи было тоскливо. Вернувшись к комбайну, он принялся громко насвистывать. Трактористки не просыпались. Васька сердито смотрел

на

их лица, освещенные луной.

«Комбайнерши тоже мне! Горючего нет... Себе-то, небось, не забываете горючего подкладывать. Вот у тетки Василисы одних блинов, чай, с полпуда съели!»

— Эй, девчата, блинчиков! — крикнул он.

Танечка не пошевелинулась, а Маруся чуть приоткрыла глаза и перевернулась на другой бок.

«Вот и войей с такими против Гитлера», — негодуя подумал Васька.

Со стороны Залесского подул сильный ветер. Все поле поклонилось Ваське так низко, что он увидел черневшие вдали кусты и шагавшую возле них Василису Прокофьевну. А когда пшеница выпрямилась, послышались звуки, похожие на шум дождевых капель, — осыпались колосья. Ваське до слез стало жалко эти падающие зернышки.

Катя сидела, сцепив пальцы на согнутых коленках, и смотрела куда-то поверх кустов, густо окутанных туманом.

— Беспокойная ты у меня, мамка. Ну, куда я денусь? — ласково сказала она, увидев в двух шагах от себя Василису Прокофьевну.

— Да я ничего... Сон что-то глаз неймет, и на душе мытарно. Дай, думаю, на поле схожу. Повстречала Ваську, — говорит: ты здесь. Вот, думаю, хорошо-то! Вместе посидим. Не так уж часто приходится...

Морщась от кольнувшей в поясницу боли, мать села рядом.

На коленях Кати лежали зерна пшеницы. Она собрала их в горсть и чуть расслабила пальцы. Зерна по одному, по два падали ей на колени. От зеленоватого света луны они казались совсем золотыми.

— Вот, мамка, по таким зернышкам те люди прошли... в грязь их втоптали.

— А ты плюнь. Прошли и прошли, — стало быть, сознательность такая.

— Плюнуть, мамка, легко... — помолчав, задумчиво сказала Катя. — Только сама знаешь: на народ плевать нельзя — себе в глаза попадешь, и не в сознательности тут дело. Прошли мимо, правда. Только винить-то в этом надо не их. Горе у беды тепла не ищет.

Горя

они своего хлебнули столько — до конца жизни из души не выжмет. Голодные, больные,

может раненые. Детишки одни, без родителей... Видела ведь, какие они оборванные, грязные?.. Пригреть надо такого человека... А я чужаками их назвала. Не знаю, почему... Кровь в голову хлынула... — Начав говорить тихо, она разволновалась: глаза ее заблестели, и голос дрогнул. — Поэтому, наверно, и прошли мимо.

— Душа человека, она обидчива, — вздохнула Василиса Прокофьевна. — Нелегко ее на место поставить, ежели она ходуном ходит. А тут еще такое дело! И обижаться-то грех

на

них. Точно мертвяки шагают, истинный бог! Телом-то вроде человек тащится, а душа там осталась — на родном пепелище. Попробуй отсюда достань ее.

— Об этом самом и я, — обрадованно вырвалось у Кати. — Я долго думала, и...

— Катерина Ивановна!.. Катя! — долетел из-за кустов взволнованный мужской голос.

— Филипп, — узнала Василиса Прокофьевна. Катя вскочила.

— Здесь я, Филипп!

Услышав голос отца, Васька в первую минуту струсил: отец не разрешил ему оставаться ночевать на поле. Но любопытство взяло верх. Подбежав к краю поля, он увидел в кустах Василису Прокофьевну и Катю, а навстречу им, покачиваясь, быстро

приближалось

темное пятно.

«Сильно идет! Что-нибудь стряслось».

Вот все трое сблизились. С минуту о чем-то говорили; потом Катя и отец заторопились к деревне. Отец начал отставать, а Катя побежала: берет ее, освещенный луной, быстро-быстро замелькал над кустами.

У Васьки больше не хватило терпения наблюдать, и он кинулся навстречу выбиравшейся из кустов Василисе Прокофьевне.

— Васютка, беги скорей, побуди трактористок! — крикнула она.

— А чего?

— Горючее в Головлеве сгрузили. Лексей Митрич привез.

— Горючее! — обрадовался Васька. — Эх, елки-палки, лес густой!

Уже на бегу он пообещал:

— Я их, тетка Василиса, мигом на ноги поставлю! Василиса Прокофьевна остановилась, перевела дух.

Натруженное за день тело ощущалось сплошной болячкой. Но эта ноющая боль сейчас не раздражала и даже была приятна.

— Вот и слава тебе, господи? — прошептала Василиса Прокофьевна, вложив в эти слова радость и за то, что урожай не ляжет под снег, и за Катю: теперь, может, немножко отдохнет от тоски, не будет держать на сердце обиду на беженцев. Вытирая слезы, она подошла к пшенице, ласково потрогала колосья. — Шумишь, хлебушко, гневаешься? Ничего, приберем. Один человек — сирота, а с машиной — Илья Муромец!

Из-за края поля выскочил Васька, за ним — Маруся Кулагина. Они перебежали дорогу и скрылись в кустах. Василиса Прокофьевна, отдыхая, постояла еще несколько минут и, повторив про себя: «Вот и слава тебе, господи!» — заторопилась в деревню.

Немного времени спустя она уже шла по улице и удивленно оглядывалась по сторонам. Уходя на поле, она оставила, деревню темной и тихой. И сейчас дома стояли без единого огонька, а тишины не было: слышались спорящие голоса, во дворах стучали топоры — кололи дрова; над некоторыми трубами рвались на ветру хвосты дыма.

«С чего это? Ждут, что ли, кого?»

Из калитки с ведрами выбежала мать кузнеца Вавилова. Василиса Прокофьевна хотела

было остановить ее и расспросить, но услышала протяжный окрик: «Ма-ма-а-ня!» — и заспешила к дому.

У ворот ее поджидала старшая дочь.

— Я через час уезжаю, маманя.

— Как это уезжаешь? Куда?

— В Большие Дрогали.

Луца семечки, Маня рассказала, что Катя оставляет на ожерелковских полях только косцов и подсобную силу для комбайнов, а остальные едут в Большие Дрогали и в Красное Полесье. В Дрогали бригадиром едет она, а в Красное Полесье Филипп посылает. Марфу.

— А с Витькой как же? — хмуро спросила Василиса Прокофьевна.

— С детьми пионеры будут нянчиться.

— С детьми ладно, так. А скот?

— Катя говорит, и за скотом присмотрят: накормят, выдоят, — все, что полагается.

— Ну что ж!.. А сколько комбайнов-то у нас будет?

— Четыре.

Василиса Прокофьевна улыбнулась. Ей было приятно, что всю эту ночную жизнь пробудила ее дочь.

— Там Катя-то? — спросила она, указывая в сторону сельсовета.

— Там. С колхозами по телефону разговаривает. Сейчас придет.

— Сама сказала, что придет?

— Сама.

Проводив Маню, Василиса Прокофьевна прилегла в горнице на кровать, и сон тотчас же смежил ей веки. Но спала чутко: слышала, как шумели на улице односельчане, уходившие работать в другие села. Услышав шаги на крыльце, быстро поднялась.

Катя вошла веселая.

— Ох, мамка, есть хочу, как сто волков.

— Все готово, дочка. Поди, не остыло. Печка-то жарко топлена.

Катя стащила с себя тужурку и смотрела, куда бы положить ее.

— Да вот на укладку. — Мать взяла тужурку. — А ты никак занедужила? — вырвалось у неё с тревогой. И во время косьбы и когда сидела на краю пшеничного поля она не смогла рассмотреть лицо дочери, а оно было в красных пятнах, глаза воспаленные.

— Пустяки, мамка. Грипп, наверное... — Она ласково привлекла к себе мать. — Какая ты у меня...

Василиса Прокофьевна не сдержала улыбки:

— Колхозница, как все. Какой же мне еще быть!

— Я о другом... о себе... Дура я у тебя... Нет, еще хуже! Ведь что в голову взбрело? В родном народе усомниться!

Судя по голосу, она по-настоящему злилась на себя, а в глазах злости не было — они смеялись, радовались.

Ничего не понимая, но чувствуя, как радостное волнение дочери передается и ей, Василиса Прокофьевна выжидательно молчала.

Катя крепко поцеловала ее.

— Вернулись, мамка, беженцы-то!

— Да ну?

— Вот те и ну! Забралась на крышу, смотрю — в кустах повозки двигаются, двигаются, как река.

На ходу засучивая рукава кофточки, Катя направилась к умывальнику.

Василиса Прокофьевна суетливо загремела ухватами. Отодвигая заслонку, сказала: — А я тебе на сеновале к уголку сенца свежего наложила, душистое... Кувшин молока в погреб отнесла, на холод поставила — это еще давеча... Ты ведь любишь...

Катя звучно плеснула в лицо водой. Мыло попало ей в глаза, и она жмурилась.

— Молочка-то я выпью, а насчет сенца...

Мать выпустила заслонку.

— Неужто еще куда думаешь?

— Думаю. Теперь, мамка, колхозов десяток вздохнут, а остальные? В остальных все по-прежнему. Нужно людей доставать.

— Где же ты их достанешь? — настороженно спросила Василиса Прокофьевна.

— Опять к беженцам пойду, — просто сказала Катя и, почувствовав на себе пристальный взгляд матери, улыбнулась. — Все, мамка, хорошо будет. Мы им постараемся так жизнь обставить, чтобы они себя здесь, как у родных, Сочувствовали. А ты не сердись; вот поуправимся — и прямо к тебе. С удовольствием на свежем сене поваляюсь.

Ромашками,

наверное, пахнет? Хорошо!

Вздохнув, Василиса Прокофьевна вытащила из печки горшок со вздувшейся пеной, сняла ее ложкой, — и кухня наполнилась аппетитным запахом баранину.

Без суеты, но быстро она заставила едой весь стол в горнице, точно собиралась угощать не одну дочь, а по крайней мере человек десять.

От тарелки поднимался душистый пар. Катя ела, обжигаясь, и с улыбкой взглядывала на мать, которая по другую сторону стола нарезала большие ломти хлеба. Глаза матери, встречаясь с ее взглядом, светлели; но едва она наклоняла голову, мать хмурилась.

— Может, нынче-то все-таки больше не пойдешь, а? — спросила Василиса Прокофьевна не сдержавшись.

Катя с полным ртом решительно замотала головой.

— Ну что ж... Я ничего. Девок-то своих и механика надолго отослала?

— Не знаю, мамка. Ведь там... там не только трудности... Там — смерть.

«Сунуло с языком старую, — выругала себя Василиса Прокофьевна, заметив, как сразу потемнело лицо дочери. — Полночи просидела на поле, о беженцах душой мучилась, теперь

чуть забылась, а я, дура, ей другую боль травлю...»

— Такая уж жизнь, Катюша. Бог весть, где кого смерть настичь может. Все теперь под ней ходим.

Катя смахнула в ладонь хлебные крошки. Сминая их в пальцах, искоса взглянула на мать.

— Скажи, мамка, детей рожать... трудно?

— Чего-о? — В голосе Василисы Прокофьевны прозвучало радостное удивление.

— Я про детей, — вспыхнув, сказала Катя.

Мать торопливо вытерла о фартук руки, а сердце счастливо задрожало. «Слава тебе, господи! Видать, природа в крови сказалась». Пряча улыбку, она залюбовалась покрасневшим лицом дочери, и вдруг голову обожгла новая мысль, повергшая всю ее в смятение. «А может, она... и все это время скрытничала от матери?» Сердце кольнула

обида,

но радость все же была сильнее.

— Да ведь это, Катенька, не у всех одинаково, — сказала она садясь с дочерью рядом и прощупывая глазами ее талию. — И у одной может по-разному быть раз на раз не

приходится. Вот Маню я чуть не в поле родила, доплелась до порога — и схватки. Дня три, ежели не запамятовала, отлежалась и опять — в поле... А тебя когда рожала, так едва отходили. Трудно было! — В голосе ее зазвучала ласка. — И голосистая же ты была...

прямо

с первой минуты как воздух глотнула. Я от твоего крика и в себя пришла. Повитуха Вавиловна — покойница теперь, царство ей небесное! — говорила: «Ну, Василиса, не знаю, чего сказать тебе-примета на такой голосок двойственная: или счастья приворот —

богатства

полные амбары — принесет тебе дочь, или горюшка хлебнешь через нее — до самого горла, станет» А я ее не слушаю руки, значит, тяну, чтобы тебя взять, и к груди скорей. Слово-то сказать нет сил, только губами шевелю.

Василиса Прокофьевна вытерла навернувшиеся слезы. Глаза Кати светились задумчиво, тепло.

— Раньше я как-то... — проговорила Каля тихо, рассеянно кроша в тарелку хлеб. — А это, наверное, очень хорошо... Родится, скажем, сын... сначала сморщенный, глупенький... Пищит, как котенок... Потом понимать начинает... Посмотрит на тебя, протянет ручонки

— кругленькие, на локтях, ямочки... и протяжно так скажет: «Ма-ма...»

Она засмеялась. Рассмеялась и мать.

— Неужто плохо? Я давно тебе говорю — хорошо! А ты затвердила: «У меня весь район семья».

— ...И вот с каждым днем растет, растет, — продолжала Катя. — Понимаешь, мамка, приглядываешься к нему и замечаешь, что он на тебя похож — лицом или еще чем-нибудь. Спит в колыбельке, наклонишься над ним... Реснички его трепыхнутся, поднимутся, и глянут на тебя такие карие глазенки.

Мать повернулась к ней всем корпусом.

— Почему же карие?

Катя смутилась.

— Да это я так... к примеру. — Помолчав немного, она пытливо посмотрела на мать. — А тебе... Федя нравится?

— Механик-то?

— Механик.

— Веселый... И, видать, работающий, — осторожно ответила Василиса Прокофьевна. — А что?

— Так просто... — сказала Катя и покраснела еще гуще. — Любит он меня, мамка.

— Ну?! — радостно вырвалось у Василисы Прокофьевны. — А ты?

— Я? Я не знаю... Еще не думала об этом...

— Не думала? — разочарованно переспросила мать. — Что ж он, механик-то, изъяснился?

— Н-нет... Я так догадалась...

— И разговору промеж вас такого не было?

— Нет.

— А я уж подумала... — огорчилась Василиса Прокофьевна. — Парень-то, прямо скажу, по душе мне. Трактористки твои, подметила я, поглядывают на него. Оно и понятно: простой, сильный, ласковый, да и на личность, прямо скажу, очень приятный... И с образованием. Механик!

Она поднялась.

— Заболталась, а ведь я хотела в погреб за молочком.

— Да я уж вроде не хочу... Пойду сейчас.

— Выдумает тоже — «не хочу». Я быстренько. — И Василиса Прокофьевна метнулась к двери.

Вернувшись из погреба, она крикнула с порога:

— Холодненькое. Стаканом будешь пить или чашкой?

Дочь не ответила.

Войдя в горницу, Василиса Прокофьевна увидела: Катя спала за столом, держа в руке ложку и чему-то улыбаясь.

Глава семнадцатая

Весь этот день моросил дождь, и лишь поздним вечером облачность стала редеть. Кое-где бледно засветились звезды. На станции Большие Дрогали под навесом сгружали с подвод

мешки с зерном: бои шли в соседнем районе, и хлеб отправляли в глубокий тыл.

Рядом с трактористкой Клавдией, принимавшей хлеб на весы, в забрызганных грязью сапогах стояла Катя. Лицо ее за последние дни так резко осунулось, что под скулами, когда она поворачивалась к свету фонаря, ложились тени — очень темные, точно ввевшаяся в кожу угольная пыль. Нос заострился, а глаза на все и всех смотрели без улыбки — синие, как

сгустившаяся лазурь. Она только что пришла с гумен великолужского колхоза и, хмурясь, слушала пожилую колхозницу, рассказывавшую о слухах, будто немцев удержать не хватит сил и пропустят их за Волгу, к Москве.

— Я-то вроде и не верю всему этому, — смущенная ее молчанием, сказала колхозница. — Чуть разговор такой, говорю бабам: «Да разве не сказали бы нам, разве скрыли бы от народа, ежели бы так плохо было?» Зазря ведь болтают, дочка, а?

Люди, стоявшие у подвод и весов, подошли ближе.

С тех пор как немцы ворвались в соседний район, всюду — и на станциях и в колхозах — устремлялись на Катю вот такие ожидающие глаза. Они были понятны без слов: когда наступит конец отступлению? Пропустили немцев через Днепр и через глухие леса Смоленщины, а через Волгу — это никак невозможно: пропустить через Волгу — пропустить к Москве.

— Я могу об этом сказать только то, что на душе есть. — Катя приложила руку к груди. — Вот чувствуется здесь, — не пропустим... Не можем пропустить!

Может быть, в голосе ее прозвучала большая уверенность, чем та, которая теплилась в душе у каждой из этих женщин, — глаза колхозниц посветлели. Возбужденно зашумели все

разом:

— Не должны!

— Не хватит бойцов — пусть нас позовут, все пойдем!

— Пойдем! Кто с чем встанем и с места не сдвинемся!

Из дверей, станции выбежала дежурившая комсомолка Верунька Никонова.

— Катюша, к телефону тебя... скорее.

Вызывал Зимин. Он сказал всего пять слов, но они, как гвозди, вонзились в сердце.

Катя, пошатываясь, вышла на улицу.

— Товарищи, лошадь мне...

Ее обступили. Она обвела взглядом встревоженные лица колхозников. Среди них были и беженцы, которых она уговорила закрепиться за колхозами Певского района. Глазам

стало

горячо, и она с трудом произнесла:

— Эвакуация...

Весть об этом мгновенно облетела весь район. Срок на эвакуацию был предельно жесткий; и всюду поднялась суматоха.

Приехав в Певск, Катя долго не могла пробраться к Дому Советов — на улицах негде было свободно шагу ступить. Возницы остервенело нахлестывали лошадей, плакали дети, в потоке повозок, людей и скота мелькали красноармейские шинели. В нескольких шагах от Кати, когда она протиснулась, наконец, к калитке Дома Советов, вынырнуло из темноты жерло орудия, а прямо перед глазами выросла разгоряченная морда лошади.

— Гражданка! Эй, гражданка! Не путайся под ногами, чорт тебя подери! — закричал ездовой.

Катя отшатнулась и побежала к крыльцу. В общем отделе райкома партии было шумно, в камине жарко потрескивал огонь — жгли бумаги. Ни на кого не глядя, Катя быстро подошла к кабинету Зимина. Технический секретарь преградил ей дорогу.

— Извини, Катерина Ивановна, но товарищ Зимин... Она молча отстранила его и толкнула дверь. Впустив ее, Зимин снова закрыл дверь на ключ.

В кабинете на полу валялись клочья бумаги, ящики стола были выдвинуты, папки грудями лежали на столе, на стульях, на диване.

Катя подошла к столу. Постояв, тяжело опустилась на стул, прямо на какие-то бумаги, и заплакала; лицо руками закрыла.

Зимин стоял и, покусывая губы, смотрел, как судорожно вздрагивали ее плечи.

«Неужели надломилась, поддалась страху?»

— Катя! — окликнул он тихо, но властно.

Чувство, заставлявшее его называть эту голубоглазую девушку дочкой, сейчас молчало.

Перед ним был коммунист, за которого он нес ответственность перед партией и перед своей

совестью. Только что, разбираясь в бумагах, он мысленно проверял каждого партийца из тех,

которые должны этой ночью вместе с ним уйти в лес, и решил, что его заместителем в отряде

будет Катя; лучшего помощника, думалось, не найти, — и вот, пожалуйста, она перед ним в истерике, вся дрожит. Это было неожиданно, досадно и больно.

— От кого еще, а от тебя не ожидал. Стыдно! — сказал он резко. — Ты на глазах у всех. Пойми и помни: ни я, ни ты не имеем права на слабость.

Катя медленно подняла заплаканное лицо. Долго и удивленно смотрела на Зимина.

— Не понял ты меня... Не слабая я, сам знаешь... — Она подошла к окну, стояла безмолвная и, не замечая, комкала штору.

— Боль все время была, — глухо вырвалось у нее в глубоком вздохе. — Помню, когда сдали Одессу, так прямо дыхание сдавила эта боль. Чувствовалось: нельзя больше ей расти, некуда! А вот сегодня... сейчас... Ведь здесь каждое дерево будто сама вырастила... каждая травинка... родная.

Овладев собой, она прошла по кабинету, встала спиной к двери.

— Ты знаешь, Зимин, я не жалела сил. Только и жила этим, чтобы жизнь скорей...

Понимаешь? А теперь... будто по мне все те повозки и люди бежали...

Зимин не сводил с нее мягко светящихся глаз. Да, он понял ее состояние, и все теплее и теплее становилось у него на душе.

«Пусть выскажется — это облегчит. Пусть поплачет. Ничего», — думал он.

Катя устало закрыла глаза. И виделись ей могучие, мохнатые сосны, слышался шум их. Они расступались, и в просветах широким морем голубел лен. Катя с трудом подняла отяжелевшие веки.

— И впустить сюда банды Гитлера, чтобы они жгли, Уродовали, пакостили... Смрадом заполнят они весь воз-; Дух, и везде будет кровь... Кровь!

Она выпрямилась, приблизилась к Зимину. Губы ее задрожали, а в потемневших глазах вспыхнули гневные огоньки.

— Ты сказал — «слабость»? Да? — На ее скулах кругло задвигались желваки. — Если бы... Ты понимаешь?.. Если бы я могла ценой своей жизни остановить их, разве задумалась бы?

Зимин растроганно обнял ее.

— Верю. Ты прости, если мои слова обидели тебя. Тоже, наверное, нервы...

Он коротко рассказал о сложившейся обстановке. Завтра они должны покинуть город.

Надо вывезти все наиболее ценное и сжечь архивы — это все, что они успеют сделать. Ей, Кате, нужно сжечь свой архив и провести собрание комсомольского актива.

— Дома у тебя есть что-нибудь: списки, отчетные материалы?

— Кое-что есть.

— Также сожги.

— Хорошо, но только после. Сейчас у меня бюро, почти все уже в сборе, а я к тебе прибежала выплакаться. Могла бы там у себя разреветься, а это нехорошо... — Губы ее

чуть тронула улыбка. — Мы не имеем права... на слабость.

Зимин привлек ее к себе.

— Ничего, дочурка. Как твоя мать говорит: «все выдюжим»... Вспомнился мне сегодня Перекоп... Какое воронье не слетелось тогда к барону Врангелю — и английские дипломаты

и американские, а через плечо этих главных грабителей выглядывали турецкие беи и бояре румынские, тоже принохивались к русской нефти, к пшенице украинской. Иосиф Виссарионович сказал нам: «Пора!» Ударили, Катя, и что осталось от этой международной банды? Может, побережье расскажет, и то вряд ли: давно с него морская волна всю грязь смыла. Ну и этим не пухом обернется земля русская, когда раздастся сталинское: «Пора!» Костей не соберут! Так ведь?

— Та-ак. Но Смоленск горит. Одесса, говорят, в развалинах... А Днепрогэс? Что с Беломор-каналом? Много придется заново строить.

— Построим... А что у тебя на бюро?

— На бюро-то? Нужно отобрать комсомольцев для работы в подполье.

— Добре. Из партийцев мы уже выбрали подходящих людей. Ты знаешь, что Федя вернулся?

— В дверях повстречались. Не оклики — не узнала бы, наверное: худой, голова забинтована, одна рука на перевязи.

Глаза ее, как бы прощаясь, обежали кабинет и задержались на куске хлеба, лежавшем на краю стола. Она взяла хлеб, помяла пальцами. Кусок был черствый.

— Ты когда в последний раз ел?

— Это неважно, — рассеянно сказал Зимин, прислушиваясь к глухим звукам артиллерийской пальбы.

— «Неважно», — передразнила Катя. — Очень важно, Зимин! Сам твердишь все время

— бороться, жить. Без еды не живут. — Она достала из портфеля булку и сверток.

— Здесь телятина.

Он улыбнулся, хотел что-то сказать, но в это время близко забили зенитки. Где-то совсем рядом ухнуло так, что зазвенели стекла. С улицы донеслись крики, слившиеся в один

сплошной вопль. Катя, побледнев, взглянула на Зимина. Лицо его было сурово.

— Иди, — сказал он.

— Есть, товарищ Зимин. А слез... больше не будет. — Она накрепко сжала кулаки. — Иду.

В коридоре ее ожидала Маруся Кулагина.

Глава восемнадцатая

Под окном тоскливо покачивались голые сучья жасмина. Сырой дымный воздух гудел от близкой артиллерийской канонады.

Позвонил телефон. Маруся вздрогнула и сняла трубку.

— Откуда? Ничего не могу разобрать. Что?

Она обернулась к Кате, торопливо кидавшей в печь бумаги.

— Из Ожерелок звонят.

— Из Ожерелок? — Катя выхватила из ее рук трубку. — Я, Катя!..

Говорил Филипп Силов, но что — разобрать было невозможно. Что-то о немцах. Один раз голос ясно выговорил имя матери.

— Филипп! Скажи мамке, пусть не волнуется. Сегодня к ночи буду в Ожерелках.

Слышишь, Филипп? Се-го-дня к но-чи!

В трубке что-то зашуршало, хрустнуло и смолкло.

— Филипп!

Катя раздраженно надавила рычажок.

— Станция! Почему прервали?

— Не мы прервали, — нервно отозвалась телефонистка и, помолчав, добавила: —

Связь с Ожерелками оборвалась.

— Оборвалась связь... — упавшим голосом повторила Катя. — Может быть они уже в Ожерелках?

Она провела по лицу рукой, опустилась опять перед голландкой и с ожесточением принялась кидать в огонь оставшиеся бумаги.

Маруся глазами, полными слез, смотрела на огонь.

Дышать было тяжело.

Ах ты, сад, ты, мой сад... —

влетела в комнату пьяная песня. На фоне орудейного грохота она прозвучала дико и как-то страшно.

— Аришка Булкина, — брезгливо сказала Катя. Маруся распахнула окно. На нижней ступеньке крыльца сидел лысый старик, держа во рту незакуренную цыгарку; он

протягивал

кисет второму старику, пристроившемуся возле крыльца на камне. По мостовой дребезжали

повозки беженцев.

Сад зелененький....

Из-за угла соседнего дома, пошатываясь, вышла молодая растрепанная баба.

— И-их! — взвизгнула она.

Что ты рано так цветешь. Осыпаешься?

Старик, сидевший на ступеньке, сплюнул, а другой, задрожав от гнева, крикнул:

— Аришка! Ты бы, сука, хоть в такие-то дни посовестилась.

Баба остановилась, нахально выпятив живот.

— А чем день плохой? — спросила она хрипло. — Всю ночь дождь лил, а сейчас, гляди-кось, солнышко проглянуло, небушко голубеньким становится... Ишь, благодать какая! О чем тужить мне, милый? О большевиках? В восемнадцатом-то году они нас, как липку, ободрали — гладенько... Да я не злопамятная: удирают — и пусть. Мое дело — сторона.

— Вот всыплют тебе немцы — по-другому запоешь. Сад-то не зеленым, а черным покажется.

— Мне всыпят? — Аришка засмеялась. — Да за что же, милый? Что я сделала плохого немцу? Простой народ они не трогают.

Она подошла к крыльцу и, обтерев рукой губы, присела на корточки.

— Угостите, кавалеры, закурить.

Старик, сидевший на ступеньке, яростно замахнулся.

— А ну, прочь! Для такой стервы не то что табаку — навозу жалко.

Аришка обиделась и, ругнувшись матерно, поднялась с земли, качнулась.

«Правда, какая стерва!» — чувствуя в себе огромное желание ударить эту бабу, подумала Маруся.

— Все, — сказала Катя.

В голландке чернели, рассыпаясь пеплом, листки.

Поднявшись с пола, Катя в последний раз окинула взглядом комнату. Кровать поблескивала никелированными шариками. Сквозь кружева, спускавшиеся до пола, виднелось голубое, с белесыми цветами, покрывало. Подушки — белые, пухлые, по бокам ажурная вышивка, и сквозь нее проглядывали нижние светло-голубые наволочки. Стены были гладко оклеены обоями любимого ею розового цвета.

Все вещи, к которым она так привыкла, что даже не замечала их: и этот черный диван, стоявший рядом с книжным шкафом, и письменный стол, придвинутый вплотную к окну, чернильный прибор из пластмассы и все остальное — каждая мелочь, — показались настолько дорогими, близкими сердцу, что трудно было оторвать глаза.

Взяв «Краткий курс истории ВКП(б)» со множеством бумажных закладок, Катя, не зная зачем, выдернула закладки и опять положила книгу на стол. Подошла к шкафу. На застекленных полках теснились книги — Ленин, Сталин, Пушкин, Лермонтов, Маяковский,

Некрасов, Горький, Бальзак. Это были не просто книги, а ее друзья, учителя. Они помогали ей глубже понять жизнь и полюбить в ней все, что достойно любви. Смотрела на них Катя,

и представлялось ей, как немцы ворвутся в комнату, разобьют стекла шкафа и будут рвать в клочья, топтать ногами эти книги. И было у нее такое ощущение, будто книги, как живые, укоряют ее за то, что она оставляет их врагу. Она потянула кольцо, и дверца шкафа раскрылась.

— Катюша! Ты хочешь их тоже?.. Катя вздрогнула.

— Что — тоже?

Маруся кивнула на голландку.

Катя поняла ее и отшатнулась от шкафа, а в мыслях мелькнуло: «А может, и вправду сжечь? Другие жгут...»

— Нет, пусть уж что будет, то будет, Маруся, а своими руками бросить их в огонь —

нет... не могу... Нет у меня таких сил... — проговорила она.

На средней полке одна из книг немного выдавалась из ряда. Маруся вынула ее: «Как закалялась сталь».

— Читала, конечно? — спросила Катя.

— Да.

— А я почти всю наизусть знаю... Павка... Вот был... настоящий человек!

Катя взяла из рук подружки книгу, перелистала.

— Люблю очень вот это место. Послушай, Маня: «Самое дорогое у человека — это жизнь... Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...»

Прислонившись спиной к стене, она закрыла глаза, прижала книгу к груди. Из-под плотно прикрытых век выползли две слезы и повисли на ресницах.

— Хорошо, — проговорила она почти без голоса. — Очень хорошо! Вот именно так, Маня, как сказал Островский, только так...

Голубизна ее глаз начала сгущаться; и когда они сделались такими же синими, как и минуту назад, она сказала тихо, точно самой себе:

— Никогда еще она не была такой. Маруся обняла ее.

— Кто, Катюша?

— Борьба эта, о которой говорит Островский, за освобождение человечества.

Гулко ухали орудия. В раскрытое, окно влетел ветер, резко запахло пороховым дымом.

Катя поставила книгу на полку.

— Пусть что будет, а я... не могу... Пойдем скорее отсюда!

Маруся подняла с пола тяжелый желтый чемодан.

При появлении девушек в дверях на пьяном лице Аришки, которая все еще стояла неподалеку от крыльца, расплылась улыбка.

Ответив на приветствие стариков, Катя первой сбежала со ступенек.

— Комиссар в юбочке! — Покачиваясь, Аришка заступила ей дорогу и низко поклонилась. — Удираешь? Счастливый путь-дороженька!

Девушки молча обошли ее.

По улице группами и в одиночку двигались раненые бойцы. Из домов выбегали люди с узелками, чемоданами и корзинами. Они останавливались, прислушивались к грохоту пушек,

понимающе переглядывались и бежали все в одну сторону.

— Страшно, Катя, — сказала Маруся, зябко поежившись. — Все эти дни мы с тобой душа в душу жили, а теперь, в такое время, врозь будем. Может быть, можно вместе?

— В деревнях у нас должны остаться свои, надежные люди. Бюро утвердило тебя, Маруся.

Маруся наклонила голову.

— Так нужно, Манечка. А потом мы ведь будем встречаться, может быть, часто. В воскресенье жди меня на Глашкиной поляне, как условились. — Катя остановилась, сжала ее

руку. — Об одном прошу: береги себя. Когда будут у вас на хуторе немцы, ты прячься, не показывайся. И вообще старайся быть незаметной, не привлекай к себе внимания. Всякие люди есть. Видела Аришку? Радуетя, подлюга.

— Я понимаю, — тихо проговорила Маруся. — За тебя буду все время бояться: где ты, что с тобой?

За спиной у них нарастал шум, Маруся оглянулась через плечо.

Заполнив во всю ширь поселковую улицу, рысью, прямо на них мчалась конница. Освещенные скупым октябрьским солнцем, тоскливо светились каски. Головы бойцов были наклонены, лица сумрачны.

Красная Армия отходила на восток.

— Пока, Манечка, — сказала Катя.

Она поцеловала подругу, взяла из ее руки чемодан и, перебежав дорогу, скрылась в переулке.

* * *

К вечеру фронт стал не только слышимым, но и видимым: бои шли всего в двух километрах от города. Ветер дул с запада, и по улицам стлался мутный пороховой дым. Подбежав к крыльцу Дома Советов, Федя перевел дух. Под окнами райкома партии артиллеристы суетились возле орудий, нацеленных в сторону вокзала. Лейтенант в шинели, выпачканной грязью и какой-то краской, приложив к уху трубку, командовал:

— Прицел восемнадцать минус четыре... — Отнял трубку. — По наступающему зверью... — И взмахнул рукой: — Огонь!

Оба орудия ахнули так, что задрожала земля, и словно в ответ им в вышине послышался свистящий визг, затем грохот взрыва. На Колхозной улице взметнулся к небу черный столб дыма, взвились, затрепетали розоватые языки пламени.

Взрыв был так силен, что прошел по земле до крыльца, и Федя почувствовал толчок в подошвах и ноющую дрожь, хлынувшую от коленок к спине.

— Да-а, погодка сегодня, — проговорил он озабоченно.

На лестнице было темно. Сверху слышался нарастающий шум голосов и топот ног, вероятно собрание актива уже закончилось. Федя шагнул навстречу сбегавшим по ступенькам девушкам.

— Зимин и Катя там?

— Кто спрашивает? — окликнул его с лестничной площадки мужской голос.

— Это я, Голубев.

Яркий свет ослепил ему глаза.

— А Катя все беспокоилась, что ты не успеешь. — Саша опустил карманный фонарик и коротко рассказал, о чем говорилось на собрании актива.

Узнав от него, что Катя ушла к Зимину, Федя побежал вверх, но в райкоме Кати не оказалось. У двери редакции стояла тетя Нюша, прислушиваясь, к чему-то и тяжело вздыхая.

— Чайку не видели? — спросил ее Федя.

— Здесь.

Дверь редакции приоткрылась, и Федя лицом к лицу столкнулся с Катей. На ее гимнастерке перехлестнулись ремни портупеи, сбоку висела кобура.

— Вернулся, — обрадовалась она. — Ну как?

— Задание выполнено, тракторы все до одного выведены из строя.

— Хорошо. О постановлении актива знаешь?

— Саша сказал.

— Дочка, а что же со мной-то не прощаешься? — тихо укорила тети Нюша.

Катя обняла ее, а глаза опять вскинула на Федю.

— Ты прямо в лес?

— Да. Вместе с тобой.

— Хорошо. Только я сначала в Ожерелки забегу. Ой! — вскрикнула она и, оглушенная, сдавила ладонями уши. Немецкий снаряд разорвался перед самым — крыльцом, стены

трещали, на лестничную площадку со звоном сыпались оконные стекла.

— Немцы! У самого города... Немцы! — влетел с улицы женский крик.

Тетя Ньюша, схватив Катю за руки, заплакала.

— Как же ты теперь, доченька... немцы!..

— Ничего. Когда наши будут оставлять город, электростанция дает сигнал — продолжительную сирену. Пока еще не опасно.

Она погладила голову прильнувшей к ней старой женщины. Сегодня все, с чем приходилось расставаться, было по-особенному дорого сердцу.

— Поживем еще вместе, тетя Ньюша, поработаем. Ведь мы не умирать уходим.

Гул от первого взрыва еще не успел рассеяться, а стекла вновь зазвенели, — и через развитое окно пахнуло плотным горьковатым запахом дыма.

— Надо итти, — поторопил Федя.

Катя крепко прижала к себе тетю Ньюшу и поцеловала ее. Приоткрыв дверь в редакцию, крикнула:

— Не задерживайся, Коля! — и повернулась к Феде. — Пошли.

— А чего это Брагин засиделся? — спросил он, следом за ней спускаясь по лестнице.

— Шрифт подбирает. Будем выпускать листовки для населения.

Взявшись за дверную ручку, она обернулась.

— Знаешь, Федюша, у меня комсомолок только тридцать пять... Ты бывал когда-нибудь в вырубленном лесу?

— Приходилось...

— Вот и у меня то же. Когда вошла в зал, смотрю, — ну, как лес вырубленный.

Девушки сбились в кучку, а пустые стулья — точно пеньки.

Она резко распахнула дверь.

Город был весь в дыму. Багровыми и рыжими жгутами рвался с крыш к небу жаркий огонь. В сквере у орудий продолжали суетиться артиллеристы. Метрах в двух от них зияла черная яма, и на краю ее лежали окровавленные трупы двух красноармейцев — сюда упал снаряд...

— Огонь! — откуда-то из-за облака дыма хрипло прозвучал голос лейтенанта. Орудия выстрелили, и тут же пронзительно и высоко взвыла сирена: Красная Армия оставляла город.

Как окаменевшая, смотрела Катя на костры пожарищ, и на глазах ее стояли слезы.

— Скорее, Катюша, — забеспокоился Федя.

— Там же Зимин, Коля.

Она указала на темные окна и ласково сжала его локоть.

— Я очень рада, Феденька, что ты вернулся. В такое время нужно нам вместе... Может быть, не так тяжело будет...

Сирена смолкла, и одновременно, словно придавленный тишиной, оборвался и орудийный грохот. Сквозь треск горящей крыши соседнего дома издали донеслись слова какой-то команды.

На крыльцо выбежала тетя Ньюша, бледная, испуганная, и растерянно уставилась на артиллеристов, ломавших палисадник, чтобы вывезти орудия из сквера.

Катя перехватила из ее рук дверь.

— Чего же они? — прошептала она, напряженно всматриваясь в темноту лестницы.

В конце улицы показалось длинное жерло орудия, второе, третье... Проехав мимо Дома Советов, орудия остановились и медленно стали поворачивать свои жерла в ту сторону, откуда только что прибыли.

Катя уловила загремевшие на лестнице торопливые шаги, и у нее с облегчением вырвалось:

— Наконец-то!

На улицу выбежали Зимин и Коля Брагин. Зимин был в шинели, перетянутой ремнями портупей, и в фуражке с красной звездочкой.

— Чайка! Ты еще здесь? Не медлите, товарищи.

— Огонь! — долетело с дороги.

Глава девятнадцатая

В Ожерелках немцы появились перед заходом солнца. Группа мотоциклистов, в касках и зеленых френчах, разбрызгивая грязь, влетела на улицу. Один из них вырвался вперед и, оставляя за собой хвост белесого дыма, пронесся мимо Васьки, плотно прижавшегося к воротам своего дома.

Из трубы сельсовета тонким столбиком поднимался дым. Лицо Васьки побелело. Не сводя глаз с немцев, остановившихся неподалеку, он перебежал дорогу и, поднявшись на крыльцо сельсовета, постучал.

— Тятя!

В дверь просунулась голова Филиппа.

— Немцы, тятя, — прошептал Васька.

— Вижу. Иди отсюда. Да галстук-то сними, чорт! — Филипп сдернул с его шеи пионерский галстук и захлопнул дверь.

— Чудной! — пробурчал Васька, ощутив в то же время большую гордость за отца: «Вот он какой! Плюет на немцев». — Только врешь, тятя, никуда я не пойду — ты будешь погибать, и я с тобой. Пусть знает немчура: Силовы — что отец, что сын — на них тьфу! Затрещал мотоцикл. Это возвращался разведчик. Он подлетел к остальным; все они о чем-то загалдели. Толстый, наверно офицер, махнул рукой, и немцы повернули обратно. У Васьки вырвался радостный вздох: умирать ему все-таки не хотелось. Он сильно забарабанил в дверь.

— Тятя, удрали!

— Знаю, — сердито ответил из-за двери отец. — Я тебе что сказал? Иди помогай матери.

Васька обиженно пожал плечами и хотел сесть на ступеньку, но его внимание привлек гулкий грохот.

От Волги к селу катились пушки.

«Вот кого испугалась немчура!» — Васька закричал: «Ура!» — и побежал навстречу артиллеристам.

Изо всех ворот выбегали перепуганные появлением немцев люди. Поднялась суматоха. Филипп, хмурый, вышел на крыльцо. Увидев Дашу Лобову, он подозвал ее и велел выставить на всех дорогах посты.

— Подумай о себе, Филипп! — с плачем кинулась к нему Марфа.

— Тише, тише! Утром договорились, ну и запрягай лошадь.

То, о чем договорились. Филипп и его жена, не была секретом для ожерелковцев.

Силовы уезжали в тыл. Филиппу оставаться в деревне, конечно нельзя: было. И уйти в партизаны он тоже не мог — с протезной много не напартизанишь.

— Запрягай, — повторил он и опять заперся в сельсовете.

А волнение в деревне все нарастало.

Появление немцев словно черным, крестом легло на душу каждого. Во дворах резали скот. Дети плакали — на них не обращали внимания. Все наиболее ценное несколько дней

назад было связано в узлы, запаковано в сундуки и ящики. Теперь в погребках: и клетушках рыли ямы. Некоторые, считая дворы ненадежными: хранилищами, суетливо нагружали подводы, чтобы отвезти свое добро в лес и там похитрее упрятать.

Лишь из трубы сельсовета продолжал спокойно виться дымок: Труба была плохо прочищена, и дым, наполняя комнату мутью, слезил глаза. Филипп не обращал на это внимания. Оставалось сжечь последние десять папок. Когда они почернеют от огня, тогда можно будет подумать и о себе. Из окна было видно, как у ворот его дома, окутанные сумерками, суетились люди, — это соседи помогали Марфе грузить на подводу вещи. «Не оставляют в беде. Самим у себя надо, а они мне помогают», — растроганно подумал Филипп.

На столе зазвонил будильник, стрелки показывали половину седьмого.

«Успеть бы, пока мост не взорвали. — Филипп бросил в огонь последнюю папку и захлопнул дверцу печки. — Вот и мы станем беженцами».

Он вышел на крыльцо и, ковыляя, направился к своему двору.

Забравшись на телегу, Марфа увязывала узел. Филипп взял у нее из рук веревку.

— А Васька где?

Она оглянулась на распахнутые ворота.

— Только сейчас здесь был.

— Та-ак... — сказал он, накрепко стягивая узлы. — Надо еще к Василисе Прокофьевне наведаться.

— Ой, что ты! — испугалась Марфа. — Во второй-то раз придут немцы — уж не уйдут. Трогаться надо.

— Не бойся — постовые упредят. В случае чего — в лес свернем. Я ненадолго.

* * *

Василиса Прокофьевна хлопотала возле телеги, с помощью Шурки прикручивая корзину с гусями к пустой бочке. Руки ее работали быстро, но машинально. Мысли были далеко — возле любимого детища. «Успеет ли выбраться? Утром Филиппу сказала, что вечером будет дома. Вот и вечер, и до ночи осталось рукой подать, а ее все нет».

Гуси в непривычной обстановке вытягивали шеи и всполошенно гоготали. Со двора несся поросячий визг.

— Укладываешься, Прокофьевна?

Василиса Прокофьевна повернула голову и увидела подходившего Филиппа.

— О Кате все думаю, Филипп, ну-ка в Певеке уже немцы? Слышь, палят?

— Не должно им в Певске быть, — неуверенно проговорил Филипп. — Ведь они отсюда идут, а Певск — там.

«Постарела она за эти дни», — заметил он.

— А я к тебе за тем, Прокофьевна, о чем утром говорили.

— В беженцы уйти? — хмуро спросила она и покачала головой. — Нет, Филипп, счастливого пути да здоровья! Вы с Марфой люди молодые — как саженьцы, и на другой земле корни пустите, а я стара. На той земле, которую потом своим посолила, только и держаться мне и умереть здесь.

— Насчет корней-то вроде и неправильно, Прокофьевна. Зачем нам прирастать в других местах? Отгонят немца — и опять вернемся.

— Нигде человеку вольным не быть, ежели знает он, что родная его земля в неволю попала.

Помолчав, она чуть слышно проговорила:

— И с Катей не знаю как... Уехать? А вдруг здесь пригожусь ей...

— Так-то оно так... Но оставаться нам с тобой нельзя: или в партизаны, или в тыл. А в партизаны... — Он раздраженно щелкнул застежкой протеза. — Заикнулся я об этом Зимину, а он и слушать не хочет.

— Конечно, тебе ехать надо, и скорее. Зря мешкаешь.

— А тебе? У меня, Прокофьевна, из мыслей не выходит: случится что-нибудь с тобой, после войны повстречаюсь с Катериной Ивановной, как я в глаза ей гляну? Скажет, сам уехал, а мою мать немцам оставил. Тебя, скажет, народ председателем выбрал, а ты, как опасность подошла, о своей шкуре только подумал.

— Да будет тебе, Филипп! — возмутилась Василиса Прокофьевна. — Никто про тебя такое не скажет, а Катя и подавно. Что, она тебя не знает? А со мной чего же? Уж что со всем

народом случится, то и со мной.

«Нет, крепости в ней еще много. Какая дочь — такая и она; на чем порешили — баста, не сдвинешь с места», — подумал Филипп.

— Народ-то народом, — проговорил он, как бы соглашаясь. — Только, Прокофьевна, надо понять — тебе на соседей оглядываться не приходится. У соседей такой дочери, как у тебя, нет. Их, может, ограбят до нитки, тем и обойдется, а про тебя если визнают, так... Из ворот выбежала Маня, прижимая к бокам двух визжавших поросят. Передала их матери и побежала обратно.

— Обо всем думала, Филипп, — сказала Василиса Прокофьевна. — Вот это, — она указала на телегу, тесно нагруженную мешками, узлами, ящиками, — увезу, упрячу в лес, чтобы басурманам не досталось... Может, и пропадет все... Пусть! Но никто после моей смерти не скажет, что тетка Василиса всю жизнь рук не покладала, чтобы на старости лет немца откормить. Все вывезу — пусть голые стены гложут. Да и стен не пожалею: сожгу... Пусть на золе да на головешках спят. Пусть!..

Она так разволновалась, что вся дрожала, а последние слова вырвались у нее криком. Филипп стоял сумрачный. Василиса Прокофьевна, может, и права, что не хочет стать беженкой. Нет, не стара она, и сил еще хватит у нее, чтобы при случае постоять за себя и за край родной. Конечно, очень тяжело покидать родные места, но что станешь делать здесь с этой ногой? Другим помехой быть. А там, в тылу, найдут место, где он опять будет работать

с утра до поздней ночи.

— Значит, нет?

— Нет, Филипп. А немец... Что ж, не навечно он здесь, потопчем мы его, как червя навозного.

— Ну, не поминай лихом, Прокофьевна, — сказал Филипп, протягивая руку. — Жили дружно, неплохо вместе поработали, вместе жизнь строили...

— Не растравляй! К чему теперь вспоминать! Прими руку-то.

Они поцеловались, и Филипп, не оглядываясь, пошел прочь.

Василиса Прокофьевна смахнула слезу.

«Куда ему оставаться?» — подумала она, смотря, как председатель с трудом отставлял в сторону протезную ногу.

А тяжелое уханье становилось все слышнее, все ближе, и было видно, как в лесу, озаренном огненными вспышками, рвались снаряды.

* * *

Приближающиеся звуки артиллерийской стрельбы отдавались в душе Марфы нарастающей тревогой и страхом. У нее было одно желание — уехать как можно скорее.

Когда перестанет она слышать это уханье, только тогда успокоится и за Филиппа, и за Ваську, и за себя. Она уже совсем решила итти навстречу мужу, чтобы поторопить его, но из ворот выбежал Васька. Он был в старой отцовской куртке, доходившей ему до колен, и в шапке-ушанке.

— Поторопи отца, чего он там! — крикнула Марфа.

— Сейчас. Знаешь, мамка, у меня к тебе дело есть.

— Какое еще дело?

Он погладил ее руку я, заикнувшись, смущенно проговорил:

— М-мамк...

«Набедокурил чего-нибудь», — решила Марфа и сердито поторопила:

— Ну?

Васька исподлобья взглянул на стоявших возле телега соседок и сказал, потупив глаза:

— Зайдем во двор, тут неудобно.

Во дворе он прижался к матери и прошептал:

— Дай я тебя поцелую, мамка, а ты — меня.

— Чего-о? — Марфе подумалось, уж не ослышалась ли она. Васька не только целоваться — никаких ласк не терпел. Когда она, бывало, прижимала его к себе и начинала гладить по голове, он всегда вырывался и говорили «Ну, чего ты? Что я, маленький, что ли?»

«Бесчувственный растет», — не раз думала она. И вдруг; сейчас эти слова! От удивления Марфа даже забыла, что нужно торопиться с отъездом. Тело сына почему-то дрожало под ее рукой, словно в лихорадке.

— Вась, ты не захворал?.

Он мотнул головой..

— Чего же ты?

— Чего?.. Что я не сын, что ли, тебе? — обиделся Васька.

У Марфы горячо зашлось сердце, из глаз брызнули слезы и покатались по щекам, соленые, крупные... Она судорожно прижала к себе Ваську и принялась целовать его в лоб,

щеки.

— Сердешный мой! Не знаю, куда срываемся. Все нажитое бросаем! Тоска на сердце, как камень-лед...

— Ну, ладно, ладно, хватит, — сказал Васька. — Теперь давай я тебя.

Он крепко поцеловал мать, вытер глаза и улыбнулся.

— Вот и все.

Помолчав, по-взрослому нахмурил брови.

— А ты поезжай без страха, — чай, не в Германию едешь, а в такие же советские места.

Нажитое, говоришь? Опять наживется.

Во двор быстро вошел Филипп.

— Сейчас узнал: двенадцать семей уезжать хотят. Вместе поедем.

Он привлек к себе Ваську.

— Не хочется уезжать?

— Ничего, — рассеянно отозвался Васька. Поглядывая на отца из-под насупленных бровей, он думал: «Как проститься с нам? Поцеловать? Удивится. И мать заподозрит.

Начнут

выпытывать. Узнать-то они от меня ничего не узнают, а станут следить. Удержать, правда, все равно не удержат, а все-таки...»

— А задумался о чем? — спросил отец.

— Видишь, тятя, письмо надо оставить... товарищам...

— Ну что же, если успеешь, пиши.

Электричества не было со вчерашнего дня. Васька зажег свечку. Изба стала как бы не своей: стены голые, кровать голая, оба сундука раскрыты. С полок буфета смотрела непривычная пустота. По всему полу были разбросаны тряпки, бумага, черепки битой посуды. Зеркало, которое он привык видеть в простенке между двух окон, выходящих на улицу, тоже валялось на полу, — но все это было теперь неважно.

Вырвав из тетради лист, Васька старательным ученическим почерком вывел:

«Дорогие...» Подумал и зачеркнул. Написал «Милые...» И тоже зачеркнул. «Золотые тятя и мамка, — написал он строчкой ниже. — Не ругайтесь и не сердитесь... а пуще всего — искать не надо. Все равно не найдете — в партизаны я ушел. Задумал об этом давно, когда еще немцы далеко были. Вы-то езжайте отсюда скорее. Ты, тятя, инвалид, а мамка, как баба, — что вам тут делать? А я пионер, мне нельзя. С тобой я, тятя, не простился. Боюсь — догадаешься и стеречь будешь. Только из-за этого. Так что не подумай, что мне тебя не жалко... Жалко и тебя и мамку».

Слезы застлали ему глаза, и буквы сделались живыми: они перепрыгивали со строчки на строчку.

«Обо всем остальном поговорим, когда Гитлера выкурим и вы вернетесь, — ползти вкривь слова. — Ваш...»

Хотел написать «сын», но это показалось слишком по-детски, вроде он все еще маленький. Написал: «Ваш Василий».

Со лба крупными каплями сползал пот. Васька вытер его рукавом и облегченно вздохнул:

— Теперь все.

Забывая матерью, на столе лежала целая краюшка хлеба. Он сунул ее под полу куртки.

Свечу гасить не стал: пусть думают, что он все еще пишет. Выбежав во двор, услышал, как отец крикнул с улицы:

— Бросай, Васька, писанину, трогаемся!

Васька на цыпочках подбежал к задней стене двора. Подтянувшись на руках, забрался на нее верхом и спрыгнул. Во дворе не слышно было голосов, а орудия палили так близко, что под ногами ощущалось мелкое колебание земли. Над головой прерывисто, будто задыхаясь, гудел мотор. «Немецкий», — узнал Васька. С самолета сбросили ракету: ярко осветились гумно и черневшая за кучей прелой соломы собачья конура. Васька свистнул. Послышалось радостное повизгивание, и черная морда Шарика ткнулась в его ноги.

Глава двадцатая

К полуночи ветер сдернул с неба полог мутной облачности, и оно холодно засветилось звездами.

Некоторые ожерелковцы стояли на крышах домов и молчаливо смотрели на дорогу, по которой уходили за Волгу последние красноармейские части. Орудия грохотали близко со всех сторон.

В половине двенадцатого два шальных снаряда залетели в деревню. Один разорвался в саду Лобовых, с корнями выдрал два тополя, второй упал на крышу сельсовета, и дом запылал языкастым костром. Улица была пустынна, и лишь у распахнутых ворот двора Силовых стояла лошадь, запряженная в телегу, доверху нагруженную домашним скарбом. Розоватые отсветы горящего сельсовета ложились на вещи. Лошадь испуганно поводила ушами и тихо ржала.

— Васютка-а! Ва-аська-а!.. — приглушенно доносился с задворок голос Филиппа. Маня и Шурка еще не вернулись из леса. Василиса Прокофьевна стояла под окнами своего дома и утешала плачущую Марфу.

— Васютка-а!..

— Не откликается... — прошептала Марфа. Она беспомощно взглянула на Василису Прокофьевну и, пошатываясь, пошла к своему двору.

Тяжело ухала снарядами ночь. Взвивающиеся, ракеты слепили глаза. Из-за угла дома Лобовых выбежали три красноармейца, один из них оглянулся:

— Не мешкайте, мамаша!

Василиса Прокофьевна почувствовала, как все ее мышцы размякли и отяжелели.

Обогнув Марфу, красноармейцы оглядели улицу и свернули на луг.

Волгина прижала руку к груди: сердце давила тупая боль. Оно билось часто, останавливалось, потом начинало колотиться еще чаще, точно стремясь наверстать упущенное время. Отдышавшись, она прошла в сени. Дверь в избу была открыта. На грязном, замусоренном полу лежали полосы лунного света. Держась за косяк двери, Василиса Прокофьевна перешагнула порог. Вот она и одна в пустой избе... Стены дрожали от далеких взрывов. Василиса Прокофьевна отцепила от косяка пальцы, и руки опустились вдоль тела, тяжелые, ненужные. В первый раз за всю долгую трудовую жизнь они были такими ненужными.

— Не пришла... — прошептала она.

К горлу подступили слезы. Сколько раз за сегодняшний день они горячо перехватывали дыхание, но она находила в себе силы держать глаза сухими. Ради детей! И не только ради детей — гордость не давала просочиться слезам: вокруг были люди. Сердце рвалось на куски, но она не кричала, не плакала. Никто из соседей не скажет, что она, мать секретаря райкома комсомола, вела себя в этот день, как последняя баба. А теперь можно, — теперь никто не увидит.

Василиса Прокофьевна шагнула к постели и, уткнув лицо в подушку, заплакала сначала тихо, потом во весь голос, тоскливо, с болью.

«У других нет такой дочери, как у тебя», — вспомнила она слова Филиппа и задрожала еще сильнее.

— Нет... Нет такой у других. И у меня больше нет!.. — выкрикнула сквозь рыдания и умолкла, прислушиваясь: что-то случилось. Она не сразу поняла, что это «что-то» замолчавшие орудия. Тишина, показавшаяся ей безжизненной, мертвой, морозом пробежала

по коже. Когда слышишь приближение зверя, — это не так страшно. Но когда не слышишь и не видишь его, но знаешь, что он вот здесь, где-то рядом, и сейчас кинется на тебя, — это страшнее.

Она села. В тишине, скрипнув, пробили часы. Василиса Прокофьевна зажгла спичку: половина первого. «Нет Кати...» И тишины не было. Это ей почудилась тишина.

С улицы глухо доносились топот и крики. А где-то вдали, может быть у Залесского, с ровными промежутками орудия. Их выстрелы походили на хриплый лай собак..

Оттого, что не было тишины, у Василисы Прокофьевны легче стало на сердце. В руки и ноги вновь возвращалось ушедшее было тепло. Она подошла к окну. Освещенные луной, на улице мелькали серые фигуры красноармейцев. Василиса Прокофьевна отвернулась. Вид отступа войск уже не затрагивал ее чувств: в сердце угасла надежда, и оно онемело. Если отступают, то не все равно — сейчас или через полчаса, быстро или медленно. Жизнь

отдается на растерзание — это главное, а время играет существенной роли.
— В Певске немцы! — услышала она крик на улице и в мыслях сразу, без раздумий, сложилось решение: Катя не пришла, то она сама пойдет туда — мертвую отыщет, сама похоронит. «Да, надо скорее туда, в Певск». Она шагнула к кровати, чтобы взять, шаль, но

во

дворе залаяла собака, хлопнула калитка.

«Наверное, Маня с Шурой...»

Дверь распахнулась и на пороге показалась Катя.

— Катенька! — Василиса Прокофьевна прижалась к ее груди и разрыдалась.

— Ничего, мамка, ничего... Потерпим, — целуя ее, проговорила Катя запыхавшимся голосом.

Что-то теплое капнуло на руку Василисы Прокофьевны. Она приподняла голову и с криком «Господи!» отшатнулось. Лицо Кати было в крови.

— Это ничего, пустяк. Поцарапало щеку — только и всего, — с трудом проговорила Катя: она все еще никак не могла отдышаться.

Мать засуетилась. Зажгла лампу. Катя, вздохнув, опустилась на стул.

— Где эта тебя? В Певске? — обтирая ей лицо мокрым полотенцем, спросила мать.

— У Залесского. Наскочила на немцев, едва отбилась! — Она потрогала расстегнутую кобуру. — Все заряды выпустила.

— Что же, в Залесеком-то уже немцы?

— Немцы.

Царапина от пули была неглубока. Василиса Прокофьевна нашла на полке пузырек с йодом, смочила им вату и осторожно провела ею по щеке дочери. Лицо Кати передернулось.

— Завязать?

— Не надо.

Катя поднялась, поправила ремни портупея. На рукаве гимнастерки алело пятнышко крови. Она потеряла его кончиками пальцев.

— Катюша, что ж... — Василиса Прокофьевна стиснула ее руки. — Как же ты теперь?

— Сейчас ухожу. Ты проводи меня, мамка, до парома.

— Уходишь? Куда?

Катя промолчала. Мать посмотрела на нее долгим взглядом и не стала спрашивать. Вся улица была заполнена отступающими войсками. Пахло гарью и пороховым дымом. Где-то близко слышались пулеметные очереди. Слева от горящего дома сельсовета, нацелив в небо узкие жерла, непрерывно били два зенитных орудия. У ворот двора Лобовых, попав колесом в яму, застрял грузовик. Из-за него, ковыляя, вынырнул Филипп. Увидев стоявших

в

калитке Василису Прокофьевну и Катю, подошел к ним.

— Катерина Ивановна... без сына уезжаем... — Он вытер глаза и, махнув рукой, заковылял дальше.

— Филипп!.. — окликнула Катя, но председатель уже скрылся за углом. — Что с Васькой?

Проводив взглядом удаляющийся самолет, Василиса Прокофьевна рассказала ей о васькином письме.

— С самого вечера ищут. Марфа так убивается, будто его и в живых уж нет. А может, и на самом деле... Снаряды-то и сюда долетали.

Они перешли на другую сторону улицы и выбрались на луг.

Поблеклая, рыжая трава мертво прикинула к земле. Целую неделю лил дождь, и земля размякла, вдавливалась и как бы дышала под ногами.

— В партизаны уходишь? — догадалась Василиса Прокофьевна.

— Да.

— Доченька! Так... тебя же убить могут!

Катя обняла ее и, увлекая за собой к реке, сверкавшей вдали у отлогого берега, сказала:

— Об этом я и хочу поговорить с тобой, мамка, на всякий случай. Если услышишь — убили твою дочь или поймали, не говори ничего, не признавайся, а то весь колхоз спалят... И себя погубишь... — Помолчав, она крепче прижала к себе мать. — От них всего ожидать можно. И лучше, если бы все вы, всей деревней ушли в лес. И голод, и холод, и смерть —

все

лучше, чем гитлеровцы. Ты сейчас придешь, потолкуй об этом с колхозницами. Ладно? Василиса Прокофьевна кивнула.

Так, обнявшись, они дошли до берега. Поднялись на высокий холм. Волга серебрилась, морщилась волнами... Шуршали прибрежные камыши. Справа, вплотную подступив к реке,

шумели сосны. От середины реки, вспенивая волны, подплывал паром. Катя напряженно вглядывалась в окутанный полусумраком противоположный берег: там ее должен ждать Федя. Налетел сырой, резкий ветер. Он растрепал выбившиеся из-под платка волосы Василисы Прокофьевны, и они развевались, белые и тонкие, как паутина. Катя придержала их рукой.

— Старенькая ты у меня, мамка...

Василиса Прокофьевна улыбнулась, но в глазах ее были тоска и боль: казалось, душа кричала. И Катя опять, как и на последнем собрании актива, ощутила, что ворот гимнастерки

слишком тесен. Она расстегнула его.

— Ты, мамка, не думай, что теперь все кончено, и другим говори, чтобы не думали так. Это неправда, — в голосе ее хотя и слышались слезы, но прозвучал он горячо, убежденно.

Главное сейчас, мамка, духом не падать, выше держать голову. Станет тяжело — ты думай: за нами — Москва, а в Москве — Сталин. Он все знает, он обо всех думает — обо мне, о тебе...

Земля под ногами загудела. Вдали где-то сильно ухнуло — еще и еще раз. У горизонта, над лесом, за клубились огни и черный, как сажа, дым.

— Мост под Головлевым взорвали, — тихо сказала Катя.

Василиса Прокофьевна со стоном призналась:

— Тяжело, дочка! Будто душу из меня выдирают.

— Ничего, мамка, ничего... Народ выстоит, всё перенесем, а на фашистов работать не будем.

— Да кто об этом говорит!..

Опять загудела земля, но гул взрывов донесся с другой стороны. Вероятно, взрывали мост под Певском.

— Что же еще?.. — Катя провела по лицу рукой. — Да, о смерти-то я сказала... Ты не думай об этом. Это ведь так, на всякий случай... Партизаны, сама знаешь, — это тоже война.

А где война, там смерть. Но ведь и с войны назад возвращаются, не все погибают. А я вот чувствую, мамка, ни за что меня не убьют. Никогда! Прогоним немцев — и опять

заживем...

отстроим все, что потеряли.

«У меня-то уж не хватит сил для второй жизни. Кончилась моя жизнь», — мелькнуло в мыслях у Василисы Прокофьевны.

Мать и дочь... Они стояли, обнявшись, и сквозь слезы смотрели друг другу в глаза.

Близко, совсем близко опять забили орудия. Пора было расставаться. В глазах Кати лицо матери, теряя очертания, расплывалось в белое пятно. Ноги отяжелели, и губы точно срослись-не разжимались, не хотели сказать: «Прощай». Уйти от матери, оставить ее немцам... Оставить мать, старую и такую родную до последней морщинки! Тяжело...

Взять

бы с собой в лес — тоже нельзя: она нужна Шурке, Мане. Что они будут делать без нее?

— Скорее-а-а! Катя-а-а! — донесся с того берега голос Феде.

— Иди, дочка... — прошептала Василиса Прокофьевна.

— Сейчас, мамка, сейчас... — тоже шепотом ответила Катя и не сдвинулась с места.

— Немцы-ы! — кричал Федя.

Катя крепко-крепко прижала к себе мать, — так крепко, что заныли руки, и поцеловала ее. Василиса Прокофьевна разрыдалась.

— О-о... я-а-а-а... — доносило эхо федин голос.

Катя расцепила руки и побежала с холма вниз. Ей казалось, что бежит она сквозь плотную стену дыма. Что-то еще упущено... «Вот о Шурке и Мане, кажется, ничего не сказала».

Лохматый черный клубок с разбега ткнулся ей под ноги. Катя испуганно отскочила в сторону, но это была собака. Затрещал прибрежный куст. Катя схватилась за кобуру.

— Не пугайся, Катерина Ивановна, это я. К ней вышел Васька.

— Ты зачем здесь, Вася?

— С тобой вместе... в партизаны.

— В партизаны? А откуда ты знаешь, что я в партизаны иду?

Он улыбнулся.

— Так я же здесь сидел, в кусту, и все слышал.

Катя вспомнила расстроенное лицо Филиппа и рассказ матери о васькином письме. Она подошла к мальчику, заглянула в его доверчивые, преданно смотрящие глаза.

— Мал ты, Вася, нельзя. Беги скорей домой. Ты знаешь, как тебя отец с матерью ищут!

— Знаю. Слышал...

Он нахмурился и, наклонив голову, сердито засопел. В мыслях его был теплый апрельский день, в который провожал Катю до этого парома. Они сидели вот здесь на берегу,

а Катя рассказывала о Павке Корчагине. Она говорила, что надо быть таким, как Павка, а теперь...

— Что же, Павка-то большим, что ли, был, когда в армию ушел? — спросил он угрюмо, не справляясь с дрожавшими губами. — «Мал»... Как на поле работать, так в самый раз был,

а теперь мал...

Катя едва заметно улыбнулась. Она любила мальчишку. Затаив дыхание, он смотрел на нее, ожидая когда она произнесет два желанных слова, только. «Хорошо пойдём».

— Нет, Вася, — решительно сказала Катя. Паром, подплыв, мягко ткнулся о берег.

— Будь, Васенька, умным, иди. — Она обняла его. Если своих не застанешь, иди к моей мамке, у нас будешь жить.

Васька опять наклонил голову и всхлипнул, а Шар сердито заворчал на незнакомую женщину, которая сошла с парома и, кутаясь в шаль, молча прошла мимо.

«Может быть, взять? — заколебалась Катя и а решительно отвергла эту мысль: — Нет, нельзя рисковать детьми».

Шапка у Васьки съехала на затылок. Катя поправила ее.

— Ты пока помогай нам отсюда, Васенька. Следи всем, что будут делать немцы. Ты будешь наш уполномоченный, подпольный работник. Подходит?

Васька молчал. Катя поцеловала его в лоб и взбежала на паром. Василиса Прокофьевна, неподвижно стоявшая на холме видела, как старик паромщик потянул веревку и парой отделился от берега.

— Прощай, мамка! — крикнула Катя, тоже обеими руками схватившись за веревку. — Маню и Шурку поцелуй за меня!

Василиса Прокофьевна хотела крикнуть: «Прощай!» — но голос пропал.

Шумели прибрежные камыши. Волны у берегов казались дегтярными. Они теснились, набегали одна на другую и распадались с шумом, похожим на тяжелые вздохи. Ветер раздвигал камыши, и на волны падали полосы лунного света. От этого вода казалась еще черней. Василиса Прокофьевна не могла припомнить, чтобы за свою более чем полувековую

жизнь она когда-нибудь видела родную Волгу такой черной. Все почернело. Все изменило привычные цвета.

За паромом тянулись две мыльные дорожки пены. Все дальше уносило его от берега, а дочь — от матери.

Подавшись вперед, она вытянула руки, точно желая схватиться за бревна, на которых стояла Катя, не дать увеличиваться расстоянию.

Но от леса на всю Волгу легла густая тень, накрыла паром, в не только у берега — повсюду погасли, перестали светиться волны. На луну наплывала туча с разорванными краями, из-под которых разливались по небу багровые подтеки. Вот такая же туча наплывала

и на ее, василисину, душу и на всю ее жизнь.

В темноте, едва заметный, качался на черных волнах паром. Василиса Прокофьевна сбежала с холма. Из груди ее хрипло вырвалось:

— Катя-а!

Хотела крикнуть: «Вернись!» — но в мыслях мелькнуло: «Куда? В дом? Нет у нее больше своего дома — его займут немцы». Не стало в родном краю места, где она без страха

за жизнь дочери могла бы обняться с ней. Некуда вернуться Кате...

Тело сразу ощутилось старым-старым. Ноги задрожали, и она опустилась на сырую землю.

Шарик с лаем прыгал Ваське на грудь, два раза лизнул в лицо. Но мальчик, машинально отстраняя от себя морду лохматого друга, не отрывал глаз от темноты, поглотившей паром, и в груди у него горячо переливалась обида. Все было продумано и рассчитано. Везде, куда врываются немцы, коммунисты и комсомольцы уходят в партизаны.

Паром возле леса — самое удобное место, чтобы встретить партизан. «А вдруг никого не встречу?» Эта тревога волновала душу, но о том, что его могут оттолкнуть, даже и мысли

не было. И кто оттолкнул?! Чайка!..

Из состояния глубокой обиды его вывел шум близкой стрельбы и криков. Он оглянулся на деревню и бросился к Василисе Прокофьевне. Сначала ему показалось, что Волгина плачет, а она сидела беззвучная, словно неживая.

— Тетка Василиса!

Не отозвалась.

Васька принялся трясти ее за плечи.

— Немцы в нашей деревне! Слышишь, тетка Василиса? Немцы у нас!

От резкого движения из кармана передника Василисы Прокофьевны выпал спичечный коробок. Она рассеянно подняла его, и вдруг губы ее сурово сжались: мысль, блуждавшая у нее в течение всего вечера, сейчас окончательно прояснилась и утвердилась как бесповоротное решение. Хозяевами лесов будут Катя и ее товарищи. А немцы? Надо, чтобы немцы нигде не сделались хозяевами, нигде не должно быть стен, за которыми они смогли бы укрыться от партизанской пули. Ее дом не будет вражьей крепостью, из которой эта неметчина сможет убить ее дочь. Нет, не будет!

Зажав в руке спички, она встала. По телу пробегала дрожь, но силы еще были и сердце горело. Василиса Прокофьевна посмотрела на Волгу, на лес и быстро, по-мужски зашагала навстречу крикам, лютой ненавистью заживавшим кровь.

На берегу, по соседству с черным лесом и такой же черной рекой, сиротливо прижались друг к другу две молчаливые фигуры — Васька и Шарик.

Часть вторая

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Глава первая

От темной улицы веяло нежилой тишиной. Обходя большую лужу, мерцавшую возле колодца, тетя Нюша с ненавистью покосилась на пятна света под окнами школы. Дверь была

чуть приоткрыта, и на улицу вырывался густой хохот.

В школе стояли немцы. В двух окнах вместо стекол желтели фанерные листы, в других дыры были заткнуты ватниками и тряпьем.

Тетя Нюша вздрогнула: ей почудилось, будто сквозь пьяный хохот солдат прорывался судорожный женский плач. Вот опять... Багор выскользнул из ее рук, и ведро, прогромыхав по выступам бревен, звучно шлепнулось в черной глубине колодца.

Она, казалось, и не заметила этого. Оставив ведро в колодце, перешла дорогу и прильнула к крайнему, наполовину застекленному окну.

...В железной круглой голландке жарко горели дрова. Отблески пламени ложились на пьяные лица солдат, сидевших на обломках парт и на подоконниках.

Лейтенант Август Зюсмилх без сапог, в одних теплых носках сидел на столе, возле разбитой классной доски, и, целясь из револьвера, кричал:

— Встава-ать!

Солдаты хохотали, хлопали в ладоши...

Уцепившись за наличник, тетя Нюша встала на кирпичный выступ фундамента: на грязном полу, закиданном листками разорванных книг и тетрадей, в одной рубашке лежала старуха — худые ноги ее были оголены, по острым трясущимся плечам разметались седые волосы...

«Кто же это?»

Офицер повернул голову к рыжему солдату, которого на селе все звали «лохматым Карлой»; тот ухмыльнулся, схватил старуху за волосы и поставил на ноги.

— Барин, ради седин моих...

Тетя Ньюша испуганно перекрестилась: голос был знакомый.

Солдаты, толпившиеся у стола, перебежали к окну, и она не смогла увидеть лица старухи.

— Грех со старухой такое делать, барин! — с плачем рвался на улицу крик. — Пощади! — Плясать! — загремел голос офицера. — Айн!

В окне осталась только одна узкая светлая щель, и тетя Ньюша прильнула к ней, но ничего не увидела.

— Цвай! — отсчитывал офицер.

Грохнул выстрел, и на миг стало тихо-тихо, потом скрипнула дверь, и в сенях раздалась хрипая песня:

Ich warte dich

In dieser schonen Nacht...

На крыльцо вышел немец в одном нижнем белье, молодой, курносый, с всклокоченными рыжими волосами. Тетя Ньюша тихонько попятилась к колодцу. В школе по-прежнему было шумно, а женский голос уже не слышался.

— Отмаялась, — прошептала тетя Ньюша. Задрожавшими руками она достала ведро, и когда поднимала на плечо коромысло, оно почему-то показалось ей непомерно тяжелым. Моросил дождь.

Дома по обе стороны дороги стояли безмолвные и черные, и окна их, как глаза мертвецов, были наглухо закрыты ставнями. Но тетя Ньюша знала, что это безмолвие ночи

не сон. Люди с наступлением темноты только притихают, а глаза их открыты и уши насторожены.

У ворот своего дома она столкнулась с Фролом Кузьмичом.

— Мать не видела, тетя Ньюша? — спросил он. — Парнишка рассказывает, еще засветло ушла по соседям соли разыскать...

«Вот кто!.. Ее голос...» — пронеслось у тети Ньюши в мыслях. Отвернувшись, она наклонила голову.

— Нет, Фрол Кузьмич, не видела.

— Ума не приложу, куда девалась старая. — Он задумчиво поскреб тронутую сединой бороду. — А ты слышала?.. Знаешь, почему вчера шум-то был?

— Ну?

— На Ольшанском большаке партизаны им жару задали.

Поставив ведра наземь, тетя Ньюша жадно уставилась на него глазами.

Партизаны — это единственное светлое, что осталось в окружающем мраке. На прошлой неделе они перебили немецкий гарнизон в Головлеве, а в Больших Дрогальях повесили старосту, продавшегося немцам. Дня не проходит, чтобы из села не дошел слух: там подорвались грузовики на минах, в другом месте немцев обстреляли... Слушаешь такое,

и сердцу вроде легче: «Вот вам, проклятые! Не одни мы, есть кому взыскать с вас, аспидов, за слезы наши и муки».

— Откуда вы узнал-то?

Фрол Кузьмич осмотрелся по сторонам и зашептал:

— С приятелем повстречался, с Курагиным Семеном. Он кучером при рике работал.

Знаешь? Так вот, — говорит, — боле полсотни немцев положили. И, — говорит, —

Катерина

Ивановна — Чайка наша — там была.

— На большаке? — взволнованно перебила тетя Ньюша. — Ну как она? Поди, похудела?

— Об этом не расспросил.

— К нам бы, родные, пришли... Вот этих бы, что в школе... И для нас праздник бы...

— Придет черед и до этих! Лексей Митрич — это такой человек, все в свой черед справит, не упустит. — Фрол Кузьмич опять поскреб бороду. — Так, стало быть, не встречала мою старуху?

Тетя Ньюша посмотрела в сторону школы.

«Не к чему говорить, — решила она. — Мертвой теперь все равно, а он сам-то горяч: увидит — кинется и на свою голову гибель накличет».

— Небось, у кого-нито заночевать осталась. Куда ей деться? Не иголка...

Они попрощались, и тетя Ньюша прошла в калитку. Глаза ее привычно, но чуждо скользнули по двору.

Дверь хлева, сорванная с одной петли, раскачивалась и скрипела, точно плакала, а у курятника совсем двери не было: немцы сорвали ее и уволокли на растопку.

Тетя Ньюша отвела взгляд от пустого курятника — теперь душа ни к каким хозяйственным делам не лежала. Из дома слышался пискливый плач ребенка. «И сам не жилец, и на мать сухоту наводит», — толкнув дверь, горестно подумала тетя Ньюша.

На кухне чадила коптилка, смутно освещая рассыпанную по полу гнилую картошку.

Дочь Клавдия в одной рубашке стояла в горнице возле люльки и злым голосом пела:

Спи, младенец мой прекрасный,

Баюшки-баю.

Стану сказывать я сказку,

Песенку спою.

На печке, обнявшись, спали Нинка и Гришка. Ванюшки все еще не было.

«Вот без ума баба», — поставив ведра на пол, выругала себя тетя Ньюша за то, что отпустила сына в лес за хворостом: сама бы могла сходить.

Из мыслей ее не выходила мать Фрола Кузьмича, пристреленная Зюсмильхом.

— Ох, господи, господи...

— Устала, маманя? — тихо спросила Клавдия.

— Нет, так...

Потревоженный разговором, ребенок запищал громче.

— Молчи! — со злобой крикнула Клавдия и, точно сама испугавшись своего крика, зашептала: — Да замолчи же, а то вот немцам выброшу.

Тетя Ньюша взяла коптилку и прошла в горницу. Увидев свет, ребенок притих. Личико у него было сморщенное, с землистым оттенком, а воспаленные глазенки смотрели с осмысленной тоской; и от этого похож он был на игрушечного старичка.

— Не помирает... А где сил взять смотреть на него, такого? — Клавдия смяла рукой пустые груди. — Все одно как тряпки. И губ ему не смочишь...

Она стояла худая, с ввалившимися щеками. На вид ей можно было дать лет тридцать пять — сорок, а на самом деле осенью двадцать пятый год пошел. И самой ей теперь не верилось, что всего каких-нибудь полгода назад она была первой хохотуньей на селе, первой

песенницей. Пятипудовые мешки носила на спине легко, как игрушку. Одеваясь, с трудом стягивала тесемки сарафана на высокой груди... А с какой радостью прислушивалась к первым толчкам под сердцем, когда зашевелился там ребенок! Как хотелось, чтобы это был сын! И вот он лежал перед ней, тускло озираясь голодными глазами.

— Где взять силы, маманя?

Тетя Ньюша угрюмо вглядывалась в личико ребенка: носик его заострился и стал как восковой, — смерть в изголовьях стояла.

— Потерпи... — хотелось сказать ласково, а не получилось: такой уж голос жесткий. Она принесла в горницу чугунок с водой, несколько картофелин и нож. Сядь за стол, сказала дочери о налете партизан на немцев и спросила:

— Прошлой ночью ты задремала и смеялась что-то? Клавдия удивленно взглянула на мать, потом углы ее губ чуть дрогнули в улыбке.

— Сон видела, маманя. Будто утопиться пошла. Разбежалась с берега, вот-вот прыгну, а меня кто-то за руку. Глянула — девушка незнакомая, в светлой кофточке, босиком...

«Что

это ты вздумала?» — спрашивает. «Душно, — говорю, — немцы всю жизнь задавили. Не удерживай, прошу, твердо порешила. Потому нет сил больше. Прощай, — говорю, — родная, пусти!» — «Обожди, — тоже просит она. — Мы, — говорит, — в лесу чудо изобрели» — и показывает рядом с собой... Гляжу, машина. Вся в винтах да проводами опутанная! Тут откуда ни возьмись немцы... видимо-невидимо! Как заорут — и за

винтовки,

значит. А девушка нагнулась, какой-то винтик в машине повернула — и враз свет...

Веришь,

маманя, будто молниями всю землю охватило, — все белое... А немцев, как густую траву косой, — ряд на ряд валится, и дым от них черный-черный, словно от кизяка.

Рассказывая, Клавдия машинально качала люльку. Лицо ее посветлело, на щеках бледно проступил румянец.

— Кинулись они врассыпную, а лучи — везде их. Гляжу, а на душе все легче и легче...

Тут я, наверное, и рассмеялась.

— Да... Вот ежели такую машину бы... — проговорила тетя Ньюша, и на ее бесхитростном лице, исхудавшем и постаревшем, отразилось глубокое раздумье, точно она взвешивала что-то в уме. Покачав головой, тоскливо сказала: — Да где же ее найдешь,

такую

машину? Еще никто не додумался... А время не ждет. — Из глаз на морщинистые щеки скатились две слезы и задержались на них. — Гитлер всех нас передушит.

У Клавдии устало слипались глаза, а ребенок, заинтересовавшись коптилкой, тянулся дряблой ручонкой к огню.

Заметив, что дочь не слушает, тетя Ньюша замолчала. Глаза заволоклись грустью.

Двадцать дней прошло с того времени, как Катя поцеловала ее на лестничной площадке, у дверей редакции, и потом с Зиминым и механиком скрылась за углом улицы.

«Кабы знать, где отряд, сходила бы...»

Где-то вдаль прогрехотали два выстрела. Слабо донесся чей-то крик — и опять выстрел.

— Убили кого-то, — сказала Клавдия.

Нож выпал из рук тети Ньюши, и она, похолодев, вся ушла в слух.

Ребенок, очевидно, поняв, что ему не дотянуться до огня, опустил ручонки. Лицо сморщилось еще больше, и он заплакал.

Под окнами звучно падали капли, во дворе тоскливо скрипела дверь хлева.

Выстрелов больше не было.

— Ванюшка... Где ж он до сих пор?.. — прошептала тетя Ньюша и, не одеваясь, выбежала из избы.

Улица по-прежнему была безлюдна. Из переулка, на углу которого стоял дом Фрола Кузьмича, метнулась широкая полоса света. В кузове грузовика, стремительно вылетевшего на дорогу, сидели два солдата и между ними какой-то широкоплечий парень в расстегнутой рубашке. Один из солдат закурил. Осветилось окровавленное лицо парня, и тетя Нюша ухватилась рукой за косяк калитки: «Механик!..»

Глава вторая

Начинало светать, а разведчиков все не было. Партизаны настороженно вглядывались в туман, стлавшийся над Волгой.

Что означала стрельба, которую они слышали час назад на том берегу?

Зимин подозвал райкомовца Сашу.

— Надо узнать.

— Есть узнать, товарищ командир!

Саша разделся и, держа в зубах белье, вошел в холодную воду. Плыл осторожно, стараясь не всплескивать волн. Вот и кусты. Лодка, спрятанная в них, тихо покачивалась.

На

дне ее Саша увидел танечкины туфли и федины сапоги. Он оделся и осторожно шагнул в кусты.

До Головлевской МТС пробирался лесом, вышел на дорогу и в нерешительности остановился: итти напрямик или?.. Он посмотрел на высокий эмтеэсовский забор и, вздрогнув, едва удержал вскрик: у забора с раскинутыми руками лежала Танечка. Саша подбежал к ней, приподнял голову и, заглянув в ее мутные, остекленевшие глаза, опустил руки.

Земля на дороге была исслежена тяжелыми сапогами, а у края канавы взрыта и приплюснута: похоже было на то, что здесь барахтались в схватке несколько человек.

Трупа

Феди нигде не было.

Со стороны села донеслись гудки автомашины. Саша поднял застывшее тело Танечки и побежал с ним к реке.

Когда Саша вернулся, Катя сидела в землянке перед радиоприемником и записывала сводку Советского информбюро. Выбежав на шум, быстро окинула взглядом поляну. Распростертого на земле трупа Танечки сразу не заметила.

— А где?.. — и пошатнулась, увидев в руках Саши федины сапоги.

— Катюша! Ты что?.. — испугалась Зоя.

Катя попыталась что-то ответить — и не могла: в груди было тесно и душно, а руки и ноги словно обледенели. Да, теперь окончательно прояснилось то, о чем она смутно догадывалась в последние дни: она любила. Сердце отказывалось поверить в гибель любимого. Но сапоги и... труп... труп Танечки!

На нее смотрели, и она нашла в себе силы сдержать крик боли. Молча ушла от товарищей и долго без цели, без мыслей ходила по лесу.

Услышав голоса, остановилась. В просветы деревьев голубовато, как стекло, поблескивала Волга.

По обломкам взорванного моста лазили немцы, трогали серые глыбы бетона, из которых, словно надломленные кости и спутавшиеся обрывки сухожилий, торчали двутавровые балки и арматурные прутья.

На берегу стояли три танка и несколько автомашин. У самой кромки берега, оглядывая реку, разговаривали два немца. На плечах у одного отсвечивали обер-лейтенантские погоны.

«Наверное, это и есть главный гестаповец Карл Зюсмилх, про которого рассказывала Маруся», — догадалась Катя. Второй был одет в прорезиненный плащ и серую широкополую шляпу. На вид ему можно было дать лет сорок. Лицо продолговатое и резко суженное к подбородку. Он что-то крикнул, и немцы стали выбираться на берег. Сжимая гранату, Катя смотрела на отъезжающие машины и старалась припомнить, зачем она пришла сюда, что-то очень важное нужно было сделать, а что — забыла. Она вышла из-за деревьев. На том берегу вдаль темнела окраина Головлева.

«Да... Головлево», — вспомнила Катя.

Все время, пока она ходила по лесу, у нее было желание самой посмотреть следы, которые остались на дороге от Феди и Танечки. Она застегнула тужурку и пошла к берегу. В отряд вернулась на рассвете. Позади землянок, склонившись над ручьем, мыл сапоги Зимин. Он был босой, в нижней рубашке с расстегнутым воротом. Казалось, вместе с военным френчем и портупеей он снял с себя и командирскую строгость, и Кате захотелось обнять его и, как родному отцу, рассказать об открывшейся в ней горькой любви. Она подумала, что лучше Зимина никто не поймет, как хочется ей сейчас, чтобы он, ее Федюша, был здесь, рядом с ней, среди своих товарищей.

— Посиди, — увидев ее, предложил Зимин.

Она присела на толстый корень ивы.

Ручеек журчал тихо и шепеляво. От землянок доносились протяжные звуки гармонии, и несколько голосов, мужских и женских, тихо напевавших:

На диком бреге Иртыша

Сидел Ермак, объятый думой...

— Тяжело? — спросил Зимин.

— Тяжело...

— Д-да... Трудная наука...

Катя медленно подняла на него глаза.

— Какая?

— Уметь сердца железными сделать. Трудно, а надо... Надо ведь, дочка, а?

Помолчав и смотря прямо перед собой, она согласилась:

— Надо.

И почему-то вдруг после этого решительно произнесенного слова у нее прошло желание поделиться с кем бы то ни было своим горьким чувством.

— Я дал приказ доверенным в Головлеве и в ближайших селах тщательно проверить: может быть, Федя ранен и подобран колхозниками, — сказал Зимин обуваясь.

Щеки Кати порозовели.

— Знаешь, отец, я тоже так думаю... А может так быть?

— Конечно, может!

— Наверное, так и есть. От того места, где он отбивался, ни в одну сторону его следов нет.

Зимин изумился:

— Ты там была?

— Была.

Он поднялся, и они пошли к землянкам.

— Немцы, видно, собираются мост строить.

— Мост? — Зимин резко остановился.

Катя рассказала ему о том, что видела на Волге под Головлевом, и он нахмурился.

— У тебя встреча с Марусей сегодня?

— Да.

— Скажи ей, чтобы постаралась точнее выяснить насчет моста.

— Хорошо.

— И о Феде... Пусть побывает в Певске.

— Хорошо... — снова помрачнев, отозвалась Катя. Об этом она тоже думала.

Отсутствие фединых следов у места схватки можно было объяснить двояко: или подобрали свои, или схвачен немцами. Но попасть к гестаповцам — это куда страшнее, чем смерть.

— Скажу, — добавила она еле слышно.

Глава третья

Подходя к хутору Красное Полесье, Женя услышала шум. Мимо нее быстро пронеслись две закрытые машины. На хуторе было беспокойно. Женя почувствовала это сразу же, едва ступила на окраину: посреди дороги и у домов толпились старики и женщины.

Из слов, уловленных мимоходом, догадалась: немцы переписали население хутора, а на дворы, в которых имелись лошади и телеги, составили особые списки.

На углу переулка, в который ей нужно было свернуть, под окнами приземистого дома столпились человек двадцать колхозников и молча слушали чернобородого мужика, вероятно хозяина этого дома: он стоял в полураскрытой калитке. Женя задержалась.

— Каждый по своей совести пусть такое дело решает, — говорил чернобородый, комкая в руке картуз. — На меня смотреть нечего. Сами знаете: когда немцы здесь — я «староста», а когда их нет — не вижу, что у меня за спиной делается; а увижу, так зажмурюсь, будто в глаза пыль попала. Но ежели кто сам на немцев напорется, пусть на себя

и пеняет: они не зажмутся... Офицер мне так и сказал: всех заставят работать, а кто откажется — изничтожат. Потому и совет даю: не горячитесь... К примеру, гусак и то: разозлится, а редко когда напрямик лезет, норовит обождать, чтобы я спиной к нему повернулся. Вот тогда-то он меня и ущемит... Время теперь такое, соседи: кто глупее гусака

окажется, с того вперед и перья полетят... Только об одном прошу не забывать: ничего этого

я вам не говорил. Понятно?

«Кто его знает, что за человек: не то за нас, не то за немцев!» — подумала Женя.

На улице, где жили Кулагины, тоже кучками стояли люди. У ворот соседнего с Кулагиными двора женщина в одной рубашке и шали, накинутой на плечи, говорила седому

старику и двум хуторянкам:

— Конь-то не мой — колхозный! Как же я им распорядиться смогу? Вы же сами потом скажете: доверили бабе коня — один навоз от него остался... А угнать куда-нито, припрятать

— свою голову потеряешь.

Голос ее звучал растерянно и зло. Женщины молчали, а старик, взглянув на Женю, остановившуюся шагах в десяти от них, тихо сказал:

— Был колхоз, да сплыл. Чего уж тут о коне! Потерявши голову, по волосам не плачут. — Он безнадежно махнул рукой и зашагал на другую сторону улицы.

Дождавшись, когда все разошлись, Женя подошла к дому Кулагиных. На стук вышла мать Маруси. Она молча впустила гостью во двор; поднимаясь на крыльцо, всхлипнула.

— Вы що, мамо?

— Маня у меня...

— А що с ней? — встревожилась Женя.

— Сама увидишь.

Маруся сидела за столом и неподвижным взглядом смотрела поверх головы братишки, что-то мастеровившего на полу из досок. На звук открывшейся двери не оглянулась.

Женя обняла ее.

— Що ты така, Марусэнька? Лица нэма, а очи, як тучи... Яка беда с тобой приключилась?

— Никакой.

Маруся попыталась отстранить ее руки, но Женя обняла крепче.

— Ни, ты мне все кажи.

Она села и встревоженно смотрела на подругу, а та, видно, тяготилась ее присутствием.

— Пойдем под окна, поговорим трошечки.

— Не о чем...

На столе враскидку лежали тетрадные листы. Один был исписан.

«Я думаю, Катюша, ты поймешь меня, — прочла Женя. — Страшно жить стало, а сердце горит-горит... толкает оно, требует, чтобы я...»

Маруся вырвала у нее листок.

— Ну, коли секреты, до них мне дела нету, — невесело улыбнулась Женя. Она взяла чистый листок и написала: «Катя тревожится по тебе. Почему у каменной бабы не была?»

Маруся оглянулась на мать и братишку, взялась было за карандаш и, положив обратно, устало сказала:

— Так...

— В Певске была?

— Нет.

— Пойдешь?

— Зачем?

— Як зачем? А Федя? — возмущенно вырвалось у Жени.

Маруся покраснела, но промолчала. «Завтра Катя там будет. Пойдешь?» — написала Женя.

— Не знаю. Может быть... — Маруся растерялась. — Ведь я... ничего не сделала, что она просила... Как же?

— Об этом ты не мне скажешь, — разрывая листок на мелкие частицы, холодно сказала Женя.

Мать испуганно смотрела на девушек заплаканными глазами.

— А у нас сегодня весь день переписывали. Кольку моего и то записали, — сказала она, чтобы оборвать тягостное молчание.

Продолжая искоса наблюдать за Марусей, Женя спросила:

— А вы не скажете мне, мамо, що за человек у вас с той улицы... хата с краю, як до вас свернуть треба: черный такой, як цыган?

— Тимофея Сильча, наверно, видела — старосту; ихний дом — Стребулаевых — на переулке.

— А що вин за человек?

— Да как тебе сказать... В семье крутоват; приходится — бьет и жену и сына... А сын-то женатый... Я не раз одергивала: «Тимофей Сильч, да ты хоть народа-то постыдись». — «Стыжусь, — говорит, — Наталья Степановна, да трудно самого себя в ежовые рукавицы взять».

Старушка помолчала, задумчиво глядя на дочь.

— Что уж с годами укоренилось — вроде болезни. И не рад ей, а она есть, — сказала она, вытирая фартуком глаза. — Зато в работе он редкостный человек. Семья-то не в него: что баба, что сын, что сноха — ленивы. А баба к тому же ядовита, как репейник, за всех цепляется. Может, потому он редко и бывает дома. Сперва, когда рядовым был, все по соседям да на собраниях, а как завхозом сделали — по хозяйству. Другой раз ночью, глядишь, спят все, а он в поле или по конюшням ходит. А в войну так прямо и спал на поле. Его и в Певске хорошо знают. Чайка, бывало, как приедет, и на поля с ним и в дом хаживала.

Я одна слышала, говорит нашим девчатам: «Вот, мол, у него, у Тимофея Сильча, надо учиться работать и землю любить». Это, скажу, в самую точку. Чего-чего, а этого у него не отнимешь. Свое хозяйство может и недосмотреть, а чтобы колхозное...

— А как же вин в старосты попал?

— Сам напросился.

— Сам?..

— Сам, — вздохнула мать, думая о Марусе. — Согнали нас немцы: кого старостой выбирать? Молчим. Кто хочет старостой быть? Молчим. А он: «Я хочу». Конечно, от него все головы в стороны... И я... Повстречались вечером — мимо. Догнал. Вижу по лицу — мучается. «Эх, Наталья Степановна, — говорит, — от кого еще, а от тебя не ожидал! Слава богу, не первый денек меня знаешь. Пойми ты, дурья голова, ведь все молчите, никого охотников... Поставили бы немцы по своему выбору, тогда и пляши». Говорит, а в голосе и злость и слезы... Махнул рукой и пошел. Теперь видим: не спешит он разные немецкие приказы исполнять. Вот и выходит, человек вроде на позор пошел, чтобы полегче нам дышалось, а мы его... Да ты, к слову, почему про него выспрашиваешь?

— Цэ я так, — смущенно проговорила Женя. Она поднялась.

— Куда ты? — спросила Маруся.

— Туда, куда тебе треба было итти.

Маруся пошла ее проводить. На крыльце Женя раздраженно сказала:

— И тебе не стыдно, Маня!.. Людей и коней записывают, а ты сидишь дома, як каменная... Или не разумеешь, на що все цэ?

Маруся не ответила, а когда вышли за калитку, взяла Женю за руки и с жаром проговорила:

— Пойми меня, Женечка: не могу. Сегодня сдержалась, а завтра или послезавтра не сдержусь — кинусь на первого встречного немца, вцеплюсь... Убьют? Знаю. Но мертвому сердцу все равно — будь что будет. Оно не увидит, не услышит...

— Вот що у тебя в голове! — удивленно и с негодованием воскликнула Женя. — А я, по-твоему, из дерева сроблена? Мне легонько? Ничего с того, що казала, ты не сделаешь!

— Это уж решено, Женечка... Так и Чайке передай... — тихо, но твердо проговорила Маруся. — Поцелуйи ее за меня. — Голос у нее задрожал. — Передай спасибо за все, за все.

И

с тобой давай поцелуемся, Женечка.

Женя испуганно отстранила ее протянутые руки.

— Та щоб я с такой дурой целоваться... ни!

Она взволнованно обняла Марусю и стиснула так, что у той захрустели кости.

— Кажи, Манька, зараз же кажи, що не сделаешь этого!

Маруся молчала.

— Да шо ж цэ такэ? — сквозь слезы вскрикнула Женя. — Марусэнька! Милая! Я тебя

вот що прошу... три дня нікуди из дому не ходи. Добре? А я в эти дни до тебя прибегу. Кажі, що так буде, а то совсем не отпущу.

Маруся пожалала плечами и растроганно проговорила:

— Не надо, подруженька, это уж бесповоротно. Не один день думала.

— Бес с тобой, що бесповорота! Я ж тильки хочу побалакать по душам. Ну?

— Ладно, — глубоко вздохнув, сказала Маруся.

— Комсомольское дай.

— Честное комсомольское.

— Ну вот! — Женя долго держала ее руку, не решаясь отпустить. — До свиданья, а целоваться — ни!

Она провела по глазам рукой и пошла не оглядываясь.

Шагала по улице крупно и с возмущением думала:

«„Будь что будет“ — как же так можно сказать? Это выходит: все равно — советская жизнь после меня сюда вернется или немцы здесь останутся. Вот какая дура!»

Начинало темнеть. Дорога за хутором виднелась смутно, а вдаль и совсем пропадала в сизом тумане. Женя решила итти в Певск не по шоссе, а наискось, через ожерелковский лес:

так ближе. Половину пути шла, потом побежала, чтобы наверстать время, потраченное на хуторе, — иначе она рисковала опоздать на Глашкину поляну.

В город проникла через забор стадиона. Вышла на окраину и задумалась: стоит ли, как намеревалась, итти на явочную квартиру?

«Ведь это на другом конце города. Времени потрачу много, а неизвестно, знают ли что там о Феде, — размышляла она, не отрывая глаз от крыши Дома Советов, которая так соблазнительно близко вырисовывалась сквозь редяющую сумрачность. — Попытаюсь сама.

В темноте не заметят».

Пошла задворками и так тихо, что не потревожила ни одной собаки, — а может быть, немцы перебили их всех.

Из глухой боковой стены Дома Советов, почти на одном уровне с землей, сквозь решетку маленького окошка просачивался свет. Женя слышала, что тут у гестаповцев камера

пытток, но убедиться в этом ни разу не могла, потому что днем и ночью стояли здесь часовые.

Сейчас не было ни души, и только с улицы слышались глухие звуки шагов: вероятно, часовые ходили перед парадным крыльцом.

Она осторожно подкралась к стене и легла на землю. В глаза сразу бросилась железная добела раскаленная печь, — это от нее протянулась в окошечко полоса света. Перед печкой сидел солдат и калил на углях железные прутья. Отблески пламени освещали стены, на которых висели кольца, какие-то крючки... Все это было не то в ржавчине, не то забрызгано

кровью. В камере стояли и двигались солдаты в нижних рубахах с засученными по локти рукавами. Пол под их ногами был грязно-красный, точно на бойне. Кого-то, кажется, били: из дальнего угла неслся тягучий женский стон.

— Прикидываться дезертиром больше чем глупо... Женя повела взглядом по камере, отыскивая того, кто говорил, и увидела у массивной двери Карла Зюсмилыха, неизвестного ей штатского в широкополой шляпе и начальника покатнинского гарнизона Августа Зюсмилыха. Они — все трое — смотрели на рослого, широкоплечего парня, стоявшего к

окошку спиной.

— Дезертиры у вас, русских, бывают только двух сортов: враги большевизма или трусы, — зло говорил штатский. — Первые поступают к нам на службу, ну, а вторые — у них таких глаз не бывает, «товарищ дезертир». Вы — большевик! Запомните — я это понял

и повторяю: мы умеем ломать и большевиков. Глаза у своих пациентов я наполняю нужным выражением, а языки приобретают желательную мне подвижность.

Парень молчал, не оборачивался, и Женя не могла решить: он или не он?

Хрустнув пальцами, штатский сказал что-то властно, отрывисто. Несколько солдат кинулось на парня. Он отшвырнул одного и тотчас же покачнулся от удара в лицо — это

был Федя.

До крови закусив губу, Женя смотрела, как сорвали с него белье, как, связанного, кинули на пол. На спине у него были рубцы — чуть затянувшиеся и кровоточащие. Видно, не в первый раз он в этой камере. Штатский и офицеры выжидательно устремили глаза на печку. Женя взглянула туда же и, задрожав, зажмурилась: солдат вынимал из печки раскаленные прутья.

Глава четвертая

Встревоженная внезапным гулом, прокатившимся по лесу, Катя цепко сжала автомат.

Ветер качал вершины сосен, а внизу по-прежнему стояло неподвижное безмолвие — ни шороха, ни шагов: вероятно, упало дожившее свой век дерево.

Вглядываясь в темноту, Катя пошла дальше и выбралась на небольшую полянку.

Посреди нее торчал из земли позеленевший от плесени белый камень. Сейчас он вырисовывался сумрачной глыбой, а при дневном свете в верхней его части, среди старых трещин и зеленых наростов, можно разглядеть глубокие лунки глаз, выпуклость носа и кривую линию рта. Никто даже из самых дряхлых стариков не знал, кем и когда была поставлена в этой лесной глуши каменная баба. Казалось, она выросла и состарилась здесь вместе с лесом.

Рядом с камнем торчал трухлявый пенек. Лет шестьдесят назад на этом месте росла береза. Одна единственная в окружении сосен, она казалась такой же загадочной и необъяснимой, как и ее каменная соседка. Жила в то время в Залесском девушка Глаша — красавица и певунья. На глазах у всех за ней увивался барчук. Однажды летом вместе с подругами она ушла в лес и не вернулась. И только осенью перед первыми заморозками заплутавшийся головлевский крестьянин увидел ее висящей на этой березе. Крестьянин божился, что, когда бежал с поляны, ветки сосен не пускали его, хлестали по лицу, а каменная баба хохотала.

Труп Глаши с березы сняли, а березу спилили почти под самый корень. Хотели разрушить и бабу, но у мужика, пытавшегося это сделать, выскользнул из рук топор и

рассек ему ногу. Тогда старики окончательно решили, что это место колдовское, и оставили камень

в покое. Вот с той поры и стали называть поляну одни — «Нечистой», другие — «Глашкиной», а за камнем прочно укоренилось прозвище «Чортова баба». Взрослые пугали ею непослушных детей, да и сами, если случалось кому ненароком обмолвиться о ней в поздний час, крестились или сплевывали и долго после этого ждали какого-нибудь несчастья.

Полянка была пуста. На земле и на нижней части камня покачивались черные тени,

отброшенные шумящими соснами.

Катя сунула руку под пенек. В земляной лунке писем не было.

«Не приходили», — подумала она про Женю и Марусю.

Сердце забилося спокойнее. В последние дни у нее было какое-то странное состояние раздвоенности. После отрицательного ответа доверенных она так же страстно хотела узнать что-либо о Феде и... боялась этого. То, что федино исчезновение до сих пор оставалось неразгаданным, мучило и в то же время таило в себе надежду: когда не сказано ни «да» ни «нет», живет в сознании и в сердце «может быть». Мысль, что и эта робкая надежда с минуты на минуту может исчезнуть, страшила ее. Пока на какой-то срок все оставалось по-старому.

Залетев на полянку, ветер шевельнул ее волосы. Катя вздохнула и облокотилась на камень.

Мысли перекинулись на подруг: почему нет их? Сильнее тревожилась за Марусю: не видела ее больше двух недель, а последние три марусиных письма были слишком нервозны. Нужные отряду сведения сообщались в них коротко и небрежно, как отписка. Две явки пропустила... Чем все это можно объяснить? Устала? Надломилась? Виделась ли с ней Женя? Да и сама Женя почему-то запаздывает... Уговорились в одиннадцать.

Катя осветила фонариком часы. Было десять минут первого.

На поляну донесся хрустящий звук, точно кто-то наступил на хворост. Вот совсем близко послышались торопливые шаги. Катя положила палец на спуск автомата.

Из-за деревьев выбежала закутанная в шаль Женя, на ходу, переводя дух, проговорила: — На дороге, возле леса, немцы были, пережидала. Они поцеловались. Отстранившись, Катя заглянула подруге в глаза.

— Узнала, — тихо сказала Женя.

— Ну?

— Там.

Фонарик выпал из рук Кати.

— А ты не обозналась?

— Ни!

Женя подняла фонарик и рассказала все, что видела в окошечко камеры.

Шумел, перешептывался лес, вдали где-то тонко свистел ветер.

— А насчет моста — правда... Хотят строить, — сказала Женя, рассеянно скользя лучом света по каменной бабе.

Катя ничего не ответила ей на это. Она стояла неподвижно и смотрела на качающиеся вершины сосен, а видела ту страшную комнату и его, терзаемого палачами. Сердце рвалось

к нему, но в сознании была отчетливая ясность: если он еще жив, то все равно обречен на смерть. У отряда для налета на Певск слишком мало сил. И к тому же ради спасения одного товарища нельзя подвергать риску весь отряд.

— Ты... о чем, Женя? — спросила она вдруг.

— О мосте.

— Ну?

Женя подробно передала обо всем, что узнала на хуторе.

Катя нахмурилась: угроза немцев расстреливать и вешать всех, кто уклонится от трудовой повинности, звучала правдоподобно, особенно теперь, после дикой расправы эсэсовцев над колхозниками села Великолужское, где по приказу Карла Зюсмилыха зарыли живыми в землю семьдесят человек, и среди них отца Нюры Барковой.

— И все же мост восстановлен не будет! — проговорила она с суровой решительностью. — А что с Марусей?

— С нею погано, Катюша...

Выслушав рассказ Жени о свидании с Кулагиной, Катя долго молчала, теребя пальцами ремень автомата. Потом достала из грудного кармана блокнот и, попросив Женю посветить,

написала несколько слов.

— Постарайся побывать у нее сегодня же, — сказала она, передавая записку. — Прямо от нее иди в Залесское, к Михеичу. Там встретимся. Пошли!

Сквозь ветки изредка молочной белизной мелькала луна. Лес шумел, темный, таинственный. Сухие сучья, попадая под ноги, хрустели.

— Расскажи... какой он... Федя?..

— Ну, як казать? Стоит вин там...

— Не надо... нет, я не то. Ты говори! О чем хочешь, только об этом... про камеру... не надо.

Женя стала рассказывать о Певске, который теперь трудно узнать: одних домов нет, другие в развалинах.

До тропинки, у которой они должны были расстаться. Катя не прервала ее ни одним вопросом. Прощаясь, Женя ласково провела по щеке подруги рукой. Ладонь ее стала мокрой.

И она поняла все. Сердце остро кольнуло. Так хотелось сказать что-нибудь такое, что хоть немножечко смягчило бы Кате ее душевную боль, но слов не было, и Женя тоже беспомощно заплакала.

— Мабудь, выпустят...

— Ничего, Женечка, ничего... — чуть слышно прошептала Катя. — Ступай. Завтра увидимся в Залесском.

Она сняла со своей шеи женины руки и скрылась за деревьями.

Глава пятая

Саботаж начался дружно: в одну ночь из деревень неизвестно куда исчезли кони.

Колхозники на допросах твердили слово в слово: лошади не их собственные, а колхозные; кто угнал — неизвестно.

Массовые порки ничего не изменили. По приказу нового начальника гестапо со всех дворов, за которыми «числились» кони, были взяты заложники. Немцы согнали их в Покатную, заперли в сарай, а вечером в субботу объявили, что если через двадцать четыре часа кони не найдутся, все заложники будут казнены.

Ночью к дому старосты Красного Полесья подлетел забрызганный грязью мотоциклист. Он передал Тимофею Стребулаеву пакет и помчался дальше.

Письмо было, коротким:

«Господину Тимофею Стребулаеву. Надеюсь, у вас не пропало желание продолжить знакомство? Приезжайте срочно в особый отдел.

Макс фон Ридлер».

Тимофей взволновался. Умывшись, он долго стоял перед зеркалом, расчесывая густую и черную, как уголь, бороду. В обращении «Господину Стребулаеву» чудилась насмешка. Как будто и не было причин для беспокойства, а оно все нарастало. Прасковья — рыхлая и безобразно грудастая баба — в одной рубашке сидела на постели и настороженно следила

сборами мужа.

Лохматые, сросшиеся на переносице брови Тимофея хмурились. Третьего дня, услышав на улице частые автомобильные гудки, он выбежал за ворота и увидел легковую машину. В ней сидел немец в плаще и серей шляпе.

— Очень рад встрече, — поздоровавшись, сказал немец, правильно и почти без акцента произнося русские слова. — Надеюсь, она у нас не будет последней...

Губы его улыбались, а глаза смотрели, как две серые льдинки.

— До свиданья, господин Стребулаев.

Когда машина тронулась, немец оглянулся на него, Тимофея, стоявшего у ворот без шапки;

— Я — Макс фон Ридлер!

Высвобождая из бороды гребень, Тимофей выругался. Из головы не выходили тонкая улыбка на губах и ледянистые глаза, которые как бы говорили: «Улыбка-то ненастоящая, ты ей не верь, господин Стребулаев». От предчувствия чего-то недоброго дрожали колени, а между лопаток осел липкий холодок.

— Где картуз и полушубок? — спросил он резко, не оборачиваясь, и кинул гребень на стол.

С удивительным для своего тучного тела проворством Прасковья соскочила с постели и через минуту выбежала из запечья с картузом и полушубком. Одевшись, Тимофей что-то хотел сказать жене, но только строго взглянул на нее и, хлопнув дверью, вышел на крыльцо.

— Долго канителишься, Степка! — крикнул он сыну, запрягавшему лошадь.

— Зазря бранишь, тятя, все уж готово, только чересседельник продену, — переминаясь на кривых, изогнувшихся внутрь ногах, проговорил тот обиженно.

Тимофей сам вывел лошадь за ворота. У соседнего двора, рыдая, рвала на себе волосы бабка Акулина. Старуха с другой улицы утешала ее:

— Не у тебя одной, Акулинушка, горе такое... Не могут же они весь народ изничтожить?

Увидев Тимофея, Акулина подошла к нему, охая после каждого шага, концом платка вытерла подслеповатые глаза и сурово поджала губы.

— Замолвишь, чай, за народ слово, Тимофей Силыч? К тебе, видать, благоволят нехристи... Никого из твоих не тронули и коня оставили.

— Что в моих силах будет — сделаю.

Оглядев улицу, он бросил вожжи на руки Степке:

— Садись. Вместе поедем.

— Бог вам в помощь, — прошептала вслед старуха.

Ехали быстро. Когда холодное солнце вынырнуло из-под облачка на полуденной высоте, они были уже в Покатной. По улице патрулировали конные разъезды. На Стребулаевых никто не обращал внимания. Миновав школу, Степка завернул в переулок и, доехав до конца его, опустил вожжи — дальше ехать было нельзя: прямо до самого леса, начинавшегося невдалеке от села, столпилось множество людей. Тимофей встал на телегу. Степка не замедлил последовать его примеру. Оглядывая неподвижную людскую массу,

они

увидели неподалеку от сарая, в котором были заперты заложники, несколько женщин со своего хутора. Вокруг сарая живым забором стояли солдаты. На солнце отсвечивали их штыки и каски. Из сарая доносились крики, плач детей и частый стук: вероятно, заложники били кулаками в стены и в дверь.

Немцы хохотали.

Кое-где в толпе слышались рыдания.

— Со всех деревень, знать, согнали, — предположил Степка.

Отец не отозвался. Он смотрел на желтые холмики, пlyingшие в толпе возле леса: везли на грузовиках солому. Степка тоже засмотрелся на них, и оба не заметили, как к телеге подошли бывший начальник гестапо Карл Зюсмилх и его брат Август.

— Wohin? — строго спросил Карл Зюомильх.

Тимофей торопливо достал письмо. Взглянув на подпись, гестаповец махнул рукой:

— Круг!

Объезжать кругом — значило терять целый час. Но другого выхода не было.

— Заворачивай! — приказал Тимофей сыну.

За селом лошадь с трудом въехала на высокий бугор. С него видно было всю толпу.

Грузовики стояли уже возле сарая. Солдаты сбрасывали с них снопы и обкладывали соломой стены.

— Неужто сожгут, тять?

— Езжай прямо в лес, быстрее будет, — поторопил его Тимофей.

На Волге их ожидала еще одна непредвиденная задержка: с паромом случилась авария

— оборвался трос.

В Певск приехали уже затемно.

Вечер был тихий. Голые сучья деревьев не шевелились, и флаг со свастикой трепыхался над крышей бывшего Дома Советов лениво, без шороха. У калитки палисадника стояла автомашина с откинутой задней стенкой кузова. Из-под брезента смутно белели две пары босых стоймя торчавших подошв.

— Мертвецы... замученные, — шепнул Степка.

Рядом с грузовиком вокруг толстощекого фельдфебеля тесной кучкой собрались солдаты. Жестикулируя, он что-то весело рассказывал, и солдаты смеялись.

— ...Ленинград пал, — слышался из висевшего тут же неподалеку радиорупора передававший по-русски громкий голос. — Все оставшиеся в живых красноармейцы были повешены на телеграфных столбах центральных улиц и в окрестностях города. Так будет со всеми, кто посмеет стать на дороге великих армий Адольфа Гитлера. Только что получено сообщение с Московского фронта. Наши войска прорвали укрепленную линию Сталина.

Бои

идут на улицах Москвы. Войну в основном можно считать законченной...

Тимофей покосился на немцев, послушал немного, что говорил фельдфебель, и вздохнул; по-немецки он знал только три слова: «хальт», «гут» и «битте».

— Чего доброго, сбаловать могут, хорошенько приглядывай за лошадью, — тихо наказал он Степке и, на ходу вынимая из кармана письмо, подошел к двери.

— Приказано явиться — вот.

Часовой мельком взглянул на письмо и равнодушно отвернулся. Тимофей сначала растерялся, потом сообразил: «Если не гонят — значит разрешается войти».

Из подвала по винтовой лестнице немцы выволакивали за ноги два трупа. Первый был женский: по ступенькам тянулись густые спутавшиеся волосы. Вторую жертву немцев — мужчину с седой головой — Тимофей принял сначала за старика, но, взглядевшись, понял, что ошибся: лицо было молодое и как будто знакомое.

Мертвую женщину вытащили на улицу, а тело седого парня, не сдержав, бросили перед дверью. Тимофей взглянул на него еще раз и вздрогнул: парень открыл глаза.

«Это ж... механик головлевский!»

Глаза Феде смотрели на него в упор, но без признаков жизни, и Тимофей усомнился:

точно ли он видел, что они открылись?

«Померещилось... Наверно, и были открыты», — решил он и снова вздрогнул, на лбу у него выступила холодная испарина. Теперь он готов был поклясться чем угодно, что видел, как шевельнулись у механика губы, и ему стало страшно от устремленного на него взгляда неподвижных глаз. Он попятился и наскочил на офицера в очках, сбегавшего с лестницы. — Русский свинья! — закричал тот, с размаху ударив его кулаком по лицу.

В глазах Тимофея заходили черно-красные круги; с трудом устояв на ногах, он потер зашибленное место и, стараясь погасить вспышку озлобления и обиды, пробормотал: — Пошто, ваше благородие?.. Я по вызову... срочно велено.

— Hut ab! — взвизгнул офицер.

Тимофей по интонации догадался, что означает это «хутап»; он суетливо сдернул с головы картуз и вытянулся, руки с задрожавшими пальцами прижал к бедрам. Очевидно, удовлетворившись, немец насмешливо смерил его взглядом с ног до головы и прошел в дверь.

«И за человека не считают, гады», — поднимаясь по лестнице, тоскливо подумал Тимофей.

Глава шестая

Макс фон Ридлер был один. В сером костюме и зеленом галстуке, подпиравшем безукоризненно накрахмаленный воротничок сорочки, он ходил по кабинету и похрустывал

пальцами. Лисье лицо его было насупленным; лоб прорезала глубокая складка. Время от времени он взглядывал на часы: в одиннадцать кончался срок его ультиматума крестьянам-лошадникам.

На стенных часах большая стрелка медленно подходила к шести, маленькая стояла около одиннадцати.

Белесые брови его дрогнули: «Не из камня же эти люди, чтобы родных детей променять на лошадь!»

С улицы донеслись гудки автомашины: вероятно, отъезжал грузовик с трупами. Ридлер представил себе этот грузовик, и сердце заныло от досады: «Не смирил, ничего не узнал!...» Постучав, в кабинет вошел щегольски одетый офицер.

— По вашему вызову явился староста из Красного Полесья.

— Пусть ждет!

Офицер козырнул и бесшумно прикрыл за собой дверь.

Ридлер устало опустился на стул. Хотелось спать. На столе поверх папки с надписью: «Дело партизана, называющего себя дезертиром», лежала помятая листовка, отобранная утром у какой-то залесской старухи. Ридлер положил листовку перед собой. За день он несколько раз перечитал ее и теперь знал наизусть каждое слово.

Оттиснутые на гектографе строки листовки призывали население к сопротивлению немцам. Крупным шрифтом выделялись в тексте слова: «Дорогами нашего района к немцам

подкрепление не пройдет. Все на защиту Москвы!» и подпись: «Народные мстители».

Похрустывая пальцами, Ридлер смотрел на подпись.

«Народные мстители» — это был псевдоним смертельного врага, о котором он почти ничего не знал. Сколько здесь этих «народных мстителей»? Кто возглавляет их?

Он понимал, что борьба за мост будет жестокой, и чувствовал себя готовым к ней.

В обращении с «инородцами» он не был новичком. Когда отбирали кандидатуры для работы в России, выбор пал на него не только потому, что он хорошо владел русским

языком: в Берлине было признано, что за год работы в Польше он проявил себя очень способным организатором «нового порядка». Личный секретарь Гиммлера, подписывая назначение, многозначительно улыбнулся:

— Вы у нас тертый калач, господин фон Ридлер.

Ридлер это и сам знал. В штабе фронта, когда его предупредили, что Певский район — один из самых беспокойных, он пренебрежительно пожал плечами. «Беспокойный!.. Это несущественно». Он был уверен, что добьется такого положения, когда крестьяне возненавидят партизан и начнут сами вылавливать их и передавать немецким властям.

Такой

опыт был уже проведен им в одной польской деревушке. Правда, для получения такого результата пришлось из общего числа жителей деревни оставить в живых лишь одну четверть. Там это было проще, а здесь... Нужда в рабочей силе для восстановления моста и магистрали удерживала его в первые дни от применения крутых мер. Но сегодня, взвесив все, он решил: времени для либеральных экспериментов у него нет, а поэтому не может

быть

и выбора. Можно недостачу в рабочей силе сколько угодно пополнять за счет соседних районов; а если бы даже не имелось такой возможности — все равно: в конце концов лучше иметь одну послушную тебе руку, чем две, но парализованные.

Он еще раз взглянул на часы и сунул в рот папиросу.

«Через пятнадцать минут, если лошади не будут приведены, костер в Покатной покажет этим русским свиньям, кто такой Макс фон Ридлер!»

Он чиркнул спичкой, но не закурил, отвлеченный телефонным звонком. На лицо легло торжествующее выражение. Словно чувствуя себя перед глазами толпы, он неторопливо одернул пиджак, поправил галстук и только тогда взял трубку. Сказал холодно и резко: — Слушаю.

По едва уловимому чавкающему звуку догадался, что у телефона комендант города и начальник гарнизона полковник Корф: когда полковник бывал разъярен, он, прежде чем начать разговор, с минуту, а иногда и больше, жевал губами, и лицо его при этом принимало

удивительное сходство с кроличьим.

— Это я, Корф, — прохрипел голос в трубке.

— Что-нибудь серьезное, господин полковник? — Ридлер насмешливо улыбнулся, думая, что полковник только сейчас узнал о двух офицерах, зарезанных кем-то утром на берегу Волги. Ни о чем другом, могущем разъярить полковника, ему не было известно.

— Нет, пустячки! — с сарказмом выкрикнул полковник. — Партиз... эти самые... налет на Покатную!

Трубка в руке Ридлера а дрогнула.

— Что-о?

— На сарай, куда вы заперли этих... Да мне черт с ними, с этими самыми, которых вы!.. — загремел голос Корфа во всю силу. — Гарнизон перебили!

— Гар-ни-зон?!

— Вот именно: гар-ни-зон. Только несколько солдат уцелело и... Август Зюсмилх...

— Он сообщил?

— Да. Из Жукова. — Корф опять зажевал губами.

У Ридлера нехватило терпения ждать, и он, закусив губу, надавил рычаг.

— Покатную! Срочно!

— Линия повреждена, — встревоженно ответила станция.

— Как повреждена? Вороны! Ух-х... — Грязное ругательство сорвалось у Ридлера. — Коменданта города!

Голос полковника отрывисто сказал:

— Да!

— Карателей послали?

— Посланы.

— Там должен быть Карл Зюсмилх. Он...

— Убит, — ответил полковник.

Ридлер положил трубку. Сцепив пальцы, он потянул их, и они захрустели, как ломающиеся сухие палочки. В тишине кабинета громко прошипели часы. Ридлер вздрогнул.

Маленькая стрелка стояла ровно на одиннадцати.

Первый удар часов прозвучал, как пощечина.

— Они у меня поплотятся!.. Узнают они меня!..

Глаза его устремились куда-то вдаль, а губы, сведенные злой улыбкой, слегка дрожали.

Пальцы нашарили партизанскую листовку. Он скомкал ее, потом тщательно разгладил, сложил вчетверо и разорвал на лоскуточки.

«Чорт знает, сколько времени провозятся с поврежденной линией. А каждая минута — пытка!»

Он резко нажал кнопку звонка и приказал показавшемуся в двери щеголеватому офицеру:

— Этого... старосту!

Глава седьмая

— Зачем они тебя? — любопытствовал было Степка, да и не обрадовался — съезжился под отцовским взглядом, голову в шею вобрал.

— Ты знай про свои дела, как с бабой управляться, а до отцовских — нишкни!

Понял? — Тимофей сел на телегу так, что доски подпрыгнули. — Трогай! «Да-а, немец... И глазищи-то, ровно у дьявола!.. Эх, чуяло сердце — не ехать бы!» — Расстегнув ворот полушубка, Тимофей криво усмехнулся: — Полный почет... Мало старосты — десятник еще

теперь.

— Где это, тять?

— На строительство назначен, — неохотно ответил Тимофей, а сам думал: «Вот тебе и побывал в гостях... Продолжили знакомство».

От удивления Степка даже вожжи выпустил.

— На строительство? А ты, тять, по этому делу разве смекаешь чего?

— Правь знай.

Выехали за город. Над оврагом, метрах в пятнадцати от дороги, истошно галдело воронье. Окутанные туманом, там двигались какие-то фигуры.

— Нынче все вроде мертвые, — глухо донесся к дороге женский голос.

— Выходит, так... — проговорил другой. — Ой, нет... Слышите?..

Стребулаевы успели порядочно отъехать от оврага, когда их догнал окрик:

— Стойте!

Из тумана вынырнула женщина.

— Русские?

Тимофей промолчал, а Степка буркнул:

— Нет, мериканцы.

— Товарищи, посветить нужно... Мы спички забыли.

— Трогай, — сказал Тимофей Степке и повернулся к женщине: — Некогда нам. К переправе торопимся.

Женщина схватила лошадь за узду.

— Нам посветить надо, — проговорила она гневно. — Если вы не гады, то поможете. А некогда, так хоть спички дайте.

Поколебавшись, Тимофей достал из полушубка спички.

— Коробок есть?

— Нет.

Отдать полный коробок было жаль: где их теперь возьмешь, спички-то?

Тимофей прыгнул с телеги и, ворча, пошел следом за женщиной.

На краю оврага смутно вырисовывалась ручная тележка. Возле нее стояли две женщины, и над их головами с картавым карканьем кружилось воронье.

— Чего светить-то? — раздраженно спросил он.

— Вниз спустимся. Не оступись.

«По-домашнему она здесь», — подумал Тимофей, не отрывая глаз от спины женщины, уверенно спускавшейся в тьму крутого оврага.

Голова кружилась, и к горлу подступала тошнота от воздуха, настоенного смрадом разлагающихся трупов.

— Слушай... — остановившись, прошептала женщина. Тимофей услышал слабый стон, будто кто-то пытался крикнуть — и не мог. Он чиркнул спичкой. Тускло осветились груды окровавленных тел, голых и прикрытых кое-какими лохмотьями. Тимофей медленно повел дрожащей рукой и выронил спичку: на него широко открытыми глазами смотрел головлевский механик.

— Свет! — заторопили Тимофея сразу два женских голоса.

— Милый, мученик ты наш, голубчик! В чувствии? — горячо, со слезами спросила женщина, выделявшаяся в темноте белым полушалком.

Федя застонал.

Женщины наклонились над ним и попытались поднять, но это оказалось им не под силу.

— Тяжел, — проговорила женщина в белом полушалке. Она взяла из рук Тимофея спички. — Ну-ка, возмись, а я посвечу.

«Не дай бог, кто из немцев заметит», — подумал Тимофей. Ему не терпелось поскорее выбраться из этой страшной могилы, и он быстро взвалил себе на спину безвольное тело механика.

— Светите, мать вашу...

Женщина со спичками забежала вперед. Тимофей шел покачиваясь. Выбравшись наверх, он опустил стонущего механика на тележку и, обтирая лицо полкой полушубка, хрипло спросил:

— Все?

— Все, дорогой. — Женщина отдала спички и крепко пожала его руку. — Спасибо, товарищ!

Тимофей, ничего не ответив, заторопился к своей телеге.

— Чего там, тять? — жадно спросил Степка. Вырвав у него кнут, Тимофей замахнулся.

— Я тебе, сукин сын, что сказал? До отцовских дел...

— Да я ж просто так... — отодвигаясь, пробурчал Степка, а сердце захлестнула обида, и он зло дернул вожжи. — Двигай, коняга, чего разоржалась? Тебе да мне — ни жить, ни

говорить: судьбина такая. Н-но, сволочь!

Лошадь понеслась рысью. Тимофей полулежал, облокотившись на мешок с сеном.

Лицо у него было расстроенное и злое.

Через Волгу переправились почти в полночь. Дорога лежала вдоль леса. По небу тоскливыми островками плыли молочно-пепельные облака. Когда они закрывали луну, чернота леса сливалась с чернотой земли и лошадь, замедляя шаг, ступала как бы ощупью.

А

когда облака редели или луна сама показывалась из-под них краешком, на дороге и по левую

обочину ее, точно разбросанные куски жести, мерцали лужи.

Степку тяготило молчание отца. Что сказал ему немец? Чем распалил так, что и до сих пор остыть, не может? Хлестнув лошадь, он посмотрел через плечо на Тимофея, потом потихоньку достал кисет с табаком и вздохнул.

Страшен отец в гневе, и рука у него тяжелая. Не приведи бог попасть под нее в такую минуту — искалечит. Вот ведь в детстве хватил поленом по ногам и на всю жизнь кривоногим оставил. Он как будто и не замечает, что у сына и на щеках и под носом густо щетина лезет. Для него он как был Степкой, так им и остался. Перед женой стыдно. Она

нет-

нет да и скажет: «Степан, тебе же пять лет за двадцать перевалило, отцом скоро будешь, а тятя тобой ровно сосунком помыкает». А это верно... По его и жениным подсчетам, на страстной он должен отцом стать. Мать распашонки готовит. И только один он, отец,

ничего

не замечает, как со щенком обращается. Из-за него и от соседей «Степана» не дождешься,

не

говоря уж о «Степане Тимофеиче»... И в глаза и за глаза Степкой Колченогим кличут.

От этих мыслей, а может быть, от мрачной осенней ночи сердце чувствовалось сдавленным и тоскующим.

Они подъезжали к Ольшанскому большаку, который, перерезав дорогу двумя глубокими колеями, скрывался в темноте леса.

Полевая земля повсюду, куда хватал глаз, лежала мертвая и точно в язвах. Трудно было отыскать целину, не развороченную снарядами. То там, то здесь чернели изуродованные, опрокинутые набок и вверх колесами и зарывшиеся в землю машины и орудия; большак вырисовывался посреди этой трупной безжизненности прямыми, тускло мерцающими полосами.

— Никак идет кто-то... Тятя, гляди! Тимофей скопил глаза.

По большаку действительно кто-то шел, быстро приближаясь к лесу.

— Останови-ка лошадь!

Степка натянул вожжи и, взглядываясь, приложил к глазам руку.

— Девка вроде. Боится нас, видишь — встала. Назад, знать, хочет... Нет, гляди-кось, сюда идет.

— А ты языком-то меньше трепи, — сверкнув глазами, осадил его Тимофей. — Делай вид, что лошадь управляешь... Ну!.. Растяпа...

Степка спрыгнул и засуетился, поправляя дугу. Тимофей исподлобья разглядывал девушку.

В очертаниях фигуры и в походке угадывалось что-то знакомое. Шагах в десяти от дороги она опять остановилась.

— Чего год целый возишься? Трогай! — умышленно во весь голос закричал Тимофей

и, едва Степка вспрыгнул на телегу и хлестнул лошадь, нетерпеливо спросил: — Кто такая? Не знаешь?

— А ты что же, не признал? Учителка наша... Маруська Кулагина.

Тимофей оглянулся на лес, в котором скрылась девушка, и отрывисто приказал:

— Слазь!

Степка вытаращил на него растерянно забегавшие глаза, а сердце заныло и затосковало.

«Вот... как чуял, начинает... Неужто прибьет? За что же?»

— Слазь! — озлобленно повторил Тимофей и вырвал из его рук вожжи.

Степка спрыгнул.

— Иди за ней. Мне партизанский отряд нужен. По личной надобности. Понял? Да ногами-то кривыми половчее управляй, чтоб не слышно было, а то еще греха наживешь —

за

спиёна примут. Ну?

Глаза у Степки стали еще круглее, по спине неприятный холодок пробежал.

— Боязно, тятя, темь в лесу... да потом — партизаны. Нарвешься — и в самом деле за спиёна примут.

— Говорю, надо!

Сильнее всего опасался Степка отца, когда тот, как сейчас, наплотно сдвигал брови и рывком поглаживал бороду, будто намереваясь выдрать ее.

— Иду уж. Нет у вас, тятя, сочувствия к родной крови...

Послышался гул, и Тимофей поспешно свернул лошадь с дороги. Мимо, обдав его брызгами грязи, пронеслась легковая машина, и в ней, откинувшись на спинку, сидел Макс фон Ридлер.

Машина мчалась в сторону Покатной.

Глава восьмая

Деревья густо переплелись ветвями, и лишь кое-где на лица партизан и на рыжую от прелого игольника землю падали полоски лунного света.

В разных сторонах появлялись вдруг и исчезали мерцающие отсветы — это на освещенное место попадал чей-либо колыхающийся штык или диск автомата, а издали доносилось

татаканье

пулеметов:

студент

Ленинградского

института

горной

промышленности Николай Васильев, председатель рика Озеров и Люба Травкина прикрывали отступление отряда.

Катя стояла неподалеку от Зимина, возле лежавшей на земле Зои, и настороженно прислушивалась к голосам, отзывавшимся из темноты.

— Годова?

— Здесь, — ответила покатнинская колхозница.

Вот всегда за фамилией этой колхозницы командир называл фамилию Феди, и механик весело говорил: «Есть! Голова цела, а ноги не помню».

— Данилов! — окликнул Зимин.

— Здесь.

Катя вытерла навернувшиеся слезы.

«Вычеркнут из списка... а может быть... может быть, уже и... из жизни. Только вот из сердца — трудно, так трудно вычеркнуть!»

К концу переклички пулеметы смолкли, и как-то отчетливей и ласковей стал глухой шум леса. Стволы редких берез, мерцавших бледными полосами, оттеняли его черноту. Вдали изогнутым хвостом взметнулась ракета — сигнал пулеметчиков: «Все благополучно».

— Недурная ночка! — пряча книжку в карман, сказал Зимин.

Это означало, что бой прошел без потерь. Шестьдесят человек пришли в Покатную, шестьдесят вернулись в лес. Из одиннадцати раненых только одна Зоя не могла идти — пулями пробило ей обе ноги, но раны были не опасны. Напряженная тишина, державшаяся во время всей переклички, взорвалась радостным гулом мужских и женских голосов. Зимин выжидающе смотрел в ту сторону, откуда должны были появиться пулеметчики. Отряду в эту ночь предстояла еще одна боевая операция. По сведениям, доставленным Женей Омельченко, часа в три ночи по Жуковскому большаку должен пройти автотранспорт с боеприпасами. На большаке отряд поджидали две девушки. Они еще с вечера ушли туда с минами и ящиком гранат.

Партизаны шумно передвигались.

Клин света упал на морщинистое лицо Леонида Степановича Васильева — старого певского учителя, партизанившего теперь вместе с сыном и дочерью. Поглаживая ремень охотничьего ружья, он обратился к Зимину:

— Считаете, товарищ командир, недурно поработали?

— Очень недурно, Леонид Степанович. Около сотни немцев, я думаю, положили.

В темноте не было видно лица Зимина, но Катя по голосу чувствовала, что у командира хорошее настроение — такое, какого не было у него еще ни разу за все дни партизанской жизни. Она понимала — причин для радости много: и освобождение заложников, и побитые

немцы, и то, что боевая операция прошла без потерь... И в то же время ей было непонятно

и

обидно: как можно радоваться, когда нет здесь Феди? Может быть, в эти самые минуты он там, в той страшной камере...

— Вот руки у нас и развязаны, — подойдя к ней, сказал Зимин. — Теперь у немцев ни лошадей, ни заложников. Будем бить по мосту. Так, дочка?

Катя промолчала.

— Ты сейчас на Глашкину?

— Да. Немножечко провожу вас, а потом... — Она поправила ремень автомата. — Я думаю поспеть к вам. Оставьте для меня пару гранат.

— Оставим, — улыбнулся Зимин. — У тебя сегодня кто там: Омельченко?

— Маруся должна прийти.

К ним подбежал Ванюша Кудрявцев — четырнадцатилетний парнишка, самый молодой в отряде.

— Товарищ командир, здесь кто-то есть, — сообщил он взволнованно.

— Где?

— Да вот здесь, рядом. Пойдемте!

Партизаны гурьбой двинулись вслед за парнишкой.

Ванюша сначала шел быстро, потом замедлил шаг и, остановившись, молча указал пальцем.

Под низко опущенными ветвями сосны лежало что-то черное, свернувшись клубочком.

Это «что-то» задвигалось.

— Собака, — сказал Зимин.

Из темноты сердито отозвался сонный голос:

— Не собака, а человек.

Клубочек развернулся и подпрыгнул. Под сосной стоял мальчишка.

— Какая вам еще собака! — проговорил он уже не сонно, но все так же сердито и смело вышел на освещенное луной место.

— Вася! — изумленно вскрикнула Катя.

Это был Васька Силов, в отцовской куртке, в шапке-ушанке, с добротной солдатской сумкой за плечами. Зимин подошел к нему.

— Ты почему здесь?

— Партизан ищу.

— Зачем?

— Партизанить.

— Гм-м... А откуда ты?

Васька рукавом куртки утер нос и, с любопытством оглядывая всех, сказал:

— Видишь, какое дело, я... — Увидев Катю, он заулыбался. — Здравствуй, Катерина Ивановна! Вот и свиделись...

Она порывисто обняла его.

— О наших что-нибудь знаешь?

— Все знаю.

Неторопливо, со степенностью он рассказал, как ожерелковцы сожгли деревню и все до одного сбежали в лес.

— Да, видишь ли, какое дело, расположились-то сдуру неподалеку. Третьего дня окружили нас и — обратно до Ожерелок. Понимаешь? Скот весь, конечно, угнали, а нам — «рой землянки!» И сторожить остались... Твои, Катерина Ивановна, с моими, да Лобовы еще, да семья кузнеца в одной землянке устроились.

— Слышишь, отец? — вырвалось у Кати, и глаза ее радостно засветились. — Все живы! Понимаешь, прямо камень с души. А сторожат...

— Сторожей снимем, — сказал Зимин.

Его тронула за руку Даша Лобова и взволнованно проговорила:

— Товарищ командир, разреши мне до утра... в Ожерелки... на мать и деда поглядеть.

— Хорошо. Только до утра. Катя опять повернулась к Ваське.

— Ну, а ты как же? Ты тоже там был?

— Был, да только как затемнело, обратно подался. Чего ж, мое дело известное. В лесу мы хоть вольные были, а вместе с бабами да стариками, да еще под немцем... Прихватил у одного фрица вот эту сумку — и тягу...

— Чей это малец? — засмеялся Зимин.

— Силова, председателя нашего. — Катя ласково взяла Ваську за подбородок. — Все-таки не послушался?

Васька вздохнул и снисходительно усмехнулся:

— Ты тогда малость недопонимала, Катерина Ивановна...

Голос его дрогнул: видно, обида не улеглась совсем за эти дни.

— «Маленький», а я и стрелять умею не хуже всякого ворошиловского стрелка. У тяти ружье есть, так я один раз из окна ворону убил. Это еще в мирное время. — Он помолчал и, глядя исподлобья, буркнул: — Стрелять не доверите, так я разведчиком — куда хошь проберусь.

— Ну, какой из тебя разведчик? — подзадорила его Нина, дочь учителя Васильева. — Подошли мы, а ты спишь.

Васька растерялся, сердито шмыгнул носом.

— Так то вы!.. А ежели немцы — разве я не услышал бы?

Дружный хохот покрыл его слова. Давно уже партизаны так не смеялись. Зимин одобрительно взглянул на Катю: со дня исчезновения Феди Голубева он впервые видел ее веселой.

Васька смотрел на всех насупившись, с обидой.

— Ну, как же, Чайка, взять его? — все еще смеясь, спросил Зимин.

— Конечно. Вестью какой порадовал! Стоит за одно это взять.

Губы мальчишки расплылись в такую широкую улыбку, что от нее на веснушчатом лице его как-то вдруг засветились и скулы, и подбородок, и кончик вздернутого носа.

— Ну да, стоит, — сказал он. — Поняли наконец-то! Катя хотела было расспросить его о своей матери, но в это время послышался странный звук: будто где-то вдали раскатисто прогрохотал гром.

Партизаны встревожились: стреляли из орудий. Залп следовал за залпом.

— Кажется, в Покатной, — неуверенно сказал Зимин.

Глава девятая

После ухода партизан тишина в Покатной длилась недолго: на улицы с разных концов села хлынули пьяные, орущие немцы. Приперев бревном калитку, тетя Нюша испуганно слушала: где-то в страхе вскрикнул и оборвался детский голос, с другой улицы несся отчаянный вопль:

— Спасите-е!.. Убива-ают!..

— Пошли в избу! — прикрикнула тетя Нюша на детей. Время казалось остановившимся.

Ни тетя Нюша и никто из ее детей не сдвинулись с места, когда раздался стук в ворота. Немцы сорвали калитку с петель и ворвались в избу. Сутулый, обрюзгший блондин — вероятно, он был старший — оглядел горницу и ткнул пальцем в Ванюшку. Солдаты схватили мальчика.

Тетя Нюша с криком протянула руки. Ее ударили прикладом по голове.

Минут через двадцать в село на полной скорости влетела машина с Максом фон Ридлером.

Два часа рыли покатнинцы возле школы широкую яму. По одну ее сторону, сложенные, как штабели дров, лежали убитые партизанами немцы, по другую — стояла окруженная солдатами толпа. За горами трупов чернел танк, позади арестованных — второй. Вдоль дороги со вскинутыми штыками выстроились солдаты; за их спинами огромным скопищем стиснулись родственники арестованных — все село. Немцы не пропустили ни одного двора; из каждой семьи вырвали по человеку. Среди арестованных было много детей, стариков, женщин. Ванюшка стоял в первом ряду, лицом к вырытой яме. Рот у него передергивался, по щекам катились быстрые слезы. Рядом с ним, укачивая плачущего ребенка, переминалась с ноги на ногу дочь Фрола Кузьмича, Груша. Она совала

рот ребенку грудь и громко, одеревеневшим голосом баюкала:

— О-о-о... О-о-о!..

На крыльце школы стояли офицеры, и среди них на верхней ступеньке — фон Ридлер.

Похрустывая пальцами, он молча вглядывался в лица арестованных, и так пристально, точно

хотел запомнить их на всю жизнь.

Когда закончили рыть могилу, тетю Ньюшу оттиснули к колодцу, возле которого стоял грузовой автомобиль с телами Карла Зюсмилхы и еще трех офицеров. Она со страхом смотрела то на сынишку, то на Макса фон Ридлера. От соседей слышала, что этот немец

был

теперь главным начальником и занимал катин кабинет. Что же он хочет делать с ее сыном? Чем провинился Ванюшка?

Перед крыльцом и еще в трех местах на улице висели микрофоны — это для того, чтобы весь район знал, что происходит этой ночью в Покатной.

Взглянув на часы, Ридлер снял шляпу. Вслед за ним обнажили головы офицеры.

Солдаты положили каски к ногам. Покатнинцы не пошевелились.

— Шапки долой! — зло прокричал Ридлер.

Два старика и худощавый парнишка шапок не сняли. Солдаты схватили их и швырнули в толпу арестованных.

— На колени! — еще резче приказал Ридлер, Приказание относилось к одним русским.

Немцы запели гимн. Орудия танков грохнули разом (это их отзвук долетел в лес до партизан, как отдаленный раскат грома). По приказу лейтенанта Августа Зюсмилхы — долгового рыжего, со шрамом под глазом — трупы стали опускать в могилу. Салютные залпы следовали после каждого опущенного в могилу мертвого немца, но стреляли танки

не

холостыми снарядами и не в воздух, а по домам. Когда опускали последний труп, огнем охватило больше десятка дворов.

Ридлер сошел со ступенек и бросил в могилу ком земли. Все немцы, за исключением конвоя, последовали его примеру. Держа шляпу в руке, он снова поднялся на крыльцо и ждал, когда засыплут могилу.

Люди, поставленные на колени, угрюмо смотрели в землю.

Отгремел последний залп, замер вдали гул от него, и Ридлер надел шляпу.

— Вы! — как плеткой, стегнул по толпе его голос. Помолчав, он указал на выросший холм. — Пролита немецкая кровь... Я знаю, вам хочется спросить: в чем ваша вина?

Хорошо, я скажу это. Вы не предупредили немецкие власти о налете партизан — раз, вы не помогли нам задержать их — два... Поэтому я рассматриваю вас как сообщников. Мы можем от села и жителей оставить один пепел. Но мы не жестоки, и я придумал урок справедливый и гуманный.

Не глядя на арестованных, он ткнул в их сторону пальцем.

— Вина на всех, поэтому ответ с каждого дома равный. Прошу смотреть и запомнить: так есть и так будет всегда!

Он кивнул Августу Зюсмилху, и тот крикнул арестованным:

— Встать!

Солдаты наклонили штыки.

Мертвую тишину нарушил женский вскрик, кто-то зарыдал...

— *Es lebe Deutschland!* — медленно выговорил Ридлер, и солдаты, точно в опьянении, заорали:

— *Es lebe Deutschland!*

Ридлер махнул рукой:

— *Vor!*

И арестованных штыками погнали прямо на танк, неподвижный и черный. В первом ряду шли Ванюшка и Груша с ребенком на руках.

Тетя Ньюша рванулась сквозь цепь солдат, но ее отшвырнули.

— Куда вы его? Мальчонку моего куда?

Она еще не могла осмыслить значения всего происходящего, но многие уже поняли: крики ужаса, истерические рыдания заполнили улицу.

Ридлер закурил, глубоко затянулся дымом.

— Господи! Ой, господи! — Тетя Ньюша заметалась: только сейчас, когда от ее сына до танка осталось не больше пяти шагов и этот танк, взревев, с грохотом и лязганьем двинулся на беззащитную толпу, она тоже поняла все.

Часть обреченных на казнь кинулась было в сторону, но немцы встретили их в штыки.

Танк надвигался прямо на Грушу. Судорожно прижимая к груди ребенка, она попятилась вместе со всей толпой. Но в эту минуту по знаку Ридлера двинулся второй танк. Под натиском задних рядов люди шарахнулись обратно. Ребенок выпал из рук Груши. Сама она качнулась и, дико закричав, свалилась под гусеницы.

— Мамка! Ой, мамка! — кричал Ванюшка.

Тетя Ньюша опять рванулась к нему, но в глазах ее потемнело, что-то холодное жестко сдавило сердце, ноги подкосились, и она рухнула, ударившись головой о стенку колодца.

Ридлер курил. Взгляд его на мгновение задержался на лице Фрола Кузьмича с расширившимися, обезумевшими глазами и перекинулся на бледного Августа Зюсмилыха, который с револьвером в руке поднимался на крыльцо.

— Понимаете, Зюсмилых, они, эти свиньи, задумали лишить меня транспорта... Меня!

Он презрительно рассмеялся, и лицо его, освещенное пламенем горящих домов, перекосилось от злобы.

— На себе повезут! Рысью!

Глава десятая

Маруся шла быстро, не подозревая слезки. Только один раз насторожили ее звуки захрустевших сучьев, но они больше не повторились, и она пошла дальше еще быстрее, не останавливаясь и не оглядываясь вплоть до Глашкиной поляны.

Прильнув к стволу сосны, Степка увидел, как она шарила под пеньком, и — обрадовался: «Тайник!»

Он всю дорогу размышлял, по какой такой «личной надобности» потребовались отцу партизаны? И решил: «Немцы заставили».

«Видать, крепко в работу взяли, — оттого и вышел от них как пьяный и лицом не свой», — думал он, не сводя глаз с Маруси, читавшей при свете спички какую-то записку.

Его томило желание самому пошарить под пеньком, но учительница не уходила. Было ясно:

кого-то ждала.

Шагах в двадцати от него лежала на земле вырванная с корнем сосна. Степка пробрался к ней и прилег. Шумел ветер, и на черную землю ложились еще более черные тени от качающихся ветвей. Близко что-то хрустнуло: может быть, кто шел, может быть, ветром обломило сучок. Степка ощутил в груди неприятный холодок: следить, зная, что у тебя за спиной никого нет, — это одно, а ожидать, что с минуты на минуту кто-то должен прийти,

и не знать, с какой стороны, — совсем другое.

«А может, все же уйти?» — мелькнула соблазнительная мысль. Но в глазах всплыло лицо отца с нахмуренными бровями. Оно как бы говорило: «Волю свою займеть вздумал? Попробуй!»

— «По личной надобности!» — злобно передразнил Степка. — Коль так, взял бы эту

Маруську, остановил на дороге и сказал: «Так, мол, и так, есть у меня до отряда такая-то „личная надобность“, передай, пожалуйста...» А то нет — крадись, — говорит, — да чтобы не заметила. Знает, что «надобность»-то такая, за которую голову отрывают. А голову-то жалко. И надумал вместо своей сыновью подставить: у Степки, мол, башка дурья, и кулаком

и поленом битая; потеряет, мол, не жалко, — от одного лишнего дурня свет избавится.

Врешь, тятенька, насчет голов-то мы еще померяемся. Вот возьму сейчас и уйду. Скажу: «Шел лесом, головой за сук задел и почувал — крепко она у меня с шеей спаяна. До слез, мол,

тятя, жалко стало по чужой „надобности“ главного украшения себя лишать. Есть у тебя „надобность“, сам и справь ее, а я человек тихий, без „надобностей“. Одна „надобность“ — голову свою в естестве убережь». Так и скажу. Нет, навряд ли скажу: искалечит.

Он вздохнул и прижался к земле поплотнее, но тут же вскочил. На нижней ветке сосны покачивалась белка — это она напугала его, с шумом скользнув по стволу.

— Стервятница! — прошептал Степка трясущимися губами и замер, услышав шаги.

Они доносились со стороны поляны, но не приближались и не удалялись. Вероятно, это учительница ходила по поляне вперед и назад. Шаги были размеренны и ритмичны, как удары часового маятника. Долго и гулко отдавались они в настороженной тишине леса, а потом смолкли, и стало слышно неприятное царапанье — белка сдирает кору, осыпая на землю рыжую пыль. С поляны не доносилось больше ни звука, и у Степки появилось опасение, что, может быть, учительница ушла другой стороной или, еще хуже, притаилась

за

каким-нибудь деревом и наблюдает. Он ползком пробрался к полянке. Учительница сидела на пеньке, и Степка, успокоившись, вернулся на прежнее место. Холод сырой земли

начинал

прохватывать до костей.

— Долгонько они, чорт побери! — прошептал он с досадой.

«А быть может, уже здесь, за спиной у меня, и... целятся в затылок?»

Волосы зашевелились, и он ждал, что сейчас раздастся окрик, резкий, как удар топором: «Руки вверх!»

— Свят, свят, свят... Господи, воззвах к тебе... Помилуй мя, боже, по велицей милости твоя... твоя... твоя... Да воскреснет бог и расточатся... расточатся... врази... расточатся... — пытался он вспомнить молитвы, которые, по уверениям матери, предохраняли от всех опасностей, и, убедившись, что у него ничего не получается, растерянно выругался: — Чорт побери, забыл!

Жилы его медленно наливались льдом, сердце замерло. Но окрика не было. Стиснув зубы, Степка преодолел страх и оглянулся. Позади него, как и спереди и по бокам, стояли сосны, с глухим шумом покачивая мохнатыми ветвями. Ничто не намекало на близкое присутствие людей, а страх продолжал трясти все тело мелкой дрожью.

«Цыган чортов! Сам-то, небось, дрыхнет теперь, и горя мало», — подумал Степка об отце. Стараясь не произвести ни малейшего шума, он вполз в ложбину, над которой лежала сосна, и укрылся сверху ветвями. Зубы постукивали.

Он пробовал уверить себя, что это от холода, а в мыслях стояло: «Влопался!»

Он чувствовал, что и уйти теперь не сможет, — так и будет дрожать до рассвета, потому что лежать неподвижно все-таки безопасней.

Время текло с мучительной медлительностью. Степка то и дело взглядывал на небо, ожидая, что вот-вот начнет светать, но сквозь ветки каждый раз видел три бледные

звездочки, которые светили, застыв на одном месте. Веки у него стали слипаться. Уже в полусне расслышал голоса и приподнял голову. Голоса доносились с поляны. Минуты, проведенные в дремоте, притупили остроту страха. От сознания же, что положение теперь опять изменилось, — не они позади него! — кровь в жилах потеплела. — Выведаю, тятя, — прошептал он, выбираясь из ложбинки.

На поляне, спиной к каменной бабе, стояла девушка в серой тужурке и сапогах. Поглаживая дуло автомата, она в упор смотрела на Марусю.

— «А там будь, что будет!» — так комсомолка не может сказать, Маруся, не может! Вспомни Николая Островского, вспомни то место из его книги, которое мы читали, когда бумаги жгли. Умереть? Это сейчас легче всего: смерть за каждым из нас по пятам ходит. Голос ее звучал жестко, со злостью. Она прошла по поляне, и так близко, что Степка разглядел ее лицо: Волгина.

Она резко повернулась, подошла к камню, оперлась на него ладонью.

— Трусость, Маруся! А в такие дни, как сейчас, когда враг под Москвой, выйти из борьбы — это... предательство!

— Катя, я...

Степка перевел взгляд на Марусю, которая стояла по другую сторону камня, вся облитая холодным светом луны.

— Я!.. — вскрикнула она еще раз и смолкла. Смотря в темноту леса, заломила руки. — Сил не хватает, Катенька.

Шевельнувшись, Степка надломил сучок и в испуге задержал дыхание.

Катя оглянулась.

— Белка, наверное, прыгнула, — тихо сказала она.

— Видеть все это и... — продолжала Маруся. — А тут я думала: убью немца, и пусть потом меня убьют — наплевать: так на так получится, не зазря погибну.

Степка бесшумно повернулся. Отползая, снова услышал голос Кати. Сквозь раздражение в нем слышались не то укор, не то грусть.

— Дешево ты себя ценишь, Манечка. Когда выносили решение оставить тебя в подполье, мы тебе дороже цену давали.

Степка улыбнулся: теперь он был уверен, что партизаны не ускользнут от него — где Волгина, там и весь отряд. В глазах его всплыло лицо отца, но не злое, а довольное.

« Попрошу у него ту цветастую материю для бабы. На масляной отказал, теперь, поди, не откажет. Все равно зазря в укладке лежит », — решил он и тут же подумал, что одной материи, пожалуй, будет мало за такое дело.

Весь путь от поляны до сосны он перебирал в уме отцовские вещи, которые ему хотелось бы заполучить. Задача была не из легких: отец жаден, и если запросить у него слишком много, ничего не получишь, да еще на тяжелый отцовский кулак нарвешься.

С поляны донеслись звуки приглушенных рыданий. Осмелевший Степка полез на сосну. Ноги его ловко обхватывали корявый ствол. Добрался до толстого сука и увидел: учительница, уткнувшись лицом в камень, рыдала, а Катя что-то говорила, обняв ее. Отойдя от камня, девушки исчезли с его глаз.

Он поднялся выше и снова увидел их. Маруся сидела на пеньке, а Катя — рядом, на земле. Когда прерывались рыдания учительницы, слышался голос Волгиной, но уже не суровый, а ласковый, тихий. Вот заговорила учительница — горячо и торопливо, точно оправдываясь в чем-то. Голос ее долетал так же сильно, как и рыдания, а слова разобрать было трудно. Но Степка и не пытался этого делать: мозг его обожгла мысль, от которой, как в бане, бросило всего в жаркий пот: « Почему он должен стараться ради отца, когда можно и

без отца обойтись? Дорогу к немцам он и без отца знает».

Он вытер шапкой лицо. В самом деле, что же получается? В случае неудачи он рискует расстаться с жизнью, отец ничем не рискует, а в случае удачи отец получит от немцев кучу добра, а он за ради Христа из отцовских рук — отрез материи. Да и то это еще «бабушка надвое сказала»!

Но мысль о немцах содержала в себе и другую существенную для него сторону: отец боится немцев, и если он, Степка, сам выдаст им партизан, то и дружба у них будет с ним, а не с отцом. Конец тогда помыканиям. Тогда можно будет смело сказать: «Кончился, тятя, Степка! Перед вами, дражайший мой родитель, сын ваш Степан, а ежели хотите, то и

Степан

Тимофеевич!» У отца, конечно, пальцы сразу — в кулаки, а он легонечко усмехнется, руки

за

спину заложит и скажет: «Сдержите пыл, Тимофей Сильч, хотя вы и староста немецкий и десятник ихний. Знаю, рука у вас тяжелая, да только, сдается мне, у господина Макса Фоныча не легче, а мы с ним, к слову сказать, намедни подружились. Кое-какие делишки вместе завелись». И отец хоть и зло глянет, а кулак разожмет, сядет за стол и, подергивая бороду, спросит: «Чего же ты хочешь, Степан?» А он: «Известно чего: раздела на равных правах! Хватит в мальчишках ходить: на страстной с супругой своего сына ожидаем. Да потом, тятя, и такая мыслишка у меня есть: и вообще, скажем, к чему тебе хозяйство? Свое ты уже пожил — и хорошее и плохое видывал. Теперь, я прикидываю, в самую пору тебе сесть на печь да на жизнь сына своего единственного радоваться, да на внучат, которых

тебе

Степан Тимофеевич с супругой преподнесут. А тебя, не бойся, куском не обнесем, до смерти

на готовеньком кормиться будешь». После таких слов отец, наверное, опять в крик ударится,

может снова кулак сожмет, а он ему: «Ты, тятя, потише, из естества не выходи... Я имел мыслишку, что мы с тобой как родитель с единственным сыном вроде наполюбки стоворимся, а ты в скандал. Я человек тихий, не люблю скандалов. Лучше уж тогда посредника пригласить. Думаю, немец этот, Макс Фоныч, ради дружбы не откажется приехать. Вот я и спрашиваю: как же, тятя, наполюбки или... с фоном?»

Думал так Степка, и улыбка все шире и шире растягивала его губы. Он сам удивился, как складно укладывались в мыслях слова, точно на простые карты козыри. А отец все

время

говорит, что он его, Степку, видно, в пьяный час зачал: выросла дубина, двух слов путём не может связать.

— Подожди, тятя, не то еще послушаешь, — прошептал он и быстро взглянул на девушек, о которых чуть не забыл, увлеченный соблазнительными мечтами.

Притихшая учительница слушала Катю, а голос той долетал до него взволнованным, но все таким же ласковым.

Степка заметил, что ему приятно вслушиваться в ее голос. Недавний страх по сравнению с открывающимися перед ним перспективами казался теперь пустяком. Да и возможная встреча с партизанами не очень пугала: нарвется — скажет, партизан ищет,

чтобы

в отряд вступить, потому что с немцами не вмоготу стало жить, — вот и все. А дальше

видно,

что будет. Для себя да не постараться!

О судьбе, которая ожидала в лапах гестаповцев тех, кого он собирался предать, даже и мысли не мелькнуло: с детства перенял от отца правило, что думать надо о себе, а не о других. Это в последние годы у отца появились новые слова — все о колхозах, о народе да о новой жизни, а тогда говорил: «Всех жалеть — не пережалеешь. Сердце одно человеку богом

дадено, для себя». И он, Степка, привык интересоваться людьми только с одной стороны: нельзя ли чего получить от них для себя?

— Ты теперь поняла это, Манечка? — отчетливо расслышал он голос Кати.

Что ответила учительница — не уловил, но увидел, как Волгина крепко обняла ее и поцеловала в губы.

«Воины тоже», — презрительно усмехнулся Степка.

Никакой личной вражды к этим девушкам и остальным партизанам у него не было. Да ему собственно не партизаны нужны были, а только путь к ним.

Хотелось закурить, но боялся, что огонь могут заметить, и поэтому внутри подымалось раздражение.

«И к чему медлят?» — подсадовал он.

Наконец Катя поднялась с земли и что-то сказала. Маруся тоже встала. Степка быстро соскользнул по стволу вниз.

Катя и Маруся шли от поляны прямо на него. Пригнувшись, Степка вполз в ложбину под дерево.

Девушки шли молча. Неподалеку от степкиного укрытия Катя замедлила шаг.

— Давай попрощаемся, Марусенька.

— Ты разве не в отряд?

— Нет, мне надо еще в одно место. — Катя осветила фонариком часы. — Наверное, успею.

Степка досадливо поморщился.

«Хоть в десять мест, только я-то от тебя не отстану, нет!» — подумал он с вдруг нахлынувшим озлоблением.

— Спасибо тебе, Катюша... за все, — растроганно прошептала Маруся. — Ты... забудь про это... Ладно? Так... нашло... Ведь до этого и потом... после... все время... я, Катюша...

Она не могла говорить.

— Забуду, — пообещала Катя. — Ты, Маруся, об одном помни: тебе нужно сдерживать свою ненависть. Это, правда, трудно, куда труднее, чем убить немца. Но это нужно, особенно теперь, когда борьба за мост.

— Понимаю...

— Листовки тебе передаст Женя. Может быть, завтра поздно вечером. А сейчас иди прямо в Покатную.

Маруся скрылась за деревьями и оттуда крикнула:

— Больше не повторится этого! Не сердись на меня, родная!

— Не сержусь.

Катя сунула фонарик в карман и, поправив автомат, быстро прошла мимо валявшейся на земле сосны.

Переждав минуты две, Степка выполз из своего укрытия.

Глава одиннадцатая

Издали донесся гул взрыва, вот опять...

— Стоп!

Шофер, безусый мальчишка лет семнадцати, нажал тормоз. Дверца распахнулась, и, не дожидаясь, когда машина остановится совсем, на дорогу выпрыгнул полковник Корф — мясистый, круглый. Волосы у него были густые и белые, точно взбитая мыльная пена, нос приплюснутый. Красноватые, навывкате, глаза зло поблескивали под седыми бровями. Растягивая ворот кителя, ставший чересчур тугим, он осматривался и слушал. Машина стояла среди черного голого поля. Позади остались Большие Дрогали, впереди темнел лес, за ним в низине было Жуково. Взрывы доносились со стороны Жукова. Ухо безошибочно различало: тяжелое и долгое аханье — так рвутся снаряды; трескучее —

будто залп из сотни винтовок — так рвутся ящики с патронами, когда их со всех сторон охватит огнем. Сомнений быть не могло: машины с боеприпасами и горючим, которые должны были

прибыть утром в Певск, подверглись налету партизан. Шофер тоже выпрыгнул из машины. — На Жуковском шоссе, господин оберст, — проговорил он сорвавшимся попугайным голосом. — Смотрите!

Небо над лесом с каждым мгновением становилось светлее: казалось, поверх зубчатой стены сосен выросла другая стена из жгутов черного дыма, сквозь них клочьями прорывалось

рыжее пламя.

Лицо полковника стало багрово-синим, как от удушья. Он взвешивал в уме обстановку. Жуково почти рядом — примерно километрах в двух от места налета. Из этого села в Покатную отправлены сотня конников и два танка; но там остались еще сотня конников и три орудия. По другую сторону Жуковского большака, километрах в пятнадцати, — Головлево. Там — гарнизон в сорок человек, мотоциклы...

Он повернул голову. Западнее Жуковского большака, над Покатной, расплывалось грязновато-розовое пятно зарева. Вероятно, там уже нет надобности в войсках.

Жуково — Головлево — Покатная — получался треугольник, и если двинуть все силы одновременно, замкнется кольцо, из которого партизанам не вырваться.

Забравшись в машину, Корф тяжело плюхнулся на сиденье и зажевал губами.

— В Жуково? — спросил шофер.

Жуково находилось ближе к месту, откуда доносились взрывы, слившиеся теперь в сплошной гул. Но Корфу сейчас важнее всего было осуществить свой план окружения партизан; для этого нужно скорее попасть к телефону, а ближайший телефон — в Больших Дрогалих, которые они только что проехали.

— Обратно! — закричал он и взглянул на часы: было пятнадцать минут третьего.

Шофер резко завернул машину.

* * *

— Что же теперь?.. — В глазах Корфа, вскинувшихся на Ридлера, только что примчавшегося на машине, густо забрызганной грязью, мелькала тупая растерянность.

— То, что я говорил: с партизанами надо вести войну наступательную, — холодно сказал Ридлер. — Тех, кто сидит у моря и ждет погоды, бьют на лету, как глупых галок. Я имею в виду не вас, господин полковник, а вообще.

В лесу стоял гул от тяжелого уханья орудий, татаканья пулеметов и трескотни автоматов; огненно взвивались ракеты. Над большаком волнами плавал дым. Сосны, потрескивая, рассыпали вихри искр; языки пламени, перекидываясь с ветки на ветку, пляшущими отсветами ложились на каски немцев. Солдат было немного. Одни кучкой стояли возле накренившегося танка с перебитыми гусеницами, другие вытаскивали из-под

обломков машин обуглившиеся трупы. Рядом со вторым танком, нацелившим орудие на лес,

поблескивала лаком машина полковника Корфа.

По тому, как держали себя солдаты, Ридлер понял, что в лесу не бой, как предполагал он, подъезжая к большаку, а «прочесывание»: очевидно, от партизан и след простыл.

— Как глупых галок! — повторил он, смотря поверх головы полковника, который, поставив ногу на ступеньку машины, мешал ему сойти на землю.

Глаза Корфа гневно сверкнули.

— Я солдат, — закричал он, с силой схватившись за дверцу. — Кадровик. — Он ткнул пальцем в один из четырех крестов, висевших у него на груди. — Это сам кайзер... своей августейшей рукой повесил. Я привык воевать по-настоящему. Мне говорят: враг здесь — надо разбить. Я иду и разбиваю. А это чорт знает что! Не знаешь, где силы сосредоточить. Ждешь здесь, а они в другом месте. Кинешься туда, а там уже ни одного дьявола! Простите, но это... это не война! Это издевательство над всеми правилами войны!

Пущенная из глубины леса ракета низко пролетела над большаком и серебристым рассыпающимся хвостом осветила лицо полковника. Жилы на его висках вздулись и пульсировали; кроличьи с кровяными прожилками глаза выпучились так сильно, точно хотели выскочить вон; с дрожащих губ слетали брызги.

— Найдите мне их, укажите: вот здесь, — и я раздавлю их! Сотни солдат достаточно будет. Разыскать их — это ваше полицейское дело, а мое дело — раздавить. Да!

Он замолчал, тяжело дыша.

Ридлер спрыгнул наземь. В нем еще не остыла злость после выезда из Покатной.

С этими русскими справиться будет гораздо труднее, чем думалось. Он был уверен, что придуманная им расправа нагонит на остальных такой страх, что парализует у них и мысли

волю. Сначала все как будто так и вышло: к концу казни покатнинцы притихли, словно омертвели. При полнейшем безмолвии был выслушан и приказ о телегах. По команде «Разойтись!» толпа не шелохнулась. Пришлось разогнать ее... А когда он выезжал из села, кто-то кинул бульжник, и стекло машины разлетелось вдребезги.

Бессмысленная стрельба по деревьям раздражала.

«Очень большая польза после драки кулаками махать», — усмехнулся он, подходя к солдатам, стоявшим возле разбитого танка.

Они расступились, и он увидел двух обгоревших солдат. Один лежал пластом на земле и протяжно выл, второй сидел. Голова его, низко опущенная на грудь, была перевязана полуистлевшей рубахой, волосы и брови опалены, кожа с лица и шеи местами слезла.

Ридлер

догадался, что оба они из охраны, сопровождавшей транспорт.

— Сколько их было? — спросил он нетерпеливо. Ефрейтор с железным крестом на груди вытянулся и козырнул.

— В живых только эти двое да экипаж из хвостового танка. — Он кивнул на танк, возле которого стояла машина полковника. — Всего двадцать пять пятитонок было, на каждой по два-три солдата. Если подсчитать...

— Я спрашиваю, сколько было партизан? — оборвал его Ридлер.

Ефрейтор смущенно замолчал. Один из обгоревших солдат приподнял голову, взгляд его дико пробежал по вершинам сосен, потрескивавшим от пламени.

— Я немец... Я бог! — прохрипел он и захохотал. Сорвав с головы повязку, он вытянул перед собой руки: из потрескавшихся пальцев сочилась кровь. — Смотрите: я немец... —

Лицо его передергивалось, на губах выступала пена.

Ридлер выстрелил ему в голову.

— Не догадались раньше... Зачем мучиться? — вкладывая револьвер в кобуру, холодно сказал он полковнику.

На дорогу вылетела группа всадников: впереди — косоплечий вахмистр, присутствовавший при казни в Покатной. Ридлер узнал его и поморщился: значит, отрезать партизанам путь к отступлению не удалось. Круто осадив коня, вахмистр спрыгнул.

— Схватили партизанку!

Лицо Ридлера оживилось.

— Где она?

Вахмистр указал на лес.

Между деревьями, приближаясь, мелькали кони и фигуры пеших солдат.

Ридлер перешагнул через труп солдата и вошел в лес. Следом за ним заторопился полковник.

С надломившейся обгорелой сосны на голову им посыпались искры.

Глаза Ридлера заслезились от дыма, и он остановился. Слева шагах в десяти от него тесной кучкой белели кони. Они тихо ржали, а спешившиеся кавалеристы обступили рыжеусого унтера в форме танкиста, сидевшего на вырванной снарядом сосне.

Ридлер прислушался.

— О головном танке, как подорвался, не скажу, господа. За грузовиками не видно было, — рассказывал танкист. — Полагаю, на mine. Я открыл люк — машины стоят, а с деревьев тучей — гранаты. Баки с горючим вспыхнули. Светлее, чем днем, стало. — Он помолчал, смотря в сторону дороги. — До сих пор, господа, в глазах: сосны качаются... спрыгивают с них... больше все женщины... молоденькие... как ведьмы! Наши — в лес, а

по ним — из винтовок, из автоматов, из пулеметов... Думали по другую сторону дороги в лесу укрыться, а там тоже сосны качаются, и с них... А снаряды рвутся... ящики с патронами рвутся... Два года, господа, я на войне, но страшнее этой ночи...

Страх, звучавший в его голосе, передавался и слушателям. Их освещенные лица были мрачны. Некоторые пугливо оглядывались на горящие сосны.

Ридлер до крови прикусил губу. Только этого еще не хватало, чтобы гарнизонные войска стали дрожать при одном слове «партизан».

— Танкист? — спросил он, быстро подходя к рассказчику.

Тот мгновенно поднялся.

— Так точно, госпо...

— Из уцелевшего танка?

— Так точно.

— Ну и убирайтесь к дьяволу на свое место! Козырнув, танкист попятился.

Ридлер хотел сказать Корфу, чтобы тот разъяснил солдатам, что здесь не место забавляться сказочками о ведьмах, но полковника уже не было возле коней.

— Партизанен? — по-женски тонко долетел его голос из темноты.

Присмотревшись, Ридлер смутно увидел тесную массу людей, мерцание касок, головы коней. Быстро подойдя к этой толпе, он повелительно крикнул, — и солдаты расступились, чтобы пропустить его внутрь. Пленница лежала на земле, а Корф топтал ее ногами и

визжал:

— Партизанен! Будешь дорога показать? Партизанен! Рядом с ним стоял Август Зюсмилх.

Сквозь стоны пленница кричала:

— Нет, не партизанка!

Ридлер тихо отстранил полковника.

— Полицейское дело не ваше, господин полковник, — сказал он насмешливо. — Эй, ты... Встать!..

Пленница ухватилась дрожащими пальцами за низенький пенек и с трудом поднялась.

— Свет!

Солдаты защелкали карманными фонарями. Больше десятка бледных лучей скрестились на окровавленном лице Даши Лобовой. Глаза ее встретились с глазами фон Ридлера, и она съежилась.

— Я не партизанка.

...Ридлер допрашивал, наверное, свыше получаса, с терпеливой настойчивостью по нескольку раз задавая одни и те же вопросы; потом он закурил. Полковник выжидательно вскинул на него глаза:

— Не партизанка? — Посмотрим, — уклончиво ответил Ридлер. Пулеметы стихли совсем, и лишь по другую сторону большака продолжали тяжело ухать два или три орудия. Солдаты пугливо озирались: лес вокруг был непонятный, враждебный, пугающий. Кое-где дымную муть прорезали лохматые красные столбы — горели деревья. Быть может, партизаны и не ушли? Может быть, они притаились где-нибудь близко в этом дыму и каждую минуту могут застрочить их пулеметы и винтовки?

Даша стояла с низко опущенной головой.

— Жарко? — притворно сочувствующим голосом обратился к ней Ридлер. — Прошу извинить, я не сообразил.

— Раздеть! — приказал он по-немецки солдатам. Солдаты сорвали с Даши вязаную кофточку, платье.

Курносый унтер так рванул рубашку, что она затрещала; оголились плечо и грудь.

Ридлер сделал знак прекратить раздевание. Даша натянула рубашку на плечо. На нее со

всех

сторон направили лучи фонариков.

Солдаты загалдели. Задние напирали, пытаясь пробиться вперед.

Прищурясь, Ридлер с ног до головы разглядывал стоявшую перед ним девушку.

Отбросив окурочок, он взял ее за подбородок.

— А ты недурна, очень недурна. Они непрочь будут поиграть с тобой в одну игрушку.

Даша обмерла. Этого она страшилась больше смерти, больше пыток. Тело стало горячим, точно его огнем охватило, а в груди все обледенело. Вокруг был мир — большой, черный, пустой; и в нем одна она и эти звери с разгоревшимися глазами.

Ридлер тряхнул ее за плечо и резко крикнул:

— Зачем лесом шла?

— Страшно дорогами.

— Откуда?

— С той стороны.

— Зачем?

— Говорила ведь... Своего дома нет теперь — сожгли. Вот и хожу из деревни в деревню: где люди добрые пустят, там и поживу.

— Ночью зачем?

— Да я все время так — и днем и ночью иду.

— Где партизаны?

— Какие партизаны? Я из простых. Дома своего нет, вот и хожу из деревни в деревню. Ридлер положил ей на голеву ладонь, ласково погладил.

— А ты не пугайся нас, девушка, мы не звери. Кто с нами хорош, с тем и мы хороши.

Скажи нам все, что знаешь, — ничего плохого не сделаем, если ты и партизанка. Ты красива

— о себе подумай, о матери. Старенькая она, да?

— Нет у меня родных, сволочье проклятое! — закричала Даша. И в этом крике вырвалась вся ее до сих пор сдерживаемая ненависть. — Ничего не скажу! Не знаю!

Ридлер сделал рукой широкий жест, по-немецки крикнул:

— Берите ее!

Радостный животный вой покрыл его слова. Даша пошатнулась.

С большим трудом Ридлеру удалось выбраться из толпы. Полковник сердито попыхивал трубкой. Он думал, что без этого гестаповца ему не распутаться с начальством

за

сегодняшнюю ночь. У Ридлера большие связи в верхах. Говорят, его поддерживает сам Гиммлер, с которым он когда-то, кажется еще до прихода Гитлера к власти, был даже на «ты». Но захочет ли гестаповец помочь после того, как он, Фридрих Корф, так грубо

говорил

с ним?

— Ночка! — выговорил он с ненавистью.

Ридлер слушал. Сквозь густой хохот солдат не прорывалось ни криков, ни стонов девушки. Чтобы скрыть от полковника досаду, он улыбнулся. Улыбка получилась почти естественная. То, что Корф находился в такой растерянности, для него, Макса фон Ридлера, было совсем не плохо: когда человек перестает ощущать под ногами почву, легче из него веревки вить.

— Не унывайте, господин оберет, разыщем или... крестьяне сами нам их приведут... со скрученными руками. И эта девчонка не выдержит, подаст свой голос.

— О, конечно, — предупредительно согласился полковник.

Ридлер устало прислонился к сосне. Хотелось спать. Когда на рассвете он вернулся в город, у дверей кабинета его поджидал Степка.

Глава двенадцатая

Василиса Прокофьевна потрогала рукой застонавшего Витьку. По другой бок шуршал соломой Шурка, и рядом с ним сидела Маня.

— Ши-ши... ши-ши... — слышалось, как она убаюкивала ребенка.

В темноте попыхивал цыгаркой Филипп Силов. Дым был едкий и вонючий: Филипп смешивал табак с какой-то травой, чтобы подольше хватало.

Тоскливо всхлипнула Марфа. С той ночи, как пропал Васька, она и во сне и наяву то всхлипывает, то в голос ревет: как будто этим можно вернуть мальчишку! Но Василиса Прокофьевна не осуждала. Душа слезой омывается — ясности больше, покой находит.

Сама,

случалось, в лесу, как схватит сердце, уходила в чащу, ложилась на сырую землю и выла в голос. Иной раз, глядишь, и помогало — светлело на душе, будто с Катей словом перемолвилась. Лежала в такие минуты и замечала паутину на голых сучьях берез-тонкую, сверкающую, как серебряные волоски. Слушала, как дышала земля под прелым игольником или под ворохами желтых сморщенных листьев, и удивлялась: осень как осень, будто и не было рядом немцев. И удивление это было отрадным; думалось в такие минуты: «Вот она, жизнь, — вечное течение в ней, как река... А немцы? Они, как были немцы, так немцами и

остались... Гнали их в осьмнадцатом и теперь погонят. Чужие они нашей жизни, вроде этого

лишай на дереве... Тяжко с лишаем-то. Но нет пока в стволе достатка соков целебных, чтобы

подновить кору — защиту свою от ветров и прочей напасти, вот и стоит дерево, терпит. Слезами-кровоушкой сочится, а терпит. Но не как сухостой, что ждет ветра посильней, чтобы

от гнилых корней оторваться и наземь мертвяком упасть. Корни-то крепкие! Сильно за матушку-землю держатся — не предаст она, не отвернется, отдает деревцу материнские соки

свои, и стоит деревцо. Наберет соков вдосталь, сбросит лишай проклятуций и опять по весне

зеленой листвой оденется. Придут в лес, может быть, вот на это самое место, где она лежит, Катя, Шурка, Маня со своими ребятишками. Бог даст, и Катя-то с детками, а там, глядишь, когда-нибудь и с внучатами. Лягут здесь и будут радоваться, смотря на эти паутинки серебряные, на эти облака, которые плывут по небу. И откроется им, деткам, как ей, старой, жизнь вечная; раз земля русская — не стерпит она немцев, сбросит с себя, как дерево лишай.

Жили на этой земле Волгины, Лобовы, Силовы и будут жить; и как эти облака — одно рассеется, а другие, дети их, тут как тут, и поплывут-поплывут. Пусть не те облака, другие, но ведь облака же! Пусть не я, но все равно Волгины, — кровь моя, душа поделенная».

Душа ее в минуты такого просветления отдыхала, но выпадали они редко и бывали коротки. Слишком сильна была боль от порушенной жизни. Страшила неизвестность, в которой жила теперь Катя. Ведь в этой темной неизвестности жизнь и смерть так близко ходят, что, наверное, то и дело задевают друг дружку. И между ними... она, Катя! Она к жизни тянется, а смерть к ней. Поэтому почти всегда окружала Василису Прокофьевну сплошная чернота. И лес был вокруг беспросветный: порой и небо казалось таким же, как волны у берега Волги в ночь прощанья с Катей. А во сне все виделась та большая туча с разорванными краями, что тогда луну закрыла.

Казалось, нельзя было больше сгуститься черноте, а она сгустилась, как только довелось столкнуться с немцами лицом к лицу. И особенно после вчерашней ночи. Вместе со

всеми ожерелковцами, оцепенев от ужаса, слушала она вчера по радио расправу немцев над покатнинцами. И до сих пор в ее ушах стояли крики и вопли тех, которых подавили танками,

до сих пор волосы шевелились, словно от ветра, и по корням их пробегал мороз. Вчера немцы устроили такое в Покатной, завтра могут то же самое устроить и здесь. Придут и бросят под танки Шурку, Маню, внучат... И раз они так с мирными жителями поступают, то

что же сделают с Катей, ежели словят?

В щели щита, прикрывавшего вход, дул холодный, сырой ветер, разгоняя по всей землянке дым от филипповой цыгарки. Старик Лобов тихо стонал. Шутка ли: бывало в это время и на печи он мучился от ревматизма, а тут больше месяца в лесу прожил и теперь вот здесь — на сырой соломе...

В углу, где разместилась семья кузнеца, было тихо — спали. Филипп пыхнул еще раз цыгаркой, и огонь затух.

— Не спишь? — тихо спросила Маня.

— Нет.

— Холодно. зуб на зуб не попадает.

Василиса Прокофьевна промолчала. Словами не поможешь, а одежду всю немцы забрали.

— Прокофьевна! — послышался шепот оттуда, где лежал старик Лобов.

«И охота им еще разговаривать, — не отзываясь, с раздражением подумала Василиса Прокофьевна. — Не только говорить, — мысли бы не шевелились, душа бы остановилась, камнем бы сделаться!..»

Шепот становился настойчивей.

— Ну, чего ты, Лукерья?

Лукерья нашарила ее в темноте и села рядом.

— Все думаю. Ведь и нас немцы не обойдут, приневолят к работе... Мост этот самый строить... Как быть?

— Позволяет совесть на них работать — иди! — сурово сказала Василиса Прокофьевна.

Лукерья заплакала.

— Не позволяет, Прокофьевна... А как может душа позволить детей... — Она дотронулась до колена Василисы Прокофьевны. Рука ее была горячая и дрожала. — Скажут тебе, Прокофьевна, выбирай: или работать, или Шурку под танк...

— Да ты в уме — что говоришь-то? — отшатнулась Василиса Прокофьевна. Будто тиски сдавили ей сердце — нечем стало дышать. — Выйду на волю, — прошептала она трясущимися губами.

Ее тихо окликнул старик Лобов:

— Помираю, соседка-Василиса Прокофьевна чуть было не сказала привычную в таких случаях фразу: «Что ты, родимый, еще поживем», но сдержалась: зачем ему жить?

Помедлив, присела у изголовья.

— Душой, Игнат, чуешь?

— Чую... не дотяну до рассвета.

Она положила руку на его холодную костлявую грудь и с трудом ощутила биение сердца: оно еле вздрагивало.

— Крепился все... внучку Дашку поджидал... любимица моя. Как ушла в партизаны — с тех пор не видывал... Благословенье хотел передать... Пусть живет дольше деда... во счастья. Ноги пусть хранит, не остужает... Не дай бог ревматизму схватит...

Говорить ему было трудно. Он то хрипел, то переходил на шепот.

— Глядишь, бог приведет — свидишься с партизанами... Скажи, в смертную минуту о ней думал... Мужика пусть себе хозяйского подберет... За красотой чтобы не гналась.

Душу

надо ценить...

— Слово в слово передам, Игнат. — Василиса Прокофьевна провела рукой по его голому черепу. — Не тревожься.

Он помолчал.

— Я вот тебя зачем, Прокофьевна... В бога ты веришь?

— Как же, Игнат, не верить? Молодые — те пусть по-новому, а мы с богом родились, с богом и померем.

— Истинно... В таком случае перекрести меня, а то без обряду помираю — нехорошо. Василиса Прокофьевна перекрестила.

— Спасибо... Больше ничего... не надо...

В тишине было слышно, как с посвистом врывается в щели ветер. Василиса Прокофьевна поцеловала старика в холодный лоб и, сурово сказав Лукерье: «Иди к отцу — отходит», вышла из землянки.

Вокруг безмолвствовало настоящее кладбище: обуглившиеся остовы печей — надмогильные памятники, трубы — кресты. К печам прижались бугристые крыши землянок.

Кое-где торчали черные деревья. Все это было обнесено колючей проволокой, и по ту ее сторону ходили немцы в касках, со штыками.

Тяжело смотреть на родное место — спаленное, порушенное. Василисе Прокофьевне это было тяжело вдвойне: ведь от ее руки запылал здесь первый дом. Тогда, в ту минуту, не чувствовалось ни страха, ни этой тяжести — об одних немцах думала: «Нате, проклятые!

На

головнях поспите, небом укройтесь!»

Кутаясь в шаль, она поднялась на соседний холм.

Из-за облака краешком выглянула луна, и тени от холмов из серых стали черными.

Василиса Прокофьевна повела взглядом и не могла отыскать ничего, в чем сохранилась хотя бы крупинка минувшей жизни. Все стерлось: холмы и холмы, одни побольше, другие поменьше, печи, трубы...

Она посмотрела в сторону темневшего леса, на опушке которого покоились в могилах деда и прадеды ожерелковцев.

«Тяжело, родные, душе моей, мучается, как в аду, но перед вами она чиста... Нет у меня против себя раскаяния. Против других — огорчение и обида. Мы-то сожгли, а другие села стоят целехоньки — приют для немцев. Кабы все пожгли, глядишь, и немцев тут не было бы. Чего им на голом месте делать? Не лилась бы кровь шире Волги нашей. Не было бы этих мук, каких в аду, поди, и самый окаянный грешник не пробовал, не изводилось бы сухотой сердце материнское».

Откуда-то выскочил черный кот — худой, облезлый. Он вытянул горбылем спину и, уставившись на Василису Прокофьевну зеленоватыми глазами, так дико завопил, что она вздрогнула.

— Господи Иисусе!..

Василиса Прокофьевна шикнула, и кот побежал через дорогу, продолжая вопить.

Взглянув ему вслед, она вдруг нахмурилась, и пальцы ее стиснулись в кулаки: к селу подъезжали немцы, все на конях. Ехали от реки неторопливой рысью, растянувшись на полкилометра. Впереди, рядом с офицером, с трудом удерживавшим горячего белого коня, беспокойно юля во все стороны головой, трусил на пегой клячонке какой-то кривоногий парень.

«Иуда! — с ненавистью подумала Василиса Прокофьевна. — Вот такой же, поди, и нас выдал».

Ее непреодолимо потянуло посмотреть в лицо парня. Гитлеровских молодчиков она теперь знает, а вот что за лица у таких? Человечьи ли глаза у них, или стекляшки бесстыжие?

Она медленно спустилась с холма, а сердце внезапно затосковало, наполнилось смятением.

«Куда же это? Или еще село сбегавшее есть? Что-то не слыхала... Ежели село, зачем войска столько? Разве большой труд с безоружными бабами и ребятишками справиться?» Подойдя к колючей изгороди, она увидела за кромкой берега длинно протянувшиеся круглые жерла: на пароме к берегу подплывали пушки.

«А что, ежели...» — От этой оборвавшейся мысли у нее перехватило дыхание.

Всадники поравнялись с изгородью.

— Я тебя, русски дурак, спрашивайт: шислѐ... шелѐ-век? — Голос у офицера был безгливый и раздраженный.

— Говорю, ваше благородие, не знаю до точности... Много... человек сто... — Парень смотрел в сторону, но Василису Прокофьевну не интересовало теперь его лицо. Она напряженно вслушивалась в слова.

— Вооружений... винтовка... пулемет?

Что ответил парень — не расслышала. Офицер и кривоногий свернули к лесу: за ними, набавляя скорость, хлынули и остальные.

Сомнений не оставалось: «Туда!»

Василиса Прокофьевна рванулась вперед... и, изодрав руки о колючки проволоки, со стоном отшатнулась.

«Господи, что же делать?»

Конница уже во весь опор скакала к лесу. Василиса Прокофьевна растерянно осмотрелась. Неподалеку от нее в проволочной изгороди был разрыв — что-то вроде калитки, охраняемой двумя солдатами. Ничего, что она не знает, где отряд — далеко ли, близко ли, — побежит вместе с немцами, потом обгонит их. На пять минут, да опередит — крикнет, не даст врасплох напасть. Сто человек смогут за себя постоять, смогут!

Часовые, изумленные стремительностью, с которой бежала старуха, выпустили ее за изгородь, но тут же схватили и швырнули обратно, прямо наземь.

— Пустите! К дочери я!..

И опять отшвырнули ее немцы, защелкали затворами винтовок. Она поняла — живой ей не выбраться из этой колючей тюрьмы.

А конница уже въезжала в лес.

Василиса Прокофьевна провела по лицу окровавленной рукой и побрела назад. Сделав несколько шагов, пошатнулась, схватилась рукой за черную трубу и сползла на землю. На миг ей показалось, что она теряет сознание, но на самом деле потемнело все вокруг нее, потому что луна снова спряталась за облако, точно не желая быть свидетельницей того, что сейчас произойдет в лесу. На небе кое-где светились бледные звезды.

«Говорят, звезды — это глаза ангелов, через которые бог на весь мир смотрит».

Василиса Прокофьевна не испытала от этой мысли ни страха, ни благоговения — она вся дрожала от гнева: «Смотреть, видеть все — и допустить!»

Солдаты, с любопытством наблюдали за ней, запрокинувшей седую голову к небу. У некоторых землянок стояли односельчане, потревоженные шумом промчавшейся конницы. Василиса Прокофьевна не замечала никого: здесь была только одна она, а там, на небе, —

он, как с детства ей внушили, судья всех и всего, — бог, никогда не виденный; бог, чистота веры

в которого колебалась у нее в последнее время, как маятник у часов: она то проникалась неверием, то в страхе со слезами вымаливала прощение за греховные мысли. И сейчас ее

всю охватил холод за только что пережитый гнев против бога.

«Непусти, господи, укорениться аду на земле русской, — прошептала она, заломив руки. — Спали гневом своим нечисть немецкую... — Из глаз побежали слезы. — Молитву материнского сердца услышь — сохрани в здравии дочь мою Катерину... Дай мне обнять

ее

на вольной земле, и тогда возьми мою жизнь, и суди меня, грешницу старую, — не соблюла дочь в вере к тебе. Не казни... Сам подумай — девчонка, еще и не заневестилась. Душа мятется у меня; всю жизнь в тебя верила, а сейчас думается: допустишь немцев на земле родной остаться, погубишь дочь — в грех душой впаду, не поверю, что есть ты, сама безбожницей стану, по всему свету пойду, везде говорить буду: „Нет бога! Тучи одни наверху“. Господи, не допусти до этого!»

И она разрыдалась. Почувствовав на плече чью-то руку, оглянулась. Рядом стояла Лукерья.

— Помер старик-то.

Василиса Прокофьевна ничего не ответила, словно не слышала. Она с ужасом смотрела на пушки, с грохотом мчавшиеся мимо изгороди. Они не сворачивали в лес, а мчались прямо, вероятно в обход. Проследив, как они скрылись за лесом, сурово сказала плакавшей Лукерье:

— За Катей моей!..

Глава тринадцатая

Партизаны — весь отряд — столпились посредине поляны, там, где качались на ветру три березы с голыми сучьями и сосна с покривленной вершиной.

Прислонившись спиной к сосне, Катя не отрывала глаз от Маруси, напряженно ловя каждое ее слово.

Было ясно, что злодейство в Покатной — это ультиматум немцев, и в первую очередь не мирному населению, а им, партизанам: или откажитесь от борьбы, или за все ваши действия будет отвечать народ, — так немцы думают скрутить по рукам и ногам отряд. Маруся замолчала, и стало слышно, как царапались, задевая друг друга, голые сучья берез.

Вокруг деревьев желтели шесть могил. На одной земля была совсем свежая, необветренная — во время разгрома немецкого транспорта на Жуковском большаке отряд потерял трех человек.

Рассвет только еще начинался, и по поляне плавал клочковатый туман, выползавший из кустов, за которыми лежало болото, поросшее хилым березняком и осинником. Поляна

была большая и походила на прямоугольный треугольник: с двух сторон подступили к ней шумные сосны, кое-где среди них белели стволы берез, а с третьей стороны окаймлял ее непроглядно разросшийся ивняк.

Ближе к кустам курганами горбатились две большие землянки. По левую сторону мужской землянки был сделан навес, опирающийся на врытые в землю, необструганные кругляши; там лежали груды трофейного оружия: пулеметы, автоматы, минометы. Рядом с женской землянкой, над кострами, чернели большие котлы. От них подымался пар;

вкусный запах борща перемешивался в воздухе с ароматом хвои и сырыми запахами болота.

Зимин медленно, точно преодолевая большую тяжесть, поднялся на бугор, на котором стояла Маруся — бледная, с расширенными глазами.

— Решайте, товарищи: можем ли мы отказаться от борьбы?

По поляне пробежал ропот. Взгляд Зимина задержался на Кате. Она решительно покачала головой.

— А допустить, чтобы весь народ, от стара до мала, был истреблен, можем?

Шум разом стих.

— Что ты, Зимин?! — испуганно вскрикнула Катя. Зимин обвел взглядом всю толпу.

Прямо перед бугром стояла машинистка райкома комсомола Нюра Баркова, в белом переднике, с большим половником в руке; слева от нее — две великолужские колхозницы с оголенными по локоть руками, на руках засохла мыльная пена: женщины прибежали от ручья, где стирали белье. Руки Кати и Коли Брагина были в черной краске — печатали листовки. Еще несколько человек в толпе выглядели «по-мирному», а остальные только что вернулись из очередной операции и стояли в полном боевом снаряжении — с винтовками,

автоматами, с пулеметами.

Выражение лиц из-за утреннего сумрака трудно было рассмотреть, но Зимин слышал, как тяжело все дышали, и у него самого дыхание спирало, словно вдруг тесным стало горло. — Чувствую, все вы того же мнения, что и я, — сказал он. — Другого выхода у нас нет и быть не может: продолжать борьбу еще более ожесточенную... и спасти от расправы весь народ. Для этого кое-что придется нам перестроить в своей жизни, кое от чего отказаться... Обо всем этом подробно поговорим вечером.

Он спустился с пригорка и подошел к Кате.

— Пройдемся по лесу.

Поляной шли молча, а в лесу Катя тревожно спросила:

— От чего думаешь отказаться, Зимин?

— От налетов на гарнизоны, например.

— А еще?

— Обязательно от налетов на мост. Катя остановилась.

— Дадим восстанавливать?

— Да.

— И потом, может быть, будем развлекаться — ходить на Волгу и смотреть, как через нее помчатся поезда, чтобы задушить Москву?

На лице Зимина не дрогнул ни один мускул; оно продолжало оставаться таким же хмурым и спокойным.

— От слова «строиться» до слова «помчатся поезда» так же далеко, как от земли до неба, Катя.

Он отломил ветку и, общипывая с нее игольник, рассказал ей о мыслях и планах, которые сложились у него, когда слушал Марусю. Каждый налет на строительство моста будет оплачен сотнями жизней колхозников и колхозниц. К тому же в этих налетах совсем нет острой необходимости. Раз или два они могут удаться, а потом немцы выставят такую охрану, что не подступишься. Тогда действительно придется смотреть, как побегут через Волгу вражеские поезда. Пусть лучше немцы думают, что отряд боится риска. Надо дать им отстроить мост и тогда взорвать. Отказавшись от налетов на мост и гарнизоны, отряд возьмет под свой контроль магистраль и будет пускать под откос поезда со строительными материалами, а все лесные дороги превратит в настоящие «дороги смерти» для немцев.

Надо

вывести из строя, по возможности, весь транспорт — это одна из задач отряда, и не очень трудная: автотранспорта у немцев здесь мало, лошадей они не получили. Затяжка строительства поможет отряду разрешить и вторую задачу: спасти народ от физического истребления. Нужно сагитировать все население уйти в леса, чтобы к моменту взрыва

моста

немцы остались один на один с отрядом. В свою очередь, народ поможет отряду затянуть строительство. В этот промежуток, необходимый для организованного ухода в лес, пусть работают, но работают медленно, используя для вредительства каждый удобный момент.

— Ясно, дочка? — пытливо и вроде колеблясь, спросил Зимин. Катя кивнула. Она сразу схватила и оценила его мысль о временном отказе от борьбы с немцами «в лоб». О бегстве же всего населения в леса она думала еще в ту ночь, когда просталась на берегу с матерью.

Зимин скомкал в кулаке общипанную ветку, отбросил ее.

— От того, как удастся разрешить вторую задачу, зависит вся наша дальнейшая борьба. Задача трудная: медлить нельзя — упустим момент, а слишком поторопимся — испортим все дело...

Из глубины леса донесся крик кукушки. Еще и еще раз. Зимин и Катя встревоженно переглянулись: трехкратный крик кукушки — условный сигнал, которым часовые должны предупреждать отряд о близкой опасности.

Когда они выбежали на поляну, с другой стороны из-за деревьев выскочил Васька:

— Немцы!

Зимин остановился как вкопанный.

— Где?

— Подходят, товарищ командир. Разреши мне винтовку, я...

— Сколько их?

— Не знаю, товарищ командир, много... И пешие и конные...

Ему хотелось рассказать, как он сидел в лесу, а вокруг него все время белка крутилась, как он осмотрелся и увидел дупло, полез на дерево, до самого дупла добрался, оглянулся — вдали каски, штыки, кони...

Но командир уже стоял к нему спиной.

Лицо Зимина, как и всегда перед началом боя, было сурово. Он думал: сила партизанских ударов — в быстроте и неожиданности. Вступить в бой с численно превосходящим противником, находясь в обороне, на фронте — это оправданный героизм,

здесь — глупость. Отступить в лес, с риском попасть в кольцо — еще глупее. Оставался единственный вариант — тот, который он имел в виду, когда приказал заминировать отдаленные подступы к поляне с правой и с левой стороны — отступить по потайной болотной тропинке, но... просто отступить сейчас уже невозможно: враг слишком близко подошел. Нельзя на глазах у немцев растянуться по болоту цепочкой, да еще с двенадцатью ранеными. Обстановка вносила в этот вариант существенную поправку — обязательность боя, но не оборонного: лишь при условии разгрома немецкого отряда можно будет уйти по болотной тропинке. В голове складывался план: устроить немцам ловушку — пропустить

на эту поляну и ударить по ним с двух сторон. «Да, только так! Вырвать у врага инициативу:

вместо обороны — в атаку».

— Ку-ку, ку-ку... — тревожно несло из леса. Справа один за другим грохнуло несколько взрывов. Зимин, а следом за ним и все партизаны повернули головы влево.

— А-ах!.. А-ах!.. — раздались там подхваченные эхом взрывы.

— Хорошо! — спокойно сказал Зимин.

Он вынул из грудного кармана свисток и с перерывами просвистал. Это был сигнал часовым покинуть посты и немедленно прибыть на поляну.

Вдали одиноко прогрохотал выстрел. С минуту стояла тишина, и вдруг — залп.

Зимин поднял руку.

— Отряд...

Не прошло и пяти минут, поляна опустела. Над мужской землянкой вился дымок. Зимин и Катя вышли из нее, отряхивая с себя черный пепел от сожженных бумаг. — Только не торопиться, дочка. Самое страшное, если немцы зайдут кому-либо из нас в тыл. А это очень вероятно, если мы начнем бой прежде, чем заманим их на поляну. Жди сигнала. Ясно?

Из-за деревьев выбежал взволнованный Васька..

— Немцы тоже вроде нас, товарищ командир, поделились надвое. Одни стоят, где стояли, а другие идут сюда...

Катя побледнела, взглянула на Зимина.

— Да, это может сорвать нам все, но изменить что-либо поздно. — Он крепко сжал ее руку. — Можно всего ожидать, дочка, поэтому... поцелуемся.

Сердце Кати сжалось недобрым предчувствием. Она судорожно обняла Зимина.

— Прощай, отец! Но все же будем надеяться, что «до свиданья».

— Будем надеяться. — Зимин посмотрел ей вслед и побежал в другую сторону.

Васька нагнал Катю, когда она остановилась у ложбины, в которой залегли партизаны. Глаза ее были синие-синие и не светились, хотя все лицо было залито солнцем.

Партизаны молча смотрели на нее. Она — на них. Исключая раненых, здесь было тридцать человек, и среди них: Маруся Кулагина, Нюра Баркова, Озеров, Саша, Николай Васильев, отец Жени агроном Омельченко, два старика с Лебяжьего хутора.

Маруся лежала так беспокойно, что казалось, еще мгновение, и она кинется навстречу немцам. Взгляд Кати перебежал на Нюру Баркову. Та была бледна и вся дрожала.

«Нужно не выпускать их из глаз», — подумала Катя. За остальных она не опасалась — не раз все они бок о бок дрались под немецким огнем.

— Подходят ближе, — тихо доложил Васька. И тут же все услышали, как глухой, спокойный шум леса разорвался криками и пропал, точно придавленный тяжестью бегущих ног.

Нина Васильева зябко поежилась.

— Чуется, прямо вот в воздухе смертью пахнет. Лебяженские старики посмотрели на нее: один — зло, другой — с укором, а Озеров сурово сказал:

— Перед боем о смерти не говорят, девушка.

От поляны донеслись резкая пулеметная очередь и пьяные голоса, слившиеся в один вопль.

— По деревьям стреляют, Катерина Ивановна! — крикнул Васька.

Сердце Кати горело, и столько было любви в нем! Подруги, товарищи.... Хотелось обнять их всех и крепко прижать к груди, как сейчас Зимина, а в горле было душно, не хватало воздуха: тяжело вести бой, когда наверняка знаешь, что многие из него не вернуться. Стрельба оборвалась так же внезапно, как и началась. Вот вдали закуковала «кукушка», и Катя приказала пулеметчикам выдвинуться вперед.

Раненые заволновались. Зоя приподнялась на локте.

— Товарищ командир! Катюша... Я тоже смогу... ползком.

— Нет! — отказала Катя. Лицо ее стало властным. — Помните, товарищи, о покатнинцах... Вперед!

С качающихся веток глуховато падали шишки. Пулеметчики — Озеров, Николай Васильев, Саша и Люба Травкина — ползли, плотно прилегая к земле. Пропустив мимо себя

Марусю и двух уваровских колхозниц, Катя поползла рядом с Нюрой Барковой.

— Боишься, Нюрочка?

— Не знаю, Катюша. Сама не пойму, что со мной... Трясет всю. Скажи... страшно убивать людей?

— Это не люди, Нюрочка, — фашисты. Будешь в них гранаты бросать, о каждом думай: это он твоего отца живым в землю зарыл.

— Да, так, пожалуй, легко будет, — прошептала Нюра. Метра два проползли молча, потом Нюра, вся как-то содрогнувшись, взяла Катю за руку.

— Катюша, а ты... о смерти думаешь? Катя покачала головой.

— О чем же?

— О чем? Не знаю... О многом, обо всем, только не о смерти.

Стало видно поляну. Немцы разрушали землянки, подбрасывали на воздух матрацы и подушки, рвали их штыками.

— Стой! — тихо подала команду Катя.

Она приказала Саше и Озерову занять позиции справа и слева. Дождавшись, когда они залегли за отдаленными холмами, прижала к губам свисток. Еще не успел оборваться свист, как по ту сторону поляны дружно застрочили пулеметы. Просветы между деревьями потемнели — это побежали с поляны немцы.

— Пулеметы-ы! — звонко скомандовала Катя.

— Та-та-та... — заговорил пулемет Николая Васильева, и тут же захлебывающейся скороговоркой зачастил пулемет Любы. Первый ряд бегущих немцев упал, как густая трава под косой.

Немцы метнулись влево.

— Та-та-та-та-та... — застучал пулемет Саши.

Давя друг друга, немцы кинулись вправо. Справа ладно запел пулемет Озерова.

Немцы падали кучками, зеленые, как саранча.

Вдали прокатился гром. По ту сторону поляны взметнулся черный лохматый столб, и Катя почувствовала, как земля под ней загудела, задрожала, поплыла...

«Артиллерия!»

Стремительно поднявшись, сна схватилась за гранату, хотела крикнуть: «За мной!», но рука беспомощно опустилась: с нее капала кровь.

Ошеломить и сразу смять немцев не удалось. Голоса пулеметов по ту сторону поляны отдалялись. Вероятно, Зимину пришлось принять на себя удар резервной части немцев. Закусив губу, Катя смотрела, как немцы залегли за деревьями, как вытащили с поляны станковый пулемет. Пули со свистом пролетали мимо ее головы, вгрызались в землю, срезали с сосен ветки. Вдали опять грохнуло, и послышался визг летящего снаряда.

Глава четырнадцатая

Зимин не знал, сколько прошло времени с тех пор, как он отдал приказ: «Умереть, но не сдвинуться с места». Дым стлался по земле, заволакивал небо. Партизаны лежали в одну линию, с большими интервалами один от другого. Только две комсомолки-пулеметчицы остались в заслоне у поляны.

Зимин не командовал: всем и так было ясно — требуется одно: стрелять, стрелять и стрелять до тех пор, пока бьется сердце, пока есть патроны... Патронов не станет — кинуться вперед с гранатами.

Путь к спасению отряда оставался прежний — уничтожить прорвавшихся на поляну немцев и, выставив заслон пулеметчиков, отступить по потайной болотной тропинке. Но

для

этого нужно было сначала измотать и отбросить вот эту вторую лавину немцев, оставить здесь заслон в два-три пулемета и кинуться на помощь катиной группе. Правда, положиться

на такой заслон очень дерзко, но и весь бой дерзкий. И с самого начала именно через дерзость мыслилось спасение; к тому же свежий враг и потрепанный — не одно и то же: пуганая ворона куста боится... Пока немцы решатся на очередную атаку да разберутся, что против них всего-навсего два-три пулемета, времени пройдет достаточно, чтобы сделать последний бросок, который решит, быть отряду или не быть.

Накалившийся пулеметный ствол дышал жаром, и Зимин чувствовал, что у него со всего тела пот лил ручьями. Шею, поцарапанную пулей, жгло, будто в ссадине растворялась

соль; нестерпимо хотелось потрогать это место, почесать. Вокруг рвались мины, гудела земля... Рядом — раненые, может быть убитые... Кто? Это станет известным после боя, если

он окончится благополучно, а сейчас думать об этом не к чему.

Все его внимание было сосредоточено на пулемете и немцах, выраставших вдали сквозь дым, как зеленые волны. Срезают пули одну — поднимается другая. Впереди горело несколько сосен. Земля за ними была устлана трупами. Они лежали кучками, и кучки эти шевелились: по мертвым немцам ползли живые. Сколько там в запасе этих зеленых фрицев?

Издали доносилось ржание коней. Чьи кони? Этих, что ползут, или прибыл свежий резерв? Нет времени оглядываться по сторонам. А вырваться отсюда надо во что бы то ни стало... Если отряд погибнет, народ останется на растерзание немцам и мост будет построен... Пойдут по нему поезда на Москву...

От этих мыслей крепче стискивались зубы. Пальцы как бы закалились на спусковом крючке. Пули летели сквозь стену дыма красными пунктирами.

— Та-та-та-та... — стучали в лад и пулемет и сердце.

Отползли назад немцы, застывали на окутанной дымом земле.

«Так вам, арийская сволочь! Зарились на советскую землю, — она под вами... Мягко лежать?» — радовался Зимин и чутко слушал.

— Та-та-та-та... — поливали немцев огнем остальные пулеметы.

Автоматы отзывались глухим непрерывным кашлем.

— Пах... пах... — с паузами выговаривали винтовки.

Вдали на земле то и дело вспыхивали светлые пятна, лучами разбрызгивая от себя огненный дождь: это Гриша-железнодорожник посылал немцам гостинцы из миномета.

«Хорошо, ребятки, хорошо!» — мысленно одобрял Зимин, а сам слушал все напряженнее и напряженнее, боясь пропустить паузу в минометной пальбе: когда затихал звук рвущихся мин, можно было расслышать, что делалось по ту сторону поляны.

Ванюша Кузнецов едва успевал подтаскивать пулеметчикам патроны и воду для охлаждения стволов. Побежав от ручья, он чуть не попал под мину — суком, оторвавшимся от сосны, зашибло плечо.

Зимин невольно вобрал голову в плечи — так низко провыла мина; оглушенный, он ткнулся лицом в прелый игольник и почувствовал, как на него посыпались сверху тяжелые комья земли.

Попробовал шевельнуться и не мог. Подумалось: «Конец!»

Кто-то тряс его за плечи, и звонкий голос кричал:

— Товарищ командир!.. Товарищ командир! Осыпая с себя землю, Зимин рывком сел и протер глаза. Перед ним стоял Васька; позади зияла воронка, и на краю ее трещала охваченная огнем сосна. Лицо у Васьки было в крови.

— Я от Катерины Ивановны... Патроны кончаются... Отбили пять атак... —

проговорил он задыхаясь.

Присел рядом с Зиминым и торопливо принялся рассказывать, как сложился бой по ту сторону поляны. Слушая, Зимин не сводил глаз с немцев. Сквозь дым было видно, как они подымались во весь рост и строились под прикрытием деревьев.

«Психическая... Ну что ж!»

— Передать по цепи — прекратить огонь! — крикнул он стрелявшему из автомата учителю Васильеву.

Тот передал приказ соседу и оглянулся.

— Без моего приказа огня не открывать, — продолжал Зимин. — Приготовить гранаты.

Немцы шли плотными шеренгами, волна за волной...

Зимин прикинул к пулемету.

— Передай: держаться до последнего патрона, — сказал он Ваське. — Если есть возможность, пусть немедля переходят в атаку со штыками и гранатами. Я помогу. Еще передай: «До скорого свиданья». Понял? Иди!

— Есть итти, товарищ командир, — взволнованно сказал Васька и не сдвинулся с места. Он изумленно смотрел то на немцев, которые приближались, помахивая автоматами, то на партизан, неподвижно застывших возле своих пулеметов и винтовок.

— Иди! — гневно поторопил его Зимин. Немцы были уже шагах в полтораста. Васька побежал.

«Держаться до последнего патрона... До скорого свиданья», — пробираясь кустами, твердил он слова командира, а сам завистливо думал: «Эх, и чесанут немчуру, чтобы

пешком

не ходили! Вот бы посмотреть!» Сердце то колотилось и горело, то сжималось в холодный комок: со своими все-таки ничего, а одному страшно!

Совсем близко он услышал немецкую речь и притаился, но тут же подумал: «Не век же стоять. Приказ командира надо передать скорее», — и побежал. Вдогонку ему затрещали выстрелы, но на Ваську они особого впечатления не произвели. Вокруг и так все стонало и грохотало.

Выбравшись из кустов, он протер глаза и... ничего не увидел: такой был дым, словно по всему воздуху молоко разлилось. И это молоко было испещрено пятнами,

неподвижными

и двигающимися. Неподвижные — трудно было сказать — то ли деревья, то ли люди...

Двигающиеся определенно были людьми, но какими: свои или немцы?

Васька стоял растерянный. Где-то здесь должен быть Саша со своим пулеметом.

Услышав на земле шипение, он наклонился и увидел, что стоит возле пулемета. Рука Саши лежала на спусковом крючке, но пули из ствола не вылетали: диск был пустой. Саша лежал, склонив голову к плечу, и по его белым вьющимся волосам на прелый игольник струйкой стекала кровь.

— Саша! Саша простонал.

На голову Васьки упала ветка хвои. Вторая ветка упала на пулемет, и он зашипел: ствол был раскален почти докрасна. Васька вытер шапкой лицо и тут только понял, что вокруг свистели пули, — это они срезали ветки. Он затряс Сашу за плечо.

— Саша! Катерина Ивановна где? Саша! Саша лежал, как мертвый.

Глотнув слезы, Васька побежал было к тому месту, откуда Катя посылала его к Зимину, и упал, споткнувшись о что-то темное; рука попала на холодное и мокрое лицо. Догадался: труп... Тела валялись в одиночку и кучками. Наверное, побитые немцы, а может быть, и партизаны... Ощущая, как у него зашевелились волосы, Васька побежал прямо по трупам.

Кто-то застонал под его ногами, кто-то закричал:

— О, майн готт! О-о!..

С головы сорвало шапку, но не ветром: Васька почувствовал, как обожгло ему затылок, а в ушах так и стояло: взи!.. взи!..

На голову падали ветки, сыпался игольник. Все это сейчас было безразлично Ваське.

Он только чувствовал, как от дыма все горше становилось во рту, к горлу подступала тошнота, в висках стучало, и так горячо, словно в голове начинался пожар.

Вот, наконец, и бугор.

Люба Травкина и Николай Васильев, прильнув к пулеметам, устало вглядывались в дымную даль. Позади них, в низине, Васька увидел неподвижно распластавшихся девушку

и старика с Лебяжьего хутора. В стороне кто-то стонал. Ни Кати, ни остальных партизан не было.

Пошатываясь, Васька остановился около пулеметчиков.

— Катерина Ивановна... где?

Люба молча указала вправо — туда, где, словно факел, трепетала языком пламени высоченная сосна.

Немцы, видимо, решили любой ценой разделаться с пулеметчиками. Едва умолк сашин пулемет, как они предприняли атаку бугра Озерова. Катя повела партизан на выручку предрика. Слитным гулом неслись оттуда стрельба, трескучий грохот гранат, крики.

«Успеют ли? А если и успеют — осият ли? Ведь немцев вон сколько!»

Николай Васильев повернул голову и забегал глазами, отыскивая Ваську.

— Эй, где ты? Видел командира?

— Держаться до последнего патрона, — смутно долетел из дыма голос мальчика.

— Гляди, Николай, гляди! — заволновалась вдруг Люба.

Фланговый удар партизан был для немцев настолько неожиданным, что они в панике хлынули обратно к поляне.

— Та-та-та-та-та! — пел им вдогонку замолчавший было пулемет Озерова.

Катя обрадовалась: «Жив!» Она взбежала на пригорок и пошатнулась: предрика с окровавленной грудью силится подняться с земли. Отблески пламени горевшей сосны ложились на его посеревшее лицо, плясали в закатывающихся глазах.

Опустившись на колени, Катя поддержала голову умирающего товарища. На мгновение она забыла о бое и о том, что, может быть, через несколько минут всех их ожидает смерть. В мыслях всплыло звездное небо, отражавшееся в ручье. Она и предрика стояли на краю ручья, и он говорил: «Меня никак не могут убить — предчувствие такое.

Мужик я, Катя. И горжусь этим. Мужик знает цену трудовой народной копейке — не пустит

ее на ветер. Многие считали меня скупцом. А для себя, что ли, я трудовые копейки сберегал?

Электростанции строил, эмтеэсы, племенные фермы разводил... Трудовую копейку, Катерина, всегда надо вкладывать в такие дела, которые богатства наши множили бы; и нам,

и детям нашим, и внукам служили бы; чтобы они живым памятником труда нашего сквозь годы прошли. А вот теперь своими руками пришлось рушить построенное... Знаю: так нужно, и все же совести нет покоя. Когда отстрою все заново, когда скажут люди: „Нет

боле за тобой долга, товарищ Озеров“, — тогда можно помереть, а до этого... нет!»

Было это минувшей ночью, всего несколько часов назад. И вот теперь...

Губы Озерова разомкнулись.

— Не дождался, Чайка... Ты... и Зимину передай... не хочу унести с собой...

ненависть... неистраченную... На себя ее примите... вам завещаю...

Катя хотела сказать, что и она и Зимин примут его завещание, отомстят, но,

почувствовав, как быстро стали леденеть под ее пальцами щеки предрика, молча

поцеловала

его и поднялась.

Она стояла, с ног до головы освещенная горящей сосной. Зубы ее были стиснуты крепко-накрепко и на скулах шевелились тени от двигающихся желваков.

К ней подбежала Нина Васильева.

— Катюша... убьют!

Катя не ответила и не пошевелинулась. Она смотрела, как у поляны, словно туча,

разрасталось в дыму черное пятно: немцы опять поднимались в атаку. Но думалось не о

немцах, а вот об этих товарищах и подругах, притаившихся за деревьями, за бугорками.

Она

чувствовала на себе взгляды друзей. Все они доверили ей свои жизни, пошли за ней и

сейчас,

вероятно так же, как и она, понимают: подходят последние минуты.

Двигается в дыму черная масса... Чем отшвырнуть ее? Нечем зарядить автоматы и

винтовки. Молчит пулемет. Отступить бы и соединиться с группой Зимины? Нельзя:

позади,

в низине, лежат раненые подруги и товарищи. А Васьки нет. Может быть, тоже убит. Нет

ответа от Зимины. Что там, по ту сторону поляны?

От сознания беспомощности, обреченности она едва сдерживалась, чтобы не

разрыдаться. А немцы приближались, немые, безликие, черные...

Катя на секунду зажмурилась и тут же широко раскрыла глаза: пулемет Озерова вдруг

заговорил. К нему прильнула Зоя. Губы ее судорожно передергивались, и так странно,

словно смеялись. Бинты на ногах были в крови и грязи.

— Хорошо, Зоенька, хорошо! Спасибо, — заликовала Катя.

Одни немцы падали, другие появлялись на их месте в дыму и продолжали идти вперед

— все так же стеной, сплошной лавиной.

Бывают мысли неожиданные и яркие, как вспышка молнии. Так было и у Кати. Она

вдруг поняла: обороняться больше нельзя. Если перебьют их здесь, у пригорка, то раненые

все равно погибнут. Если же смело кинуться в атаку, можно и победить — опрокинуть

немцев. Группа Зимины услышит и поможет хотя бы одним или двумя пулеметами. Дым

будет союзником — скроет число атакующих. Перед дыханьем смерти и понятие «риск»

приобретает совсем новый смысл.

Глаза ее сверкнули, лицо посветлело.

— Победа и месть, товарищи!

Не замечая боли, она отцепила раненой рукой от пояса гранату и взмахнула ею:

— За мной!

И побежала с пригорка.

Партизаны поднялись как один; Маруся Кулагина и еще три девушки обогнали Катю.

Резко прозвучала немецкая команда, и не стало в дыму темной стены, а с того места,

где она была, сверкнули вспышки выстрелов. Катя услышала сбоку чей-то девичий вскрик;

вот впереди нее кто-то упал: кажется, Маруся...

Она перепрыгнула через тело подруги и крепче стиснула гранату.

— Катерина Ивановна-а!.. — откуда-то издали донесся голос Васьки.

В сознании мелькнуло: «Ответ от Зимина». Но это было сейчас неважно. Сердце горело уверенностью, что ею принято правильное решение. Другого нет и не может быть.

Дым слезил глаза.

Трах-та-тах! — разорвалась слева от нее граната.

Метрах в десяти-пятнадцати от себя Катя разглядела лежавших на земле немцев. Рука сама взметнулась, и на месте, куда упала граната, поднялся клуб огня, мгновенно разлетевшийся на фосфорические брызги. Стоны и вопль немцев наполнили сердце радостным торжеством; на бегу отцепляя от пояса вторую гранату, Катя звонко крикнула:

— Бей гадов!

— Бей! — подхватил позади нее Николай Васильев. Рядом с ним бежала Люба Травкина.

Гранаты рвались слева и справа. Немцы отползали, и за ними гнались синеватые клубы дыма.

Катя чуть не упала, споткнувшись о барахтающиеся на земле тела. Нюра Баркова, сдавливая пальцами горло немецкого офицера, кричала:

— Ты, гад, тятеньку моего живьем зарыл! Ты!

На мгновение Катя задержалась и каждым мельчайшим нервом почувствовала, что вот именно того, что делает Нюра, страстно хочет и она-сдавить проклятое немецкое горло: за Федю, за любовь свою горькую, за мать, посаженную в колючую тюрьму, за Озерова — за все!

Из-за деревьев в нее прицелился длинный немец. Она рванулась вперед, перепрыгнула через офицера и Нюру и медленно осела: пуля впиалась ей в бедро.

Близко раздалась чья-то автоматная очередь — и немец упал.

Николай Васильев подхватил Катю под руку.

— Оставь! Вперед! Бей же! Бей! Ну! — простонала она яростно.

Одна за другой взвились к небу три сигнальные ракеты. При свете их Катя увидела: немцы стадом бежали на поляну. «Ах, если бы встретили их с той стороны огнем!..

Неужели

Зимин не слышит? Неужели не поможет?»

Катя поднялась. Вероятно, пробило только мякоть бедра; нога стояла твердо.

Схватила за пояс — гранат не было.

— Ура-а-а!.. — донеслось до ее слуха. По ту сторону поляны затрещали пулеметы.

«Зимин!» — Катя засмеялась от радости и, вырвав из руки мертвого немца винтовку, кинулась вперед. Она не слышала воя мины, пронесшейся над самой головой, почувствовала

лишь ветер от нее. Земля дрогнула, словно расколовшись пополам; перед глазами Кати взметнулся черный вихрь и плашмя швырнул ее на землю.

Глава пятнадцатая

Первое, что услышал Федя, были звуки, похожие на отдаленные раскаты грома.

«Где я?»

Переход от темноты к свету был так резок, что глаза, заслезившись, тотчас же закрылись. Чьи-то руки поправляли под его головой подушки, слышались радостные голоса:

— Видела? Открывал глаза!

— Открывал... Глядишь, скоро к чувству вернется... Он с трудом приподнял веки и

увидел, что лежит на высокой кровати в незнакомой полутемной комнате; в раскрытую дверь

была видна другая комната, и в ней на полу и подоконниках лежали полосы солнечного света.

У постели стояли две пожилые женщины и девушка. Федя внимательно вглядывался в их лица: ни одну из них он не знал.

Девушка погладила его волосы.

— Дорогой ты! Уж как мы боялись: думали, так и не придешь в себя. — Глаза ее смотрели с лаской и нежностью. Она поцеловала его в лоб и, застыдившись, вспыхнула и смущенно проговорила: — Меня зовут Наташей. А тебя?

Федя не ответил.

Взгляд его заскользил по комнате, подолгу задерживаясь на каждом предмете.

Восприятие всего окружающего было схожим с восприятием ребенка при первых проблесках

зарождающегося сознания. Но такой ребенок с изумлением озирает открывающийся ему мир, в котором все незнакомо и непонятно, а у Феди было холодное недоумение, и все предметы, которые он видел, не представляли для него первобытной новизны. В глубине сознания оставалось ощущение чего-то знакомого, понималось: все эти предметы так и должны быть здесь, — но память молчала, не могла подсказать ни их назначения, ни смысла.

И чем напряженнее он припоминал, тем больше все путалось в голове, утрачивая ощущение чего-то знакомого и делаясь непонятным, как впервые видимое. Больше всего был непонятен

себе он сам. Кто он, как сюда попал и зачем?

— Господи, что там делается, что делается! — взволнованно прошептала пожилая женщина. Федя повернул к ней голову. По его взгляду она поняла: спрашивает, что сказала. — Стреляют, милый... Слышишь? С самого утра... Говорят, нашлась какая-то гадина — выдала.

От слов женщины на Федю тоже повеяло чем-то знакомым, но смысл сказанного ускользнул от него. Он отвернулся и стал смотреть на окно, закрытое синей шторой.

Смотрел долго. В глазах сначала мелькнуло удивление, потом радость. Он вытянул руку и по

складам проговорил:

— Што-ра... Женщины забеспокоились.

— Нельзя, милый, — сказала пожилая. — Не дай бог, недобрый глаз приметит с улицы.

Федя был уверен, что правильно назвал этот темный предмет.

Вытянув опять руку, он раздраженно крикнул:

— Што-ра!

Наташа приподняла угол шторы, и на комод косо легли бледные солнечные лучи. На нем что-то вспыхнуло, точно кусок серебра заиграл, и тут же к потолку прилепился светлый

овальный кружок.

Сцепив зубы, Федя с трудом приподнялся на локтях. На комод лежал сверкающий предмет — это из него смотрело на потолок крохотное солнце, во все стороны брызнув лучами. Федя не мог вспомнить, как называется этот предмет, но зато вспомнилось другое:

В

нем он может увидеть себя.

Он требовательно протянул руку. Наташа подала зеркальце. Руки у Феди были багрово-синие, исполосованные шрамами, ни на одном пальце не было ногтей, но он не обратил на это внимания. Прильнув лицом почти вплотную к зеркалу, пытливо разглядывал свое отражение. Седые волосы, сурово сжатые губы, холодные глаза и какая-то спокойная, каменная неподвижность во всем лице... В памяти ожило что-то очень близко знакомое — ближе, чем все эти окружающие предметы, чем речь женщин: темно-русые волосы, непослушно спадающие на лоб, веселые карие глаза... И вот такой же, как в зеркале, открытый ровный лоб.

«Федор Голубев», — мелькнуло в голове. Открытие не взволновало, а удивило: он, седой человек, неизвестно, как и зачем попавший в этот мир незнакомых вещей, знает какого-то Федора Голубева.

И Наташа и женщины слышали, как Федя что-то невнятно прошептал.

Зеркало выскользнуло из его рук на одеяло. Он блуждал взглядом по комнате. Наташа наклонилась, и глаза их встретились.

— Где Катя?

Она вздрогнула.

— У тебя есть жена?..

Федя смотрел на нее все так же недоумевающе. Он хотел спросить: кто он, почему знает Голубева Федора и Катю? Но слов для этих вопросов не нашлось.

Помолчав, задумчиво произнес:

— Фе-дя Го-лу-бев...

— Ты Федя? — обрадовалась Наташа. Он не ответил.

В сознании мелькнуло что-то светлое-пресветлое. Золотистые хлебные поля... голубой лен... Волга... музыка, песни...

— Жизнь, — отчетливо проговорил он.

Да, все это называлось жизнью, и в этой жизни был механик Федя Голубев. Потом... потом на все окна почему-то опустились шторы, и жизни не стало. А Федя? Он остался... наверное, вот за этой шторой. В горячей голове назойливо засела мысль: надо найти Федю Голубева и от него узнать: кто он, седой? Если он знает Федю Голубева, то и Федя Голубев должен знать его.

Он так упорно смотрел на штору, что Наташа решилась: приподняла ее всю и открыла окно.

В комнату пахло сырým холодом, и стало слышно отдаленное уханье артиллерийской пальбы. Взору Феди представилась пустынная улица, слепые дома, бледное

солнце на мокрых крышах. Феди Голубева нигде не было видно.

Он ничего не понимал, но уверенность в том, что Федя Голубев есть, и где-то здесь близко, рядом с ним, не покидала его.

— Го-лу-бев Фе-дя! — вырвалось у него раздраженно.

Женщины смотрели на него и качали головами. Наташа закрыла окно.

Вздохнув, Федя провел ладонью по лбу, покрывшемуся крупными каплями пота.

Ведь он же знал все о Феде Голубеве: знал, что тот жил в детдоме и считался «трудновоспитуемым», потому что был главным коноводом во всех отчаянных проделках озорной детдомовской ребятни. Знал, что любимая Феди Голубева прекраснее всех девушек в мире, что народ прозвал ее Чайкой, а сам Федя никак не мог отыскать такого слова, которое охватило бы — не всю ее, нет, а хотя бы только одни ее глаза, и что у Феди так и не нашлось смелости сказать ей: «Будь моя!»

Знал, что в день отъезда на строительство оборонительных укреплений Федя видел на глазах Кати слезы, но не понял, что они означали: просто Катя переживала за близкого друга,

уезжающего туда, где смерть, или догадалась, какие слова хотели слететь с его губ, и слезы ее были слезами сострадания большой, чуткой души. Федя убедил себя, что правильно последнее; во-первых, он был горд и не переносил, когда его жалели, а во-вторых, чувствовал: душа станет пустынной, если из нее уйдет последняя надежда на катину любовь

к нему.

Все это и многое другое он знал о Феде Голубеве, но самое главное было неизвестно: какая же связь между ним и Федей Голубевым, почему он так много знает об этом Феде? Морща лоб, он старался припомнить всю жизнь Феде: детдом, война с белофиннами, встреча

с Катей, Головлевская МТС, страдная пора на полях — все это проходило перед глазами без всякой связи, как порванная и беспорядочно склеенная кинолента. Сам Федя Голубев мало занимал его пробуждающееся сознание. Ему важно было, кто находился рядом с Федей. В этом «кто» он искал самого себя. Словно сквозь дым, перед ним мелькали лица, знакомые и незнакомые, и всех их сознание отвергало: «Не я... не я...»

Он опять взял зеркало и опять прильнул к нему воспаленными глазами.

Наташа с беспокойством следила за выражением муки и гнева, все больше проступавшим на его лице. Он простонал и швырнул зеркало на пол. Из глаз, с мольбой вскинувшихся на Наташу, побежали слезы.

— Кто я?

Обе женщины, не выдержав, расплакались.

Наташа села на постель и попыталась обнять Федю за шею. Он отстранил ее и закрыл глаза.

В голове стояла жаркая пустота, и вдруг в памяти точно дверь распахнулась — зазвучали в ней трескучая стрельба и хриплые крики: «Хальт! Стоп!»

И опять в глазах — Федя Голубев. Вот он вместе с Танечкой выбежал из-за угла глухого забора, на котором крупно написано углем: «Головлевская МТС».

Дорога. Слева забор, справа канава, впереди берег, густо поросший кустами.

Выстрел... Еще... Танечка вскрикнула и рухнула плашмя. Федя быстро обернулся и увидел на углу толпу немцев. Припав на колени, они целились в него. Дула их винтовок обволоклись дымом, и Федя схватился за бок... упал, а немцы подбежали к нему...

«Седой» заволновался. Мысли о себе покинули его. Он теперь не искал рядом с Федей себя. Чувствуя с каждым мгновением, как горячее и горячее становится не только в голове, но и в груди, во всем теле, он приковался мысленным взором к Феде, только к нему! Вот он,

раненый, отбивается от немцев. От его ударов они отскакивают на середину дороги, к забору, скатываются в канаву, поднимаются и опять стайей кидаются на него с явным намерением захватить живым. Сердце у Феде прыгает от ярости и ненависти. «По-вашему

— гут, по-нашему — бьют!» — говорит он и, обернувшись, бьет наотмашь немца, собирающегося прыгнуть на него сзади. Замахнувшись для нового удара, видит через плечо:

с криком «Цетер!» немец скатывается в канаву, на дне которой уже стонут, силясь подняться

из грязи, два солдата. Кто-то бьет Федю прикладом под коленки, и он падает... Слышен гудок автомашины. Связанного Федю кидают в кузов грузовика... Моросит дождь... Машина мчится городской улицей. Федя сидит, стиснутый двумя немцами. Машина останавливается возле дома. Федю стаскивают наземь и волокут к парадному крыльцу. Гулко захлопывается дверь и...

Перед глазами «седого», заслонив все, вырос Макс фон Ридлер... Лисье лицо, на губах — улыбка.

Федя заскрипел зубами и открыл глаза.

Все прояснилось.

В груди кипело, но он так и не успел разобраться, какие чувства горячили душу: сознание опять рухнуло в черный провал.

Наташа первая заметила, как помутнели и остановились его глаза.

— Родной!

Она положила руку ему на грудь и сквозь слезы прошептала:

— Не бьется.

Подбежала к шкафчику, быстро вынула из него жестяную коробочку со шприцем и пузырьки. В комнате запахло камфорой, спиртом.

Вытащив из-под кожи иглу, Наташа опять взяла Федю за руку. Обе женщины настороженно смотрели на его бледное лицо.

— Жив, — вскрикнула она радостно, и щеки у нее порозовели. — Тепло скорее!

Женщины принесли несколько бутылок с горячей водой и обложили ими Федю.

Прислушиваясь к отдаленному артиллерийскому гулу, они долго стояли у постели и тревожно смотрели на распростертого перед ними седого парня. Наконец Федя открыл глаза...

— Ничего... Спасибо... Голова немножечко закружилась... Пройдет, — слабым голосом сказал он склонившейся над ним Наташе.

Он теперь знал и помнил все. Одно оставалось непонятным: почему он здесь, кто эти женщины и эта красивая девушка? Можно бы спросить, но разговаривать не хотелось.

— Пусть побудет один, — шепотом сказала пожилая.

Наташа вышла последней и долго не закрывала дверь, с нежностью смотря на вернувшегося к жизни Федю. Он лежал, неподвижно устремив взгляд на штору.

Мысли от Макса фон Ридлера перекинулись к партизанскому отряду... В памяти всплыло лицо Кати, и он удивился: в груди не полыхнуло привычной радостью, сердце билось ровно, и губ не потревожила улыбка. Вспомнился только что виденный «сон», будто смотрел в зеркало, видел себя седым, с каменным лицом, и не узнавал. Федя повел взглядом по комнате — зеркала нигде не было видно.

«Седой? К чему мне седым быть?»

Как часто бывало раньше, он, закрыв глаза, прислушался к тому, что творилось в душе, и ничего не мог услышать: внутри была тягостная безжизненность, и лишь при мысли о немцах, и особенно о Ридлере, всего его будто кипятком ошпаривало, в глазах темнело, мышцы напряжинивались, и, казалось, не будь этих дьявольских болей, пригвоздивших к постели, выпрыгнул бы прямо в окно, ударил в набат и впереди всех ворвался бы в ту камеру.

«Сон-то, пожалуй, правда: я и Федя — разные люди, — подумал он. — Вернее, Федя вообще больше не существует. Все, что составляло его душу, погибло в той камере, растворившись вот в этом чувстве ненависти и бескрайней жажде мести».

И «новый» Федя понимал: так будет до последнего немца. «А дальше что?»

«Все равно что», — подумал он устало и насторожился: его внимание привлекли звуки артиллерийской стрельбы. Вспомнилось: и во «сне» чудились эти звуки. А может быть, не было сна?

Орудия били далеко, но по частоте залпов, по силе их раскатов Федя заключил: бой настоящий, серьезный. Слушал он, и его охватывало все большее волнение.

Что же это? Мало вероятно, чтобы легко вооруженный отряд завязал бой с тяжелой артиллерией... Красная Армия? Контрнаступление? Конечно! Почему же не может быть так?

«А я лежу! Лежу, когда пробил час расправы над максими!»

Забыв о болях, Федя рванулся встать и, застонав, откинулся на подушки. От резкого движения бутылки со звоном полетели на пол. В комнату вбежала встревоженная Наташа. — Опять бунтуем?

— Где стреляют? Кто? — нетерпеливо спросил Федя.

— В лесу... — Наташа замялась, не зная, сказать ли всю правду. — У партизан бой с немцами.

Глава шестнадцатая

Перед вечером пулеметы партизан, не дававшие немцам подняться с земли, умолкли. Почему? Ленты все вышли или из пулеметчиков не осталось в живых ни одного? Немцы

три
раза подходили к поляне и откатывались обратно: поляна встречала их ливнем пулеметного огня.

Сколько укрепились там партизан — одиночки, сотни? Дым стоял такой плотный, что и в двух шагах ничего не было видно. Разъяренные упорством противника, немцы ввели в

дело
артиллерию. Над горящими соснами с визгом и воем проносились снаряды. Там, где они падали, дым взвивался черно-красными столбами.

Выждав довольно долго, Корф приказал любой ценой захватить поляну. Орудия замолчали, и наступившая тишина нарушалась лишь треском горевшего леса. Истошно взвывая, со штыками наперевес, немцы ворвались на поляну и притихли, удивленно и испуганно вглядываясь в дымную муть: никто в них не стрелял, никто не колот штыками,

не
закидывал гранатами. Посреди поляны, охваченная пламенем, надломилась сосна, и верхняя

ее половина искромечущей головней рухнула наземь. От огня один за другим выстрелили несколько патронов, рассыпанных на земле. Огнем охватило сумку на спине лежавшего рядом трупа немецкого солдата. Она задымилась, взметнулась факелом и так ахнула, точно разом выстрелило несколько винтовок. Пламя далеко вокруг осветило обгорелую землю, покрытую трупами немцев. Партизан не было видно — ни живых, ни мертвых.

Прикрывая глаза от дыма, Корф подбежал к краю болота, топнул ногой и, не помня себя от ярости, закричал:

— Если вы... шестний шелёвеки, отвечайт мне! Выходить для открытий шестний битва!

Он никак не мог примириться с мыслью, что партизаны ускользнули из его рук.

«Не могли же они пройти этим болотом, в котором погибло столько моих солдат, — думал он. — Или дьявол им помогает?»

— Слышать, ви!

— Слышать болванов — удовольствие ниже среднего. Корф, как ужаленный, обернулся.

За его спиной стоял Макс фон Ридлер.

* * *

Всю дорогу до Певска полковник пыхтел, как паровоз, и сплевывал: «Сволочь гиммлеровская!» Выпрыгнув из машины, спросил часового:

— Господин фон Ридлер не приезжал?

Получив отрицательный ответ, он заложил руки за спину и принялся ходить перед крыльцом.

Машина фон Ридлера подкатила к калитке на бешеной скорости.

Полковник шагнул ему навстречу.

— Я жду. Вы обещали...

Кутаясь в плащ, Ридлер взглянул куда-то поверх его лица.

— Идите к себе... Я приду.

Полковник прождал больше часа. Ридлер вошел в кабинет с папиросой во рту. Не вынимая ее, процедил сквозь зубы, точно подчиненному:

— Пишите!

Рука полковника дрожала, но буквы ложились на бумагу ровно, с завитушками давно вышедшего из моды готического шрифта:

«21/310 — секретная.

Сегодня выяснилось окончательно: в лесах района, кроме партизанских отрядов, действовала ударная часть Красной Армии, имевшая в своем распоряжении орудия и легкие танкетки. В ночь на 3 ноября эта часть совершила два налета: на село Покатная, где были заперты заложники, и на Жуковское шоссе. В Покатной гарнизон держался стойко, до последнего человека. На Жуковском шоссе красноармейцы уничтожили автотранспорт с боеприпасами. Разведке удалось открыть местонахождение врага...» Отложив перо, полковник хмуро взглянул на гестаповца, ходившего по кабинету.

— Простите, господин фон Ридлер, но, мне кажется, это не совсем честно, и если вскрыется...

— Хорошо. Давайте поиграем в честность, — сказал он холодно. — Давайте напишем: был небольшой партизанский отряд. Нам указали, где он находится, а гарнизонные войска оказались настолько лопухими, что дали заманить себя в ловушку и частью были перебиты,

частью затонули в болоте. Посланная на помощь кавалерийская часть потеряла половину своего состава, а оставшиеся в живых попали на поляну, когда бой затих совсем, и не обнаружили ни одного партизана. Ну, что же вы не пишете? Пишите!

— Я думаю, господин фон Ридлер... первый вариант, так сказать...

Ридлер презрительно усмехнулся. Он подошел к окну и, обернувшись, скрестил на груди руки.

— Пишите: «Гарнизонные войска окружили красноармейскую часть, и, несмотря на то, что силы врага превосходили наши раз в десять, враг был разбит наголову. Свыше двухсот красноармейцев, спасаясь бегством, затонули в болоте. Гарнизонные войска в жестоком бою

потеряли шестьдесят процентов своего состава...»

— Не меньше. — Полковник сжал кулаки. — Но я знаю, как исправить ошибку. И я ее исправлю. Нужна не облава, а блокада. Блокаду подкрепить сильными средствами. Танки, орудия... Окруженный лес со всех сторон поджечь. И будьте уверены — тогда от Фридриха Корфа не уйдет ни один партизан. Ни один! Только вот солдат у меня теперь...

— Для того чтобы осуществить блокаду, надо иметь что блокировать! — оборвал

Ридлер, с трудом удерживая желание подойти и ударить Корфа по лицу.

«Ведь это чорт знает что, — бесился он, — упустить врага, когда тот был почти совсем в руках!»

— Очень интересуюсь, как вы теперь обнаружите местонахождение партизан?

Мясистая челюсть полковника дрогнула.

— В этом, господин фон Ридлер, я... рассчитываю на вашу помощь. Может быть, в чем и я... смогу быть вам полезным, — проговорил он, все больше и больше багровея: этот гестаповец разговаривал с ним, как с мальчишкой, и приходилось терпеть. — Мой опыт и мои войска в вашем распоряжении, господин фон Ридлер.

Ридлер звучно хрустнул пальцами.

— Не будем пока заниматься болтовней, господин полковник: времени у меня очень мало. Собственно, вы это знаете: я приехал сюда для того, чтобы построить мост, а не для того, чтобы вытаскивать вас из ям, в которые вы садитесь по «стратегическим соображениям». Какие последние слова вы написали?

— «Шестьдесят процентов своего состава», — задыхаясь, сказал полковник.

— Хорошо. Пишите: «Ходатайствуем о срочном пополнении гарнизонных войск, остро необходимых для уничтожения остатков разгромленного врага и для охраны работ по восстановлению моста».

Зазвонил телефон. Ридлер снял трубку. Дежурный офицер сообщил, что сын старосты с хутора Красное Полесье, Степан Стребулаев, доставлен и находится сейчас в канцелярии.

— Выпороть — и ко мне! — приказал Ридлер.

Не успел он отойти от телефона, снова задребезжал звонок. На этот раз фельдфебель из Жукова вызывал начальника гарнизонных войск.

— У телефона Макс фон Ридлер. В чем дело? Что-о?

Ридлер сжал трубку так, что у него посинели пальцы.

Корф встревожился.

— Что такое? — спросил он, когда Ридлер бросил на рогульку трубку и с силой нажал кнопку звонка.

— Так... все старое. От одних приятелей поклон вам. Между Жуковым и Покатной они спустили под откос поезд со строительными материалами, обстреляли охрану и скрылись, прежде чем подоспели войска.

— Дежурного из моего отдела! — приказал он показавшемуся в дверях адъютанту полковника и, похрустывая пальцами, заходил по кабинету.

«В моем кабинете — и как хозяин», — с негодованием подумал Корф, но ничего не сказал.

Вошел дежурный офицер гестапо. Ридлер продолжал ходить из угла в угол. Наконец, он остановился перед своим подчиненным.

— Свяжитесь немедленно с Жуковым и Покатной. Никаких больных и престарелых в этих селах не оставлять. Всех-на работы! На самые тяжелые... Разъяснить, что это расплата за преступление, которое сейчас, то есть вот этой ночью, совершили там партизаны. И что это очень мягкая мера наказания, потому что нет прямых улик в соучастии. Впрочем, ничего

разъяснять не нужно: я сам разьясню.

Офицер козырнул.

— А в остальных селах?

— В остальных?.. Больных и тех, из которых песок сыплется, можно не трогать... до поры до времени... Срочно вызвать ко мне лейтенанта Августа Зюсмилыха.

— Слушаю.

— Все, идите.

Ридлер небрежно развалился на диване, положив ногу на ногу.

— Пишите, полковник. «Работы по восстановлению моста протекают нормально, вопрос с транспортом разрешен полностью и...»

Глава семнадцатая

В Залесском орудийная канонада не была слышна, и о схватке партизан с немцами Михеич узнал от односельчан, вернувшихся со строительства. Поняв из их слов, что отряд почти полностью уничтожен и только несколько человек убежали неизвестно куда, старик так и обомлел.

— Сама мертвых партизан видели?

— Нет, немцы говорят... — плача, за всех ответила мать Любы Травкиной.

Михеич распалился, сплюнул и закричал:

— А у вас, поди, и уши-то для того выросли, чтобы немецкую брехню слушать? Эх, вы!..

И сейчас он шел по дороге и сердито ворчал:

— Отрывать бы такие языки, что вместо ветра немецкую брехню подхватывают, да в помойку. Такое мое разумение.

Улица была пустынна, и лишь у крыльца немецкой комендатуры возле оседланных коней толпились солдаты. Не взглянув на солдат, Михеич осмотрел всех коней, одному даже

заглянул в зубы и погладил по спине. Круп коня был туго стянут ремнями седла, шерсть местами слезла, обнажив кровавые ссадины.

Михеич надавил пальцем ремень, и конь, вздрогнув, шатнулся в сторону.

— Людей ни во что не ставите, так животину хоть пожалейте. Расседлайте, говорю, господ немцы!

Никто из солдат не понимал по-русски, но один из них, может быть по властности, прозвучавшей в голосе старика, догадался, о чем шла речь, и выругался, но все же подошел

к коню и принялся расслаблять ремни.

«Барахло — кони. Десяток не возьму за одного из тех, что в лес угнали», — поднимаясь на крыльцо, подумал Михеич.

В помещении сидел сухопарый белобрысый офицер. Он курил и, выпуская дым тонкой струйкой, скучающе разглядывал свои длинные пальцы.

Михеич снял картуз и низко поклонился.

— Штарост? — не глядя на него, процедил офицер.

— Так точно, ваше благородие. Поставили, служим.

— Есть приказ от господин шеф-полицай. — Офицер подкрутил рыжие усики и важно надул щеки...

«Жирком ему обрасти... совсем бы индюк!» — усмехнулся про себя Михеич.

Немец взял со стола лист бумаги и, держа вдали от глаз, стал читать:

— С каждый двор: хлеб — двадцать пуд, картофель — шестьдесят пуд, мясов...

— Не читай дальше. Все это не выйдет, ваше благородие.

— Что-о?

— По естеству не выйдет! Этого меню у нас теперь не водится. Одна гнилая картошка... Ежели таковой желательно, ваше благородие, наскребем потихонечку. Взбешенный офицер резко поднялся и... опять сел: глаза старика смотрели на него

заискивающе, преданно.

— И рады бы, как у нас говорят, в рай, да грехи не пускают. Оно и соответствует: одна гнилая картошка.

— Ich werde... Я буду... посмотреть! — и офицер с подчеркнутой решительностью взялся за каску.

Михеич побледнел: во многих домах еще с прошлой недели бабы в подарок партизанам готовили полушубки.

— Сделайте такое одолжение. Только интересу для молодого человека в наших домах мало, — сказал он, выходя вслед за офицером на крыльцо. — Известно, расейские, не по-немецки сделаны.

Не слушая, офицер махнул солдатам рукой, и они пошли за ним к стоявшему напротив дому Травкиных.

На стук вышла испуганная мать Любы. Встретившись со встревоженным взглядом Михеича, она отрицательно покачала головой, и старик понял, что полушубков нет.

— Показывай его немецкому благородию все, как есть! — приказал он, строго сдвинув брови.

Обшарив весь дом, немцы слезили на чердак, нашли там две лопаты и спустились в подпол. На кухне остались Михеич, хозяйка, ее сынишка и солдат, застывший у порога, как деревянный.

— Как тебя звать-то, господин солдат? — спросил Михеич.

Немец молчал.

«Не понимает или притворяется?»

— Эх ты, колбаса немецкая!

На лице немца и на этот раз ничего не отразилось.

«Не понимает», — глаза Михеича хитровато улыбнулись.

Он достал трубку и, неторопливо развязав кисет, протянул немцу щепотку махорки.

— Бери на закурочку!

Тот высокомерно повел глазом и с размаху ударил по руке.

— Так? Ладно... — Старик с сожалением посмотрел на рассыпавшиеся зеленоватые крупинки.

Сказав что-то короткое, немец рванул кисет к себе, спокойно опустил его в карман и опять застыл, как деревянный.

Кровь густо хлынула Михеичу в лицо. Чтобы совладать с собой, он наклонил голову и отвернулся.

В молчании хмуро вертел пустую трубку. К злобе на немцев примешивалась тревога за исход обыска: соседний двор — Карпа Савельевича, а у того в подполе продукты.

Вдруг сердце его радостно дрогнуло от мелькнувшей мысли: «Обождите-ка. Я вам выставлю угощение». Он шустро обернулся к мальчику и указал пальцем на пол.

— Беги, Петька, к Карпу Савельичу и от моего имени прикажи, чтобы он своего Полкана в подпол посадил. Понял? А сначала, для виду, подбери-ка быстренько махру. Мальчишка собрал табачинки, сунул их Михеичу и кинулся к двери.

— Wohin? — Немец оттолкнул его и зло погрозил кулаком. Михеич тоже погрозил и, вздохнув, сел на скамейку. Остальные немцы вылезли из подпола злые. Михеич начал было жаловаться на часового, отнявшего у него кисет, но офицер досадливо махнул рукой и подступил к хозяйке:

— Куда все попрятать?

Осторожно тронув его за руку, Михеич указал на угол двора, видневшийся в окно, и

подмигнул.

— Искать — так уж везде.

В сарае и хлеву немцы прощупали штыками вороха старья, простучали потолки и стены. Кивнув на пустой сарай, из которого отдавало запахом овечьей шерсти, Михеич шепнул лейтенанту:

— Сдается, ваше благородие, тут половчее поискать надо. Перед тем как вашей власти прийти, шел я по улице и любопытство, стало быть, проявил... Возня слышалась... Неспроста!

Не дожидаясь ответа, он вошел в хлев. Лейтенант встал у двери. Юркий, невысокого роста, Михеич быстро двигался по хлеву, топал ногами по земляному полу, припадал к нему

ухом и что-то сердито ворчал. Возле стен землю решительно забраковал.

— Не тронута.

Лег посреди хлева ухом на руку и лежал так долго, что у немцев, столпившихся у двери, от нетерпения по рукам и ногам зуд пошел. А Михеич смотрел на них тяжелым взглядом и думал: «Подольше надо затянуть, подольше, чтобы все люди узнали, авось, успеют понадежней упрятать полушубки и продукты. Эх, как бы вот с Карпом Савельичем не влопаться! Зарыл, дурень, в подпол, лесу не доверил. Расстреливать таких мало. Оно и соответствует: весь народ под удар не подводи».

— Что он, спит? — пробормотал лейтенант.

— Рыхлая... дышит! — умиленно воскликнул Михеич. Он быстро поднялся на ноги, прошел пять шагов прямо, столько же в сторону, на углах воткнул кольшки.

— Стоит покопать здесь. Такое мое разумение.

По знаку лейтенанта два солдата с лопатами вошли в хлев. Им светили фонарями: было уже темно.

— Долго они прокопаются, — сокрушенно сказал Михеич. — В большой глубине пустота... Вот заступы бы! — Он сделал вид, что крепко задумался, и, вдруг, хлопнув себя по лбу, вышел из хлева.

— Петька! Беги по соседям, скажи: староста приказал заступы дать. К Карпу Савельичу обязательно — у него есть. Вобрал в понятие?

— Вобрал.

Мальчишка вскоре вернулся с охапкой заступов.

Солдаты разобрали их и прошли в сарай. Лейтенант и Михеич остались у двери. Лейтенант смотрел на старосту с любопытством и одобрением.

— Ти есть хороший работа... Хлеб находийт — награда палюшайт, — сказал он, хлопнув его по плечу.

— Поставили — служим. — Взглянув на офицера, Михеич заставил себя улыбнуться и присел на рассохшуюся кадушку.

Земля в хлеву была твердая. Яма углублялась не так быстро, как этого хотелось лейтенанту. Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу и, наконец, не выдержав, приказал солдатам, не занятым раскопкой, продолжать обыск по другим домам.

— Штарост! — позвал он повелительно. Михеич поднялся.

Калитка двора Карпа Савельевича была не заперта. Немцы без стука вошли в избу и застали хозяина врасплох. Вероятно, только что выбравшись из подпола, он прикрыл крышку. Глаза лейтенанта злорадно вспыхнули. Оттолкнув хозяина, он сам приподнял за кольцо крышку и прыгнул в черную дыру. Солдаты хотели последовать за ним, но в подполе

послышалось глухое ворчанье и через миг — вопль лейтенанта, точно его резали. Грохнул выстрел, и в дыру просунулась голова лейтенанта: лицо — как у мертвого, глаза — большие.

Солдаты вытащили его под руки. В подполе раздался громкий лай, на край дыры легли две желтые лапы, и тут же стрелой вскинулось громадное тело окровавленного пса. Щелкнув

челюстями, он ринулся за лейтенантом.

— Цетер! — взвыл тот в сенях. Карп Савельевич побледнел.

— Полкан!..

— Сейчас же скройся куда-нито, — шепнул ему Михеич и побежал вон из избы.

Опомнившись, солдаты кинулись за ним следом, на бегу сдергивая с плеч винтовки и щелкая затворами.

Страх лейтенанта за жизнь был так велик, что он протащил на себе пса через весь двор и упал только на улице. Полкан вцепился ему в шейные позвонки. Михеич ударил пса засовом, выдернутым из ворот, и Полкан опрокинулся на бок. Подбежавшие солдаты прикончили его штыками.

Михеич помог офицеру подняться. Вид у лейтенанта был очень жалкий: от брюк остались одни клочья, из оголенного тела сочилась кровь.

Михеич свистнул:

— Вот дурень: из зада его благородия отбивную котлету сделал.

В голосе старосты офицеру послышалось злорадство, и он в бешенстве сжал кулаки.

Михеич сокрушенно покачал головой.

— Моя вина, ваше благородие, — был приказ: всех собак или на цепь посадить, или в расход. Гляжу к вечеру, радуюсь — ни одной собаки... «Соответствует», — думаю.

Господам немцам теперь просторней будет, а оно, видишь, грех какой: в подпол упрятали

недоглядел.

Офицер увидел, что и на самом деле у старосты лицо виноватое, смущенное. Кулаки разжались.

— А вы, ваше благородие, не очень уж к сердцу — глупый народ, известно. Хотя вникнуть поглубже в вопрос, большой вины тут не сыщешь. Приказ они выполнили, потому подпол, подумать ежели, куда вернее цепи. А того, что ваше благородие начнет у них в потемках по подполам лазить, они, конечно, по дурости не догадывались. Это уж наша оплошка. Надо бы раньше предупредить, собрание, что ли, какое разъяснительное устроить. Михеич внимательно осмотрел корчившегося от боли офицера и покачал головой.

— Эх, ведь как соответствующе обделал — ни на волосок к вашему благородию сознательности не проявил... Едком бы, ваше благородие, а? Очень даже в таких случаях соответствует: медицина!

— Иди к тшорт! — взревел лейтенант.

Он указал солдатам на дом Карпа Савельевича и сказал что-то отрывистое.

Слов Михеич не понял, но, увидев, что солдаты побежали к дому Карпа Савельевича, вытаскивая из кармана спички, догадался. В глазах потемнело от ненависти.

«Крепись, старик, крепись! — сказал он самому себе. — Наружу себя показывать в твоём положении не соответствует».

Дом загорелся со всех сторон. Рыжее пламя лизнуло венцы. Лейтенант хотел итти, но, сделав шаг, закрипел зубами и опустился на землю. Солдаты на руках понесли его в комендатуру. Михеич поплелся за ними, стараясь не смотреть на горящий дом.

В комендатуре лейтенант с кем-то долго говорил по телефону то злым, то плачущим голосом. Два раза козырнул; шею, несмотря на боль, все время держал прямо.

«Знать, перед большим начальством отчет держит», — угрюмо подумал Михеич.

Офицер поманил его пальцем. Старик нерешительно взял из его рук трубку и враз охрипшим голосом спросил:

— Ась?

— Староста? — резко раздалось в трубке, и, не дожидаясь ответа, голос заговорил отрывисто, точно лая: — Срок — до рассвета. Собрать все, что есть в списке. В противном случае будешь на веревке с первым солнечным лучом! Слово Макса фон Ридлера есть слово,

которое никогда не меняется! Все!

В трубке щелкнуло. Подождав, Михеич крикнул:

— За что, так сказать?.. Какое же соответствие? — В глазах его было смятение.

Солдаты, наблюдавшие за ним, дружно расхохотались, а трубка молчала. Вытирая платком лицо, Михеич вышел на улицу.

— Нет, не выйдет по-твоему, немец! — прошептал он, оглянувшись на комендатуру от калитки своего двора. — С первым солнечным лучом приходи за мной в партизанский отряд.

Там я тебя угощу хлебушком, угощу!

«А ежели правда, что нет отряда?» — мелькнула горячая мысль.

Михеич сурово сдвинул седые брови и, медленно оглядев всю улицу, освещенную пламенем догоравшего дома Карпа Савельевича, до боли стиснул кулаки.

— Один в лесу буду!

Во дворе, прежде чем ступить на крыльцо, долго прислушивался. Теперь нельзя без этого: жизнь стала такой, что из-за каждого угла смерть смотрит — пьяная, фашистская, злобная.

Войдя в сени, он услышал голоса: жена с кем-то разговаривала. Узнал голос Карпа Савельевича и толкнул дверь. Кухня тускло освещалась чадившей коптилкой. Жена лежала на полатах. Карп Савельевич сидел за кухонным столом. Проведя грязными пальцами по глазам, он с дикой злобой покосился на Михеича.

— Спасибо низкое, соседское, Никита Михеич... Удружил, присоветовал... На забаву потешился, а я через то... Вчерась, кажись, жизнь бы за тебя отдал... Думал, почтенный самый человек из всего села, каково-то теперь ему: и руки немцам жмет, и шутом перед ними, прибаутки разные сказывает... Все, мол, за народ терпит, а оказалось?.. Пришел я к тебе только для того, чтобы сказать: сволота ты, Никита Михеич!

— Эка удивил, — холодно ответил Михеич. — А ты думал, на песью должность к Гитлеру хорошие люди, вроде тебя, пойдут? Конечно, сволота.

Снимая картуз, засмеялся.

— Ты чего? — настороженно спросила жена. Михеич подмигнул ей, и в шустрых глазах его замелькали веселые огоньки.

— Макс-ваксу, баба, представил... У него пальцы-то, говорят, вместо балалайки, — наигрывает на них.

Повесив картуз, старик сел за стол напротив гостя.

— Ну, Карп Савельич, давай сволота — я то есть — тебя послушает. В подполе мука была?

— Была. Что ж из того? — Карп Савельевич тяжело задышал. — Теперь и она вместе с домом сгорела.

— А тебе хотелось, чтобы она немцам досталась? А с твоей легкой руки, чтобы они все село за горло схватили, как твой пес этого немца? Очень соответствует. Может, потому ты

и в лес отказался свезти?

Глаза Михеича остро вонзились в глаза гостя. Карп Савельевич отвернулся.

— Гол, как сокол, теперь, — пробормотал он. — Пса верного, и того...

— Да, вот пса жалко, стоящий пес; куда умнее, скажем, хозяина: не прыгнул на меня — за немцем погнался.

Михеич снял с коптилки нагар, побарабанил по столу пальцами и сказал резко, почти крикнул:

— Власть советская не забудет того, что у тебя дом сгорел за общенародное... —

Оглянулся на окно и снизил голос. — Где у тебя сыны. Не забыл? Им на фронте ни тяжелей,

ни легче оттого, цел у тебя дом или погорел. А вот ежели бы ты своей пшеницей немцев откормил, силы бы проклятым прибавил, чтобы они покрепче на твоих сынов накинудись...

Как думаешь, Карп Савельич, какое сынки тебе благодарствие преподнесли бы?

Карп Савельевич опустил глаза.

— Нет, ты соответствующе мне скажи: какое?

— Сыны-то сыны, а куда ж я теперь? Нет ничего, и немцы не помилуют.

— В партизаны иди! — Брови Михеича сдвинулись. — Детишки, чай, по тебе здесь не плачут. Один...

— Где ж их найдешь, партизанов-то? — угрюмо буркнул Карп Савельевич;

Михеич улыбнулся.

— Вот в этом помогу тебе. А пока в лес иди, к Гнилой балке, жди там. Сейчас же иди.

У меня засиживаться нечего. Каждую минуту могут зайти.

Он протянул Карпу Савельевичу руку. Поколебавшись, тот пожал ее и поднялся. У двери обернулся.

— А за «сволоту» прости, Никита Михеич... вгорячах.

— Ладно! Как говорят, бог простит. Напередки только рот по надобности открывай: поесть да умное слово молвить. Оно и соответствует.

— И связался ты с этим делом! — сердито сказала жена, когда захлопнулась за Карпом Савельевичем дверь.

— Не связался, а народ на это дело поставил, — внушительно подчеркнул Михеич. — И партия! Хотя и беспартийный, а все равно — доверием пользуюсь.

Сказанное слово «народ» застряло в голове и не выходило из нее. И вдруг всего его в холодный пот бросило от внезапно пришедшей мысли:

«Сбегу, а немцы в отместку на всем остальном народе отыграются, из-за меня одного могут, как в Покатной...»

— Соответствует максам, — прошептал он и сердцем почувствовал: никуда не уйдет, не может уйти, будет ждать рассвета. Он исподлобья взглянул на жену, настороженно наблюдавшую за ним с полатей. «Сказать или не надо? Завтра сама все узнает. Как лучше?» У него нашлись силы заставить себя улыбнуться.

— Давай-ка, старуха, тряхнем стариной! — и голос не выдал: прозвучал шутливо, легко. — Где-то у тебя там, в чулане, пол-литровочка припрятана?

Старуха слезла с полатей. Под ее массивным телом запищали половицы.

— Что за праздник? Ведь ты хотел...

— Знаю. Хотел дожидаться, когда немцев от нас... На радостях, стало быть... оно и

соответствовало бы, а теперь... Да почему не праздник? Ровно полвека вместе прожили, это ли не праздник? Неси! — повелительно поторопил он, заметив, что жена не очень расположена с ним согласиться.

Вернувшись из чулана с запыленной пол-литровкой, она поставила на стол чашку.

— Две ставь!

— Ни к чему мне, Никитушка, себе побереги... Тебе это в удовольствие, а у меня от нее только боль в голове.

— Ставь!

Вздыхнув, старуха полезла в шкафчик. Михеич до краев налил обе чашки, чокнулся с женой. Она выпила глоточками, морщась, он — залпом.

— Хороша!

Михеич привлек к себе голову старухи и с чувством поцеловал. Растроганная лаской мужа, она всхлипнула.

— Полвека вместе, баба, прожили, — глядя ее седые волосы, дрогнувшим голосом сказал Михеич. — Всякое было... Оно и соответствует: жизнь прожить — не поле перейти. Случалось, и скандалили, а больше, помнится, душа в душу... Детей народили один к одному: поди, украшение в армии — пять сынков!

Из глаз его выкатились слезы.

— Свидеться бы...

— Даст бог, свидимся, — заплакала жена.

— Конечно, свидимся.

Михеич обнял ее крепче и, как в молодости, щекой к щеке прижался. Слезы их перемешались.

— Полвека, говорю, баба, вместе прожили... а теперь... завтра...

Слова застряли в горле.

— Эх-х!.. — вздохнул он шумно и потянулся к поллитровке. Подержав ее в руке, поставил обратно. Облокотился на стол и крепко стиснул ладонями виски.

Мыслимо ли было представить, что найдется в мире сила, способная сломить миллионы людей, живших одним дыханием? И вот немислимое совершается: все рушится, ушли из жизни и тепло и свет. Не только от судьбы вожжи, а и самые обыкновенные — от коня — приходится держать неуверенно и с опаской. Каждую минуту могут вырвать их из твоих рук, смастерить из них петлю да и вздернуть тебя на любых воротах. Скажут: соответствует, хлеб и коней от немецких властей не прячь.

«Оплошку дал давеча, помешал Полкану... Что бы чуть замешкаться, — одним немцем меньше бы стало».

В дверь сеней тихо постучали. Старуха вышла, и Михеич удивился, услышав в сенях ее радостный вскрик.

Жена переступила порог взволнованная, улыбаясь. Следом за ней в избу вошел мужчина. Михеич взгляделся в него и вскочил с лавки.

— Алексей Митрич!..

— Здравствуй, дорогой, — тепло сказал Зимин.

С минуту они стояли молча, потом как-то сразу шагнули друг к другу и расцеловались.

— Жив отряд? — взволнованно спросил Михеич.

— Жив и жить будет.

— А Катерина Ивановна?

— Жива, дорогой, жива.

— Да что ты, Никита? Про Чайку подумать, как про мертвую! — строго укорила

старуха.

Михеич подвел Зимина к столу.

— На радостях, Алексей Митрич, махонькую.

Он вылил из пол-литровки в чашку всю водку. Зимин отпил несколько глотков.

— Спасибо, Никита Михеич, хмельть мне нельзя. — Он закурил. — К тебе я вот по какому делу: все наши запасы погибли. Нужен хлеб и другие продукты.

Старик помрачнел: мысли о «рассвете», заглушённые было радостью встречи, снова поднялись — холодные, неумолимые.

— Что успеем — сделаем... И полушубки еще есть, — сказал он глухо и взялся за картуз.

Зимин тоже встал.

— Давай сначала условимся обо всем. Я ведь не могу ждать твоего возвращения.

— И я, — голос у Михеича сорвался, — ежели не потороплюсь, ничего для вас не сделаю. — Он вытер покотившиеся по морщинистым щекам слезы. — Жизни моей, Алексей Митрич, осталось несколько часов...

Глава восемнадцатая

Филипп и Катя стояли на опушке ожерелковского леса.

— Значит, и мамку?

— Да, Катерина Ивановна, и ее, и Маню, и Марфу мою... всех. Меня тоже было погнали, да потом оставили. Надо полагать — из-за этого... — Он колыхнул деревянной ногой.

— И куда — неизвестно?

— Неизвестно. Фельдфебель, когда погнали, сказал: «Ви ослюшайте — их стрелять».

Это он, сволота, насчет детишек, стало быть, и стариков.

«До каких же пор это будет?» — с тоской подумала Катя.

— А Даша?

— Какая Даша?

— Лобова.

— Разве она не в отряде? — изумился Филипп.

Катя долго молчала, шевеля пальцами правой руки, висевшей у нее на перевязи, потом спросила:

— Значит, не приходила?

— Нет, Катерина Ивановна... Дед так и помер — не дождался.

Она села на пенек, побеленный морозцем. Тяжело было на душе. Так тяжело!..

Дорого досталась победа во вчерашнем бою. Одиннадцать трупов лежат сейчас в глухом лесу по ту сторону болота. Озеров, Нюра Баркова, старик с Лебяжьего хутора, пять колхозниц и три городские комсомолки. Кроме убитых, четырнадцать тяжело раненных, и среди них Саша, женин отец... Лежат они под открытым небом на окровавленных куртках, плащах и слушают жуткие причитания Елены Барковой. Она еще после известия о страшной

смерти отца пролежала в горячке, а теперь окончательно тронулась. Никого не подпускает

к мертвой сестре, баюкает ее на руках, как ребенка, и поет.

Пропала Даша. Неизвестно, куда угнаны мать, Маня. Шурка с Витькой одни за колючей проволокой. До каких же пор боли расти? Где предел?..

Филипп бросил костыль на землю и сел на него.

В темноте леса жалобно, точно плача, кричала какая-то птица. В стороне слышался

настороженный, тоскливый плеск Волги.

— А ты что думаешь делать, Филипп?

— Об этом-то, Катерина Ивановна, все время и размышляю, — в волнении он не заметил, как взял и сильно сжал ее руку. — Уж ежели Васька мой у вас, то я... Возьмите к себе, на что-нито да сгожусь... Не буду помехой.

— Не будешь, — задумчиво проговорила Катя. Она рассказала ему, как найти отряд, и попрощалась. Шла тихо — мешала раненая нога. Да и спешить особенно было незачем: Маруся с Женей должны были, по ее расчетам, прийти на Глашкину поляну не раньше утра.

Лес стоял тоже настороженный, а когда налетал ветер, вокруг поднимался глухой ропот, и деревья как бы сдвигались: мгновение — и ветер со свистом уносился вдаль, а сосны еще долго качали мохнатыми лапами, будто грозясь кому-то.

Мать, Маня, Даша... Видения пережитого вчера страшного боя... Все это чередовалось в мыслях, путалось, потом отодвинулось вглубь, и перед глазами — в который уже раз! — поплыла новая поляна, а на ней — еще не похороненные тела: холодные, неподвижные... Дико было представить и тем более понять, что в этом лесу никогда больше не прозвучат их родные голоса. Казалось, и дыхание и голоса их — вот здесь, вокруг, не ушли из этого смолянистого воздуха.

Выйдя к Ольшанскому большаку, она услышала сбоку шорох и притаилась. Кусты закачались, раздвинулись, и Катя увидела Марусю. Лицо у Кулагиной было забинтовано: во вчерашнем бою пулей царапнуло щеку. В глазах, досиня черных, перемешались и радость и испуг.

— Катюша, там засада! — вскрикнула она и с разбегу бросилась подруге на грудь. — Как я рада, что встретились! Подходим с Женей, смотрим — огоньки. Прислушались — шепчутся... Немцы!

— А Женя?

— На опушке, у Больших Дрогалей она. Мы с ней так договорились: я — здесь, а она — туда: на случай, если бы ты со стороны Больших Дрогалей... Стояла и тряслась, а что, если ты со стороны Жукова пойдешь? Ну, теперь...

— Все хорошо, — договорила за нее Катя, а сама думала: «Кто выдал?»

«Дашка! — обожгла голову догадка. — Попалась, не выдержала пыток и... привела немцев». Сердце ее запротестовало: «Нет! Комсомолка! Односельчанка! Соседка!..»

Но разум холодно приводил свои тяжелые доводы: «Ушла, не вернулась, выданы отряд и Глашкина поляна. А кто в отряде, кроме Зимина, знал, что эта поляна — место встречи с осведомителями? Только Даша... Один раз она ходила туда по ее, катиному, поручению».

— Мучаюсь я, Катюша, — нервно ломая пальцы, прошептала Маруся. — Налет на отряд и засада... Я... Это я, наверное, навела на след, — голос у нее перехватило. — За

мной

свели до Глашкиной, а потом... за тобой...

— У тебя, что же, есть какие-нибудь основания так думать?

— Есть, Катюша. Меня видели, когда я в лес входила... И когда лесом шла, почудилось раз, будто идет за мной кто-то...

В груди Кати жарко всколыхнулись сразу два чувства — радость и стыд: радость за то, что страшное подозрение, нависшее над Дашей, может вот-вот рассеяться, и стыд за то, что положила черное пятно на подругу, не имея прямых доказательств.

Она схватила Марусю за плечи.

— Кто видел тебя?

— Стребулаевы... Тимофей с сыном.

Катя в сомнении покачала головой, и Маруся шумно перевела дыхание, словно свалив с себя громадную тяжесть.

— Думаешь, не могли они?

— Н-нет... За Тимофея почти поручиться готова. Не знаю, как он, если под пытками...

А добровольно... Человек, который так любит землю... Дни и ночи проводил на полях...

Нет, Манечка... А сын его?

— Кривоногий такой... Степкой все зовут.

— Не знаю...

Отвернувшись, Катя раздвинула ветки сосен.

— Ты сказала Жене, зачем вызываю?

— Что велела — сказала.

— Хорошо. Пойдем к ней.

Дуло винтовки зацепилось за сук, и Катя нагнулась. Пройдя вперед, оглянулась на притихшую подругу.

— Что нового слышно? Виделась с кем?

— Нет, не успела. От Жени слышала: вчера, когда мы бились, немцы заставили народ возить к мосту стройматериалы.

— Лошадей привели?

— Нет. На себе.

— Как на себе?..

— На себе — женщины, старики... Запрягают их, как лошадей, и они волокут...

Которые падают, тех пристреливают... Я сама видела на дорогах трупы. На всех — дощечки,

а на дощечках написано: «Слушал партизан».

Катя зажмурилась, крепко-накрепко стиснула зубы, чтобы унять холодную дрожь, затрясшую все тело, но нервы ее, напряженные в последние дни до отказа, не выдержали.

— Зв-ри!.. — Она опустила на землю, закрыла лицо руками.

Маруся смотрела на рыдающую и чувствовала, что готова возненавидеть себя: сколько раз Катя приходила к ней на помощь в самые трудные минуты, почти из рук смерти вырывала, возвращала к жизни, а вот она не может, — беспомощная, стоит перед страшным горем милой подруги, не знает, чем успокоить ее.

Она встала рядом на колени.

— Катюша...

Катя продолжала рыдать.

— Сон я видела один... о Феде... Катя вздрогнула.

— Что Федя? — спросила она, отняв от лица руки.

— Видела, будто мы Певск освобождали... будто... будто из танка вылезает Федя... и спрашивает...

— Ты это сейчас придумала, Маруся?

Ни в одних глазах Маруся не видела столько муки, и у нее нехватило сил сказать неправду.

— Прости, Катюша, я... Прости!

Катя обняла ее.

— Никогда, Марусенька... о Феде... со мной... никогда говорить не надо.

Лес неожиданно посветлел: лучи солнца, как бы раздвигая деревья вширь и вдаль, побежали по мерзлой земле, подернутой проседью инея. Засверкали паутинки; они плыли в

воздухе, висели на деревьях, лежали на земле и были похожи на волосы матери.

«Куда угнали? — думала Катя. — Может быть, тоже лошадей сделали?»

— Черно как вокруг, Манечка, и так холодно, словно в погребке ледяном. Пойдем!

Когда они вошли в лес, примыкающий к полустанку Большие Дрогали, иней остался лишь кое-где в затемненных местах, на солнце земля отпотела и дышала мутным паром, но воздух по-прежнему был очень морозным, спирал дыхание. Женя стояла на опушке и, прильнув к дереву, смотрела на полустанок.

— Як вчера, — промолвила она.

Катя поднесла к глазам бинокль и увидела столпившихся на развалинах полустанка стариков, женщин и подростков. Она медленно повела биноклем, и перед ее глазами поплыли знакомые лица покотнинцев, уваровцев, жуковцев, дрогалинцев... Неподалеку от путевой стрелки увидела хуторян из Лебязьего, тетю Ньюшу, Семена Курагина... Всего на полустанке было, наверное, свыше трехсот человек.

Холодно светились штыки и каски солдат. По левую сторону шлагбаума, в тупике, стояли расцепленные платформы с бочками цемента, кусками рельсов, двутавровыми балками и другими строительными материалами.

— Еще, — тихо сказала Женя. — Подивись, Катюша, на шлях. Вон справа...

Катя повернула бинокль, и рука ее задрожала: к полустанку подходили ожерелковцы.

Шли, пошатываясь, как пьяные, точно под ногами у них была не твердая земля, а что-то неустойчивое, похожее на палубу плывущего корабля. Дышали тяжело — это было видно

по длинным белым язычкам пара, вылетающим из их ртов.

По бокам шли солдаты, впереди — толстый фельдфебель. Он по-бульдожьки двигал челюстями, вероятно командовал, и пар из его рта вылетал отрывисто — облако за облаком. Вот мелькнули и пропали лица Лукерьи Лобовой, Марфы Силовой, Мани... Матери не было видно.

Фельдфебель остановился, вытянул руку в сторону толпы, стоявшей на развалинах полустанка, из его рта вылетели три облачка, и ожерелковцы побежали. Одна женщина упала. Трое солдат вскинули винтовки. Женщина поднялась, обернулась лицом к лесу, и бинокль выпал из катиной руки.

— Мамка!

Глава девятнадцатая

С разбегу ткнувшись в толпу, Василиса Прокофьевна едва удержалась на ногах. По одну сторону от нее стояла незнакомая худая женщина с подвязанной щекой, по другую — тетя Ньюша и Семен Курагин в ватной стеганой куртке, из которой клочьями свисала грязная вата.

Лицо у него было желтое, как лимон, глаза слезились.

«Ишь, как поседела», — машинально отметила Василиса Прокофьевна, взглянув на тетю Ньюшу.

Та заплакала.

— Ванюшку-то моего, милая, танками... И ничего от него не осталось... совсем ничего.

— Потерпим, Ньюша, потерпим, — все еще не в силах отдышаться, прошептала Василиса Прокофьевна. — И ты здесь, Семен?

— Здесь, — проговорил он сквозь дробный стук зубов. — Лихорадка у меня, Прокофьевна... Малярия эта самая... Ведь, поди ж ты, с постели сняли, Егор те за ногу! Возле них остановился фельдфебель с бульдожьим лицом, пригнавший ожерелковцев, и они замолчали.

Василиса Прокофьевна подошла к путевой стрелке, оперлась на нее ладонью — ноги стали дрожать не так сильно.

— ...Теперь, когда немецкие войска почти полностью овладели городом Москва, всякое сопротивление бессмысленно... — дребезжал в рупоре жесткий голос. Василиса Прокофьевна вздрогнула: «Может, насчет Кати что?.. Нет!» — Она отвернулась от рупора и оглядела толпу, отыскивая Маню. Почему-то прежде всего ей бросились в глаза не лица, среди которых было много знакомых, а одежда: платки, шапки

все это было одно рванее другого, словно самых последних нищих со всего света сюда согнали.

«Видать, всех до нитки обобрали, а теперь вот и до души добиваются: тоже, поди, думают из нее лохмотья сделать. Гудят по радио, проклятые, радуются...»

Фельдфебель окинул довольным взглядом всю толпу и, заложив за спину руки, прошел к платформам.

Тетя Ньюша робко приблизилась к Василисе Прокофьевне, тронула ее руку.

— Знаю... нехорошо: работа на немцев хуже, чем грех смертный. А нет сил воспротивиться — за сердце материнское тянут. Ведь это, Прокофьевна, голос у меня такой мужинский, а на самом деле, знаешь, баба я как есть самая обыкновенная. Нет таких сил у меня самой, чтобы двух сразу... на смерть послать.

Она стояла старая и какая-то жалкая, со смятением и страхом, застывшими на лице. Вокруг сочувственно зашумели.

— Можно и детей сохранить и позором не обмараться, — сурово сказала Василиса Прокофьевна.

Она холодно встретила устремленные на нее растерянные взгляды.

— Можно, земляки!

Сказала — и прислушалась. Из низины, скрытой за пригорком, нарастал какой-то странный шум. Вот отчетливо стали слышны крики, женский плач, скрип и дребезжание телег. По толпе, как сухой шелест, пробежал шепот:

— Едут...

Над пригорком показались старик и две женщины, из подмышек старика торчали концы оглоблей, к женщинам тянулись построжки. Пригорок был так крут, что человек и порожняком на него взбирался с трудом; лошади обычно объезжали его стороной, машины брали с разгону. Август Зюсмилх, возглавлявший конвой, забежал вперед и что-то крикнул,

размахивая револьвером. «Тягловая тройка» ниже нагнула головы. Наконец босые ноги людей ступили на пригорок, показался передок телеги, и до толпы донесся окрик лейтенанта:

— Фор!

Старик и женщины бегом кинулись вниз к поднятому шлагбауму, увлекая за собой дребезжащую телегу, а над пригорком появились наклоненные головы новой «тягловой тройки» — двух женщин и подростка лет тринадцати.

Василиса Прокофьевна стояла, точно во сне. Седые волосы опустились на глаза и почти закрыли их.

Женщины и парнишка на четвереньках карабкались на бугор.

— Фор! — крикнул Зюсмилх:. Но парнишка закачался, женщина-«коренник» схватилась за построжки, чтобы устоять — телега тянула назад. Женщина закричала и упала

на колени, за ней — вторая... Передок телеги исчез за бугром, и они все трое, путаясь в веревках, покатались обратно.

Зюсмилх захохотал, потом топнул ногой, и до полустанка долетел его злой и короткий, как собачий лай, выкрик:

— Ауф!

Чтобы лучше видеть, фельдфебель забрался на буфер платформы и, выпрямившись во весь свой громадный рост, с восторженным визгом гулко хлопнул себя ладонями по жирным

ляжкам.

Толпа смотрела: лейтенант целился из револьвера вниз.

— Бабоньки, господи ты боже мой! — воскликнула худая, с подвязанной щекой женщина.

— Айн... цвай... драй... Ауф!

Слышно было, как скрипуче раскачивались голые ветки берез, росших у шлагбаума. Выстрел прозвучал тише, чем ожидала Василиса Прокофьевна, и как-то обыденно, точно щелчок кнута.

Зюсмилх сунул револьвер в кобуру и, заложив за спину руки, стал ходить по пригорку, бросая нетерпеливые взгляды вниз.

Спрыгнув с платформы, фельдфебель подбежал к бугру и что-то сказал, показывая на толпу. Лейтенант кивнул. Самодовольно потирая руки, фельдфебель вернулся к толпе и, мешая исковерканные русские слова с немецкими, сказал, что «русские свиньи», помогающие партизанам, то есть скрывающие, куда угнали лошадей, недостойны жалости, но они, немцы, ради хороших вестей с фронта готовы проявить сегодня немножечко милосердия. Русские, как известно, любят помогать друг другу. Это для них что-то вроде праздника. Лейтенант господин Август Зюсмилх согласен допустить возможность такого праздника. Те, которые волокут телеги, так устали, что не в силах взобраться на бугор.

Пусть

же те, что стоят на перроне, облегчат им труд. Господин лейтенант это разрешает!

Василиса Прокофьевна смотрела в землю, а сердце горело мучительно зло.

— Марш! — услышала она голос фельдфебеля и почувствовала, как молчаливо двинулись люди и вокруг нее стала образовываться пустота.

— Фор!

— Маманька! — тревожно вскрикнула Маня, стоявшая неподалеку от платформы.

Василиса Прокофьевна взглянула на нее и сурово проговорила:

— Иду!

Над платформами кружилась зеленоватая пыль от потревоженных бочек с цементом.

Звякали сбрасываемые наземь куски рельсов. Немцы сами указывали, кому и что нести, Маня и тетя Нюша покатали бочку с цементом. Василисе Прокофьевне и Семену Курагину досталась двутавровая балка. Когда они донесли ее до пригорка, ноги у них дрожали, а плечи

ныли так, словно балка надламывала кости.

— Передохнем, Прокофьевна, — попросил Семен. Они сбросили балку на землю.

Отсюда была видна вся низина: на дороге длинной вереницей растянулись телеги, и в каждую из них по двое и по трое были впряжены колхозники.

Стараясь не смотреть на запряженных, люди взваливали на их телеги балки, рельсы, бочки с цементом. Воздух дрожал от горестных вскриков и плача. У самого пригорка Василиса Прокофьевна увидела свою дочь и тетю Нюшу: Маня стояла возле телеги,

отряхивая с рук цемент, а тетя Ньюша, рухнув в ноги запряженным в эту телегу рыхебородому старику, пожилой женщине и девушке лет семнадцати, просила, глотая слезы:

— Товарищи, сердца на нас не имейте! Вы подневольные, и мы, родимый, мы... За сердце материнское тянут...

— Знаем, — сурово проговорил старик. Присмотревшись к остальным, Василиса Прокофьевна заметила, что большинство запряженных не обращали никакого внимания на то, что клали им на телеги, а смотрели в одну точку. Сначала ей показалось, что все они смотрят на нее.

«Думают, наверно: мать Кати пошла на предательство!» От этой мысли ее, как огнем, охватило, и она почувствовала: нет у нее сил сдержаться, крикнет сейчас всем вот с этого холма — стыдно тому, кто думает, что она, мать Чайки, сможет пойти на предательство.

Да,

пошла строить этот проклятуший мост, и будет его так строить, что немцы не порадуются

на

ее труды. И всех остальных станет призывать к этому — где не доделать, где подломать немножечко, где подрезать. Пойдет первый поезд немецкий и искупается в русской Волге-матушке, узнает, глубока она или мелка. Вот зачем появилась Василиса Волгина на этом пригорке. И не только за этим: надо же ей дочь свою кровную разыскать. Не верит она рассказам немцев, будто убили Чайку во вчерашнем бою... Не может Катя умереть!

Материнское сердце никогда не обманешь, оно чует: здесь она, вот в этих лесах! Немцы

весь

народ сгоняют на стройку, а где весь народ, туда и Катя придет. Непременно придет!

Встретятся они, обнимутся, поговорят, и что голубка ясноглазая присоветует, то она, старуха, и станет делать. А ежели... ежели сердце материнское обманывает... ежели

вправду

заклевали вороны голубку, то тогда узнают, проклятые.

Все это разом полыхнуло у Василисы Прокофьевны и в сердце и в голове.

— Стыдно! — вскрикнула она, вся дрожа, и осеклась, опомнившись: ничего этого нельзя говорить.

Гордо выпрямившись, она шагнула было вперед и опять остановилась, поняв, что не на нее смотрели люди.

Под березой, одиноко росшей перед пригорком, лежал труп парнишки, сорвавшегося с пригорка. Пуля Зюсмильха пробилла ему висок. Из раны все еще текла кровь. Собравшиеся кучкой солдаты с интересом наблюдали за ефрейтором-эсэсовцем, который просовывал голову трупа в петлю, свесившуюся с березы. К груди убитого пригвожден был фанерный лист с надписью. Безуспешно пытаясь совладать с пронизавшей все тело дрожью, Василиса Прокофьевна прочла:

«Запоминайте! Такой капут всем, кто будет слушать партизан».

— Ну? — визгливо раздалось за ее спиной.

Она отшатнулась, и фельдфебель с размаху ударил по лицу Семена.

— Понесем, — простонал тот, с трудом поднявшись с земли.

Первую телегу они прошли, у второй нерешительно остановились.

— Вайтер! — крикнул следивший за ними фельдфебель.

Василиса Прокофьевна не знала этого слова, но уже усвоила: если немцы кричат, значит она делает не то, что требуют.

— Дальше, Семен? — спросила она сквозь зубы.

— Да разве поймешь их, Егор те за ногу? Выходит, может быть, дальше, — глухо, точно из-под земли, отозвался напарник.

Они поравнялись со следующей телегой, и опять их подхлестнул голос фельдфебеля: — Вайтер!

Пять или шесть телег миновали, а в уши продолжало врываться:

— Вайтер! Вайтер!

Это слово выкрикивалось разными голосами, и звучало оно и впереди и сзади: видно, немцы издевались не только над ними.

— Не м-могу б-больше... — со стоном вырвалось у Семена.

Василиса Прокофьевна тоже чувствовала себя обессиленной: балка сползала с плеча, и не было возможности удержать ее.

— Кладите к нам, товарищ Волгина, — услышала женский голос. Слезы мешали ей рассмотреть лицо говорившей. Она шагнула к телеге и упала от удара в спину.

Поднявшись, увидела рядом с собой Августа Зюсмилыха.

— Туда! — Он показал револьвером в сторону пригорка.

Запомнившийся ей рыжебородый старик, женщина и девушка судорожно дергались там и не могли сдвинуть с места телегу, а фельдфебель хлестал их веревкой и взвизгивал:

— Фор!

Солдаты, столпившиеся вокруг телеги, хохотали.

— Туда! — нетерпеливо повторил Зюсмилых.

Василиса Прокофьевна поняла: немец посылает ее толкать телегу. Она поправила платок и побрела, с осторожностью обходя людей, шатавшихся под тяжестью балок, бочонков и ящиков.

Когда подошла к пригорку, телегу уже втаскивали наверх. Человек пятнадцать тянули ее за оглобли, подпирали плечами, руками, грудью. Ноги их скользили и разъезжались в стороны, как на льду.

— Го-го-го-го! — хохотали солдаты.

Василиса Прокофьевна уперлась в задок телеги. Телега ползла назад, а надо было удержать ее во что бы то ни стало, иначе этот старик и женщина с девушкой, запряженные вместо лошадей, опрокинутся и вряд ли уже встанут. Она не только руками, ноющей грудью

подперла телегу: все тело, как холодным дождем, облило, а во рту стало сухо, жарко, в голове — звон... Ноги скользили...

— Го-го-го-го!.. — стоял в ушах хохот солдат.

...Несколько минут втаскивали на пригорок телегу, а они, эти несколько минут, показались Кате долгими часами. У нее занемели руки и ноги, и глазам стало больно, а когда

подкатили к пригорку вторую телегу, будто в сгущающемся тумане мелькнули лица тети Ньюши и Мани, и все стало молочно-белым. Катя опустила запотевший бинокль и, тяжело дыша, отвернулась. Вытирая глаза, ощутила на губах сильный привкус соли. Взглянула на руку, — рука была в крови. Удивилась, но не поняла: почему, когда? Да, это было сейчас... Из груди с горячей болью поднялось и шепотом слетело с губ:

— Мамка ты моя старенькая!..

Женя смотрела куда-то вдаль и рассеянно крошила пальцами кусок коры.

У Маруси лицо было бледное, испуганное. В руке она держала два патрона. Катя взглянула на свою винтовку: затвор был вынут и лежал на земле.

— Это я, Катюша, — призналась Маруся. — Ты все за винтовку хваталась... Я боялась

— выстрелишь, и вынула патроны...

— Нет, не выстрелила бы... Нельзя! — проговорила Катя, чувствуя, что страшно устала вся — и душой и телом. Так устала, что не было ни сил, ни желания пошевелинуться. Хотелось упасть на эту оттаявшую землю, покрытую прелым игольником и мокрыми желтыми листьями, упасть и лежать без движения, без мыслей. Но из низины все так же продолжали доноситься хохот и лающие крики немцев, стоны стариков, рыдания женщин. От всего этого горело сердце, жаркими волнами разливая кровь по телу.

Она медленно повернулась к задумавшейся Жене.

— Все обдумала?

— Да, — сказала та вздрогнув.

— Твердо решилась?

— Да.

— Выдержишь?

Женя взглянула в ее встревоженные синие глаза и светло улыбнулась.

— Коли батьки старые и хворые находят силы держаться, то я... — Она согнула руку в локте и шутливо потрогала мускулы.

Ее решительное «да» тепло отозвалось в душе Кати, и в то же время сердце сдавливала тупая боль: самой бы пойти на такое дело — это легче, а посылать других, особенно тех, которых всем сердцем любишь... Да к тому лее в такие минуты, как сейчас...

Она обняла украинку, и они стояли молча, прислушиваясь к шуму, доносившемуся из низины.

Все больше сгущалась вокруг страшная чернота. Сейчас в эту черноту уйдет Женя и может не вернуться назад, как не вернулись Федя, Танечка... Но так нужно.

— Вот, Женечка, дело такое... Если сорвешься, не только для тебя плохо будет, но и для них, — она указала рукой на низину. — Спасти нужно всех. Понимаешь?.. Все зависит теперь от твоего умения.

— Знаю, — сказала Женя и опять улыбнулась. — Не колобок я... Сама немцам на язык не сяду, щобы песенку запеть. Ну, а як що... — лицо ее стало хмурым, — як не придет до тебя весточка обо мне, все равно знай: Женька до конца держалась, як комсомолка.

Лукавая усмешка мелькнула в ее глазах.

— Не придется тебе, товарищ секретарь, после войны сказать: сохранили мы честь комсомольскую — уся чистенька, кроме одного пятна, а пятно это — Женька Омельченко: треба було до конца держаться, а она, подлюга, на смерть напросилась.

— Ну, зачем о смерти? — поморщилась Катя, Женя простодушно рассмеялась.

— Цэ я так... в порядке официальной части. — И взволнованно добавила: — Не бойся, Чайка, не подведу!

Поняв, что подруга шутила для того, чтобы успокоить ее, Катя растроганно проговорила:

— Я это знаю, Женечка... Не об этом я... Себя береги... Их — тоже...

— Не подведу, — повторила Женя и пошла. — Мамке моей передай: скоро свидимся.

— Гарно.

Кутаясь в шаль, Женя вышла из лесу и зашагала по тропинке. Она была уже недалеко от полустанка, когда ее заметили. Два солдата выскочили из-за телег и побежали ей наперерез. Женя остановилась и дала себя схватить.

Катя, не отрываясь, смотрела на нее в бинокль.

...Первая телега, которую тащила мать, была уже по ту сторону полустанка, а Женя стояла в низине перед офицером и что-то говорила, степенно разводя руками. Офицер

махнул рукой. На несколько минут Катя потеряла подругу в толпе. Потом увидела ее возле самого пригорка, на который втаскивали очередную телегу. Увидела, как Женя с ходу подперла телегу своим сильным плечом, и, опустив бинокль, прошептала:

— Так лучше, чем прямо на мост... безопасней... Взгляд ее упал на окровавленную руку. Она потерла ее, и на руке явственно обозначились следы зубов. Прокус был, очевидно,

глубоким: кровь продолжала сочиться.

Нет, она не выстрелила бы... нельзя, помешала бы Жене... И той пришлось бы сегодня итти прямо на мост: медлить нельзя ни минуты. Об этом все время помнила, а вот как руку себе прокусила и как Маруся патроны вынула — не помнит.

«Нехорошо. Нельзя так забываться...»

Глава двадцатая

Фон Ридлеру стало ясно, что партизаны решили зажать строительство в тиски. Не разгромить отряд — значило все время чувствовать над собой занесенный меч.

— Прочтите последнюю фразу, — приказал он секретарю.

— «Лица, которые будут уличены в том, что могли выполнить приказ и не выполнили, подлежат расстрелу вместе с семьями». — Секретарь обмакнул перо в чернильницу и вопросительно посмотрел на шефа.

Ридлер забарабанил по столу пальцами. После танков и виселиц расстрел вряд ли произведет впечатление. Может быть, следует проводить с этими свиньями политику «кнута

и пряника»? Никто не откусит от «пряника» — пусть: все останется без изменений — ни выигрыш, ни проигрыш. Но если кто соблазнится, то навсегда окажется в его руках, как пескарь на крючке. Каждый русский, на которого сможет он наступить, как на кочку в болоте, не боясь провалиться, — лишний шанс на устойчивость в этой дьявольской местности.

— Перечитайте начало.

Секретарь вытер с лица пот.

— «Приказ номер девятнадцать. Всему русскому населению Певского района. Во время разгрома партизанской банды сбежали ее главари Зимин и Волгина и с ними несколько рядовых партизан. Приказываю: вменить себе в священный долг помочь властям изловить названных бандитских главарей...»

— Стоп! — остановил его Ридлер. — Пишите дальше: «а) Тот, кто укажет на их след, получит 5000 марок и освобождение от принудительных работ как для себя, так и для всей семьи. б) Лица, которые самостоятельно поймают указанных преступников и доставят их в гестапо или передадут местным немецким властям, получают 10 000 марок, дом в любом селении, корову, лошадь, 5 овец и 4 гектара земли на вечное пользование. в) Рядовые партизаны, которые явятся с повинной и укажут, где прячутся их главари, получают помилование, свободу и 5000 марок. г) Лица, которые будут уличены в том, что могли выполнить приказ и не выполнили, подлежат...»

— Расстрелу вместе с семьями? — с угодливой улыбкой спросил секретарь.

Ридлер не ответил. Хрустнув пальцами, он поднялся с кресла и прошелся по кабинету.

С улицы донеслась визгливая песня:

Ах ты, сад, ты, мой сад...

Задержавшись у окна, Ридлер увидел на дороге двух своих офицеров. Один, смеясь, вертел в руке женскую шляпу с пером, другой отстранял от себя бабу с растрепавшимися волосами, а та висла у него на шее и сквозь пьяный хохот визгливо вытягивала:

Сад зелененький...

— Кто эта шлюха?

Секретарь заглянул в окно и тихонько хихикнул:

— Аришка Булкина...

— Привести!

Аришка вошла в кабинет, обеими руками подбивая под шляпу волосы. Она была немного встревожена, но улыбалась.

— Булкина?

— Булкина, ваше превосходительство, господин кавалер.

— Ты мне нужна.

Опухшее от перепоя лицо Аришки оживилось. Она положила шляпу на диван и суетливо принялась раздеваться.

— Нет! — брезгливо закричал Ридлер. Нерешительно держась за пуговицу, Аришка обернулась, глаза — с ухмылкой, нахальные...

— Не извольте беспокойство иметь, господин кавалер... В обиде не останетесь. Я по совести...

— Ты нужна мне для... — холодно проговорил Ридлер и замолчал: он сам еще не знал, для чего она может пригодиться.

В кабинет вошел дежурный офицер.

— Явился староста из Залесского. Белесые брови Ридлера приподнялись.

— Явился, а не привели?

— Сам явился.

— Давайте.

Переступив порог, Михеич снял картуз и низко поклонился.

Ридлер не взглянул на него.

Старик осмотрелся. Все было знакомо здесь: бордовая занавеска с кистями, желтый письменный стол, шкаф с застекленными верхними полками. Только не было теперь в этих стенах привычного задорного шума, не было Чайки... В кресле ее, как у себя дома, развалился надменный немец, а на диване сидела проститутка.

Прошло немало времени, прежде чем Ридлер едва заметным кивком приказал ему подойти. Прищурясь, он холодно разглядывал «мятежного» старосту с ног до головы. В кабинете отчетливо тикали стенные часы, а за спиной у себя Михеич слышал хихиканье Аришки. Он исподлобья взглянул на немца. Тот сидел, словно из камня сделанный. Папироса, торчавшая в углу его рта, потухла, но глаза продолжали сверлить, как бурава. Михеичу все больше становилось не по себе. Он смотрел на свой картуз, а видел эти глаза. Тяжелый взгляд их, казалось, холодно щупал мозг, пытаясь проникнуть в мысли. И от этого ощущения кровь в жилах стыла, ноги тяжелели. Все усилия воли старик сосредоточил на одном: скрыть от этих глаз свое состояние, не дать им копаться в душе, ни о чем не думать. Ладонь его, комкавшая картуз, стала мокрой и холодной.

«Лучше бы уже кричал, как вчерась по телефону», — подумал он тоскливо.

Ридлер поднялся и, задев его плечом, вышел из кабинета.

Михеич вытер платком лицо. «Кого испугался? Макс-ваксу поганого!»

Оттого, что выругался, стало легче. Он брезгливо смерил взглядом Аришку.

— Ты что ж, красавица, так сказать, в чине шлюхи при немцах?

Аришка сердито принялась застегивать пальто.

— Застыдилась, что ли? Оно вроде, это чувство, таким шкурам не соответствует.

— Вот я скажу сейчас, и тебя, старый чорт... — взвизгнула она. — У меня все

знакомство в чинах.

— А чего же взбеленилась? Я ж к тому самому и речь веду. Всех, мол, немцев обслуживаешь или только тех, которые, стало быть, в чинах?

Вошел Ридлер, уселся в кресло и снова вперил свои ледянистые глаза в Михеича. И опять старик слышал только хриплое тиканье часов да взволнованное биение своего сердца. Но робости уже не было.

«Думает насмерть перепугать? Хитер... ну, и мы не льком шиты!»

Он выронил из рук картуз и задрожал весь мелко-мелко. Получилось это у него так естественно, что Ридлер, считавший себя «артистом психологии», поверил испугу и удовлетворенно забарабанил по столу пальцами.

— Почему скрывался? — крикнул он резко.

— Я не скрывался, — намеренно вздрогнув, возразил Михеич. — Меня, ваше благородие, как видите, никто не тащил, самолично перед ваши очи, как перед богом душа, явился.

— Почему в твоём селе собаки... моих офицеров кусают?

— По глупости по собачьей, ваше благородие. Оно и соответствует: пес! Помнится, вот так же мальчишкой залез в чужой погреб молока отведать, а меня не то что там собака — кошка за штаны ухватила.

Ридлер зло стукнул кулаком по столу.

— Зубы заговариваешь! Почему хлеб, мясо и другие продукты собраны не были?

Партизан слушаешь?

Михеич отшатнулся от стола и перекрестился.

— Пронеси бог! Ежели так — к ним бы и сбежал. — Он оглянулся на Аришку и, подойдя к столу вплотную, тихо проговорил: — У партизан мне тоже петля, а с вами, ваше благородие, я думаю, мы столкнёмся.

— Ты... веруешь в бога? — сощурясь, насмешливо спросил Ридлер.

Михеич суетливо расстегнул ворот рубахи.

— В отца и сына и духа святого...

Вынув нательный крест, поцеловал его и, засовывая обратно, проговорил обиженным голосом:

— Насчет того, чтоб зубы заговаривать... Конечно, вам простительно, ваше благородие, — с чужой стороны, порядков наших не знаете. Такой медициной у нас одни старухи занимаются, а старики — нет. Бывает, бьют, конечно, по зубам, оно и соответствует,

а заговаривать — нет!

— Почему не собрал продукты?

— Это самое я и хочу сказать, да... — Михеич указал глазами на Аришку.

— Пошла... и жди, — приказал ей Ридлер. — Когда будешь нужна, позову.

Аришка улыбнулась и, развязно покачивая бедрами, вышла.

Михеич поклонился немцу низко, почти до полу.

— Четырех коней словил, ваше благородие.

— Я не о конях спрашиваю.

С потолка на бумагу упала сонная муха. Ридлер прихлопнул ее ладонью, щелчком сбросил на пол и, взглянув на старика, жестко усмехнулся.

— Коней теперь у меня достаточное количество... на двух ногах... Почему к утру, как я приказал, не собрал продукты?

Михеич вздохнул.

— Ненавидят вас наши люди. Оно и соответствует, ваше благородие: очень уж вы того... сразу круто.

— Ненавидят? — Ридлер расхохотался, встал и язвительно изогнулся в поклоне. — Благодарю вас, господин староста, за открытие. Только... — надменно выпрямившись, он вышел из-за стола, — разрешите доложить...

Встретившись с его взглядом, Михеич по-настоящему испуганно попятился. Немец схватил его за бороду и, намотав ее на пальцы, рванул.

— Мы прибыли сюда не целоваться, не в любовь играть с каждой русской свиньей. Все потемнело в глазах у Михеича, ноги тряслись...

— Простите... не потрафил ежели... суждением своим... мужицким... — со стоном переведя дыхание, он вытер слезы. — Дикий народ у нас, ваше благородие: озлобятся, и что хошь тут — ничего не поделаешь!.. На куски изрежь — ни крошки не дадут.

— Сначала я тебя повешу, а что делать с диким народом — без твоего совета обойдусь, — проговорил Ридлер, сбрасывая с пальцев седые волоски.

«Ничего, значит, не выйдет, — решил Михеич, и его охватило жаром от стыда и ярости за напрасно перенесенные унижения перед этой фашистской гадиной. — Раз уж все одно повесит, хвачу его вот этой пепельницей — фунта два-то, поди, есть в ней...»

Но вспомнилось, как по-родному, тепло обнял его на прощанье Алексей Дмитриевич, подумалось о тяжело раненных, лежащих где-то там, в глухом лесу, о Чайке, которая тоже там, в голоде, и он крепко стиснул зубы.

— Добуду, ваше благородие, все, что требуется, и сам привезу... на этих четырех конях...

— Какой нужен срок?

— Три дня.

— Чтобы ты за этот срок сбежал?

— Сказываю, ваше благородие, не хочу бежать... — угрюмо ответил Михеич. — Это раз, а с другой стороны, чтоб сбежать, трех дней не надо, господин немец, полчаса хватит. Только, — говорю, — некуда мне бежать: партизаны смерть сулят за то, что к вам на службу

пошел. У кого, спрашивается, кроме вас, защиту искать?.. А вы... тоже петлю сулите. — Михеич шумно вздохнул... — Эх, жисть! На одних смотри, на других оглядывайся.

Спохватившись, он добавил:

— Не подумайте чего... Это у нас такая русская присказка.

Ридлер пристально вглядывался в его лицо с окровавленной бородой и не замечал ничего, кроме растерянности и боли. Он указал старосте на диван, а сам сел за стол, вынул

из портсигара папиросу, портсигар протянул старику.

— Покорнейше благодарю... с вашего разрешения, я трубку... — пробормотал Михеич, чувствуя, как радостно заколотилось сердце: «Клюнуло...»

Они закурили.

— Значит, как я понял, хлеб и мясо есть в селе? — вкрадчиво спросил Ридлер. Михеич отрицательно покачал головой.

Ридлер, собравшийся было выпустить «колечко», глотнул дым обратно, закашлялся, а глаза его опять стали ледянистыми.

— В селе нет — в тайниках зарыто, — торопливо сказал Михеич, испугавшись, что с таким трудом налаженный «контакт» лопнет сейчас окончательно.

— А-а... — успокоенно протянул Ридлер. — И ты знаешь, где эти тайники?

— Нет, ваше благородие, но догадываюсь: в лесу! Перед тем как вашей власти прийти, дня за два-три туды и везли и на себе тащили. Кабы знато дело, что старостой быть, выследил бы...

На лице Ридлера вновь проступила настороженность.

— Как же они тебе добровольно дадут, если нам под страхом смерти не дали?

— Всю ночь об этом думал, ваше благородие, глаз не сомкнул! — взволнованно воскликнул Михеич. — Для вас не дадут ни в какую — ни добром, ни под пытками. — Он оглянулся на дверь, точно боясь, не подслушивает ли кто, и снизил голос. — Придется,

ваше

благородие, покривить душой малость — шепну одному-другому: были, мол, у меня партизаны, требуют то-то и то-то, и боле ничего не нужно, ваше благородие: для партизан принесут!

— О! — удивленно вырвалось у Ридлера.

Он долго барабанил пальцами по столу и разглядывал Михеича так, словно только что увидел его.

«Поверит или не поверит?» — тревожно думал старик.

— Расскажи, что есть ты за человек? Только предупреждаю: не обманывать, я проверю.

— Из крестьянства, ваше благородие. Вас, поди, к слову, интересуется, по каким таким соображениям я в старостах? Соответствующий интерес. — Растерев упавшую с бороды на коленку каплю крови, Михеич открыто посмотрел немцу в глаза. — Скажу, ваше

благородие,

прямо, как попу... Человек я без политики, а ежели есть у меня такая политика, так это:

жить

хочется! Меня не трогай, а я, стало быть, и подавно... Жить-то, глядишь, всего ничего осталось: по скорости семь десятков стукнет. Вот и подумалось: хороший хозяин, мол, в чужих собак камнем кинет, а свою, хоть и на цепь посадит, все куском не обнесет. Дай, подумал, пойду в старосты... и попал, выходит, как кур во щи. Был бы рядовым подневольным: что требуют, справил бы, и нет боле ни до чего дела; а теперь, сосед проштрафился — старосте петля... Не скрою, ваше благородие, слезно каюсь, да знаю, нет назад ходу, подписку дал. Назвался, стало быть, груздем — полезай в кузов.

— Не нужно слезно каяться, — дружелюбно сказал Ридлер, доставая из кармана бумажник. — Я лишил твою бороду одиннадцати волос — за каждый волос двадцать марок. — И он протянул Михеичу деньги.

— Покорнейше благодарю, ваше благородие, благодетель мой.

Посмотрев, как староста жадно пересчитывал марки, Ридлер усмехнулся.

— Привезешь продукты, один конь из четырех — твоя полная собственность. Это только начало. Мы хорошо платим тому, кто в службе хорош.

— Ваше благородие, да я!.. — растроганно вскрикнул Михеич. — Да ежели вы меня благодетельствуете на старости да защитой моей будете, — пес ваш верный до конца жизни. А одиннадцать волосиков... Вы насчет этого не держите в душе беспокойствия — ничего это... Меньше шерсти — и голову легче носить.

— Хорошо, хорошо. — Ридлер улыбнулся. — Прошу замечать, кто будет, давать продукты. Кто больше даст, того замечать в первую очередь.

— Будьте покойны, ваше благородие. Еще одно беспокойство к вашей милости: бумажку бы, чтобы нигде не задерживали с подводами.

— Хорошо, иди к секретарю.

Михеич поднял с пола картуз и, низко кланяясь на каждом шагу, попятился к двери.

— Стоп! — крикнул Ридлер. Старик остановился.

— Сейчас ты посмотришь, что бывает с теми, кто плохо выполняет свои обязательства.

Ридлер нажал кнопку звонка и приказал показавшемуся в двери дежурному офицеру:

— В камеру... экскурсантом! — Злобно усмехнувшись, он добавил: — Передайте от моего имени телефонограмму по гарнизонным частям: никаких ограничений, террор

довести

до предела, чтобы стон не смолкал ни на минуту, чтобы все уяснили себе раз и навсегда:

нам

все позволено! Все!..

Глава двадцать первая

Мост строился... Рядом с острыми обломками из бетона, железа и стали над водой поднимались арматурные скелеты новых устоев и арок. Некоторые из них только еще скреплялись, другие обшивались опалубкой.

У левого берега заливали дугообразную арку бетоном. По подмосткам, протянувшимся с берега на берег, бегали женщины, старики и подростки, доставляя строителям тес, пучки арматурных крючков и чаще всего бетон, жидко поблескивавший и шлепками падавший с носилок. Подмостки со скрипом прогибались под ногами. Они были широкие, в пять досок; по трем бегали строители, а по двум остальным, как по бульвару, разгуливали немцы, окриками, кулаками и прикладами винтовок подгоняя тех, кто, по их мнению, бегал недостаточно быстро.

На правом берегу грохотали две бетономешалки, выливая на деревянный настил из опрокидывающихся ковшей жидкое месиво. Позади них чернели танки и двери двух блиндажей. А перед блиндажами и по кромке берега были расставлены пулеметы с таким расчетом, чтобы простреливать и лес и дорогу из Головлева.

Темная стена леса заволакивалась голубоватой дымкой: начинало смеркаться.

У входа в блиндаж — крайний от берега — стояли два офицера: Карл Курц и Генрих Мауэр. Курц был пьян. Покачиваясь, он смотрел на танкистов, которые расположились у берега на груде бревен и резались в карты. Здесь же, похожие на букву «Г», стояли в ряд пять виселиц. Ветер покачивал тела повешенных — пятерых стариков, женщины,

мальчишки

и двух девушек. Они висели лицом к реке, и на земле от них двигались черные тени. У крайней виселицы один конец перекладки был свободен; на нем болталась петля, ожидая очередную жертву.

Ближе к лесу пронзительно визжали пилы. Фрол Кузьмич распиливал бревна на бруски в паре с Клавдией — старшей дочерью тети Ньюши. Пила шла ровно по отмеченной карандашом линии. От пота у него взмокли и борода и усы.

— Подставляй брусок!

Клавдия подняла с земли отпиленный брусок и приткнула его к бревну прямо под зубья пилы. Визг стал как будто веселее. Распиливалось бревно, а заодно поперек бруска, вычерчивалась тонкая щель, как пшеном, посыпанная опилками. Щель дошла почти до середины бруска. Клавдия нерешительно взглянула на старика.

— Дальше, — сказал он хрипло.

— Боязно, Фрол Кузьмич, заметят.

— Дальше!

Бетономешалки умолкли, вероятно засыпали ковши, и до пыльчиков слабо долетал жесткий голос диктора:

— ...задержит хотя бы одного бандита и доставит властям, получит для себя и семьи

гарантию в личной неприкосновенности, награду и свободу от принудительных работ.

— Хватит! — отрывисто бросил Фрол Кузьмич.

Он выдернул пилу и сделал вид, что очень занят осмотром зубьев. Клавдия вытащила из-под кучи срубленных веток банку с жидкой смолой; пугливо озираясь, залила поперечный

надрез. Смола вошла в щель и сверху застыла круглыми клейкими пупырышками. Клавдия растерла их широким мазком, а сверху посыпала опилками. Щели не стало видно, к смолянистому дереву прилипли опилки — вот и все.

— Главпес! — тихо сказал кто-то из пильщиков. В их сторону шел начальник строительства инженер Отто Швальбе, как всегда, гладко выбритый, франтоватый. По знаку Фрола Кузьмича Клавдия взялась за пилу; зубья легли в продольный надпил, и под ритмичный визг поползла вдоль бревна щель — строго по линии, начерченной карандашом. Отто Швальбе замедлил шаг и, понаблюдав за работой пильщиков, прошел дальше. Близо раздался пьяный хохот. Руки у Клавдии задрожали, и пила выгнулась.

— Опять над матерью.

На краю ложбины застрял воз с песком, попав колесом в глубокую яму. Женщины — среди них была и тетя Нюша — выбивались из последних сил и не могли сдвинуть воз с места. Пьяный солдат хлестал их кнутом по головам и плечам. Каска у него съехала на затылок, и ремешок от нее ерзал по подбородку. Он весело орал:

— Шнель!

— Иго-го! — подхватывали столпившиеся возле солдаты. Из-за плеч у них выглядывали дула винтовок с тускло мерцающими штыками.

— Ничего не поделаешь, девка, пили! — сказал Фрол Кузьмич. Левая щека его дергалась от глаза до угла рта, и казалось, что он вот-вот рассмеется. Так стало у него после той ночи, когда на его глазах дочь Грушу вместе с ребенком раздавили немецкие танки. — Не поможешь, пили!

Рядом с ними пилили Марфа Силова и Маня Волгина. Машинально двигая пилой, Маня смотрела на приближающихся подносчиков бревен.

Впереди всех, согнувшись под тяжестью ноши, шли два старика. Следом за ними — Василиса Прокофьевна с Женей и еще три пары.

Они сбросили бревна, подкатили их к пильщикам.

Увидев, что немцев поблизости нет, Василиса Прокофьевна присела отдохнуть, а Женя отстранила Маню и взялась за пилу. Минут пять пилила молча, покусывая губы и вглядываясь в лица.

— Ну, як?..

Пильщики молчали. Грохот бетономешалок стих, и опять отчетливо долетал голос диктора:

— ...Только те, кто низко клонит голову перед государственным флагом Германии, могут рассчитывать на нашу милость. Только те...

Фрол Кузьмич посмотрел назад. Лес стоял за спиной так близко — густой, темный, желанный. Мохнатые ветки сосен раскачивались, точно зазывая и обещая упрятать, укрыть от проклятого вражьего глаза.

Старик с силой потянул пилу на себя.

— Н-нельзя, видишь дела-то, — сказал он Жене. — Ну, допустим, что супостат, как всегда, брешет, запугивает... Я о Москве... допустим, еще не взяли ее. А могут взять? Раньше бы мне кто сказал такое — в рожу дал бы, а сейчас сам думаю: могут! Европу, почитай, всю забрали. Украину, Белоруссию, половину России-матушки... Слышь, и

Ленинград-то теперь в их руках. Чего же мы в лесах делать будем? Сколь они по всему свету

лесов позабирали — и наши заберут. Как хорьков, всех нас из землянок повытаскивают... А потом? Третьего дня сам ихнее радио слушал. Грозят: из какой семьи хоть один в лес сбежит

— всей семье гибель.

Спиленный брусок скатился с бревна. Фрол Кузьмич поднял его и положил на кучу других, многие из которых, как и этот, отмечены были посередине желтыми подтеками смолы.

Выпрямляясь, старик заметил — слушала его не только Женя. Глаза многих пильщиц и пильщиков были устремлены на него с тоской и смутной надеждой, точно он мог указать им,

как сбросить с себя немецкую петлю. На шее и в самом деле было ощущение сдавливающей веревки, перехватившей дыхание. Он рванул себя за ворот рубашки так сильно, что пуговицы отлетели и скатились под бревно.

— Смерти, думаете, боюсь? Мне что смерть?.. Я свой век прожил — внуки у меня... И Ванюшке всего одиннадцатый годок... Им-то пошто, жизни не видя, в могилу сойти? Не век

же на земле дьявольскому царству быть... Опять жизнь солнцем заиграет, а сын и внуки не увидят этого. А почему? Потому, что я, старый чорт, в лес сбежал, шкуру свою битую от немецкой напасти спасти... Вот и судите: можно ли на совесть такое дело принять?

Пильщики сочувственно зашумели.

— Вон ожерелковцы бегали, да пришлось назад под конвоем прибежать. И теперь что-то не очень торопятся, приросли! — сказала старушка из Залесского.

Взгляды всех перекинулись на Маню и Марфу, и те низко опустили головы.

— Не прирастем! — поднявшись с земли, сурово проговорила Василиса Прокофьевна.

— Не прогневайся, Прокофьевна, я тебя не приметил, — смутилась старушка. — Вот грех ведь какой... не приметил.

Василиса Прокофьевна отвернулась от нее и оглядела пильщиков.

— Грех вам на ожерелковцев указывать, земляки. Мы в своей деревне ни одному немцу приюта не дали... И здесь, — она кивнула головой на мост, — не засидимся долго. Зовите меня самым последним словом, ежели не так будет... И вы сбежите, а нет — проклятье вам мое и здесь и в могиле! Это я от чистого сердца, земляки.

Сказала и уставилась взглядом на Фрола Кузьмича. Тот зло крикнул Клавдии:

— Пили!

Завизжали и остальные пилы.

Руки у Фрола Кузьмича дрожали. Он смотрел на брусочек, а видел ее, Василису Прокофьевну, неумолимую, как совесть. Она стояла в двух шагах от него, гневно поджав губы, — седая, суровая, с застывшей мукой в глазах.

— Уйди, Прокофьевна, — простонал он, выпустив пилу. — И вы, ожерелковцы, нам не указ... Вы стены потеряли, а мы... Дочь и внука зараз у меня... Говорю, Прокофьевна, никого ты не лишилась. Не можешь указывать.

— А вам что же, хочется, чтобы я лишилась? — спросила Василиса Прокофьевна не то удивленно, не то озлобившись. — Или, может, вам полегчает, ежели и моего Шурку танками?

Она вплотную подступила к Фролу Кузьмичу, спросила задыхаясь:

— Может, тебе, Фрол Кузьмич, смерть Кати моей желательна?

— Что ты! — побледнел старик. — Грех про меня такое, Прокофьевна!

— Потому и теряете детей, что за стены крепко держитесь, — укорила Василиса Прокофьевна притихших пильщиков. — Дырявая крыша — от дождя не прибежище. Дочь моя, Чайка, никогда плохого вам не желала. О себе не думала, своего гнезда не вила — жила

вашим... Уходите в леса, не мажьте позором душу, чтобы после дети ваши родные вместе

со
всей землей каинами вас не назвали.

Две женщины заплакали.

— Сын остался один... единственный, — чуть слышно проговорил Фрол Кузьмич. Сквозь привычный для слуха строительный шум он расслышал звуки близких шагов. Поглаживая черную бороду и беспокойно оглядывая пильщиков, возле груды готовых брусков остановился Тимофей Стребулаев.

— Побыстрее, земляки, побыстрее. Скорее закончим — скорее отмучаемся.

Фрол Кузьмич вытер локтем мокрое лицо и выпрямился. Коренастый, небольшого роста, он показался Тимофею великаном, медведем, вставшим на дыбы. Дергающееся лицо старика с всклокоченной седой бородой и глазами, горевшими, как угли, было в самом деле страшно. Тимофей оторопело попятился, но наткнулся на бруски. Фрол Кузьмич подошел к нему.

— Иуда Христа за тридцать сребреников продал, а ты, сволочь, за сколько народ?

— Не продавал. Такой же подневольный, как и вы! Заставили работать, и работаю, как и вы.

— Мы пилим, а ты командуешь.

— Не по своей воле, — сказал Тимофей, задержавшись взглядом на Жене, которая, оставив пилу, неторопливо зашагала к насыпи. — Скажут пили — пилить буду; таскай, скажут, бетон на мост — потащу. Все мы под кнутом: не мне бы это говорить, не вам слушать. Вот сын мой Степан... невинно в немецком застенке муку принимает.

— Ты на сына не указывай, сын твой — не малютка; он за себя ответ несет, ты — за себя, — сурово оборвал Фрол Кузьмич. — Выслуживаешься, гадина!

Тимофей пожал плечами и обратился к остальным, приостановившим работу пильщикам:

— Время такое! Нужно всем друг за дружку держаться, а он... — Под смоляными усами шевельнулась улыбка — не то насмешливая, не то грустная. — Старость, понимаю, потом темнота еще наша расейская. Видать, мало нас немец учит... мало.

Но ни на одном лице он не прочел сочувствия своим словам. Пильщики и несколько мальчишек смотрели на него так, точно хотели разорвать глазами. Было ясно: все они на стороне этого старика и считают его, Тимофея, продажной шкурой, предателем.

Лицо у него потемнело, и он сразу как-то обмяк, плечи опустились.

— А если и выслуживаюсь? — Блуждающие глаза его заблестели, а голос осип, точно простуженный. — Не подумали — для чего и кого? В доверие чтобы к немцам войти и вам же через то участь горькую облегчить.

— Врешь! — сказала Василиса Прокофьевна. — Не о народе, подлец, думаешь — о шкуре своей! А нам от подлых рук облегчения не нужно, не требуется.

Разгорячившись, пильщики не заметили, как подошли к ним два немца — ефрейтор и солдат.

— Was ist hier?

Все поспешно схватились за пилы. Ефрейтор обернулся к Тимофею. Тот улыбнулся.

— Господин Ридлер приказал, значит, тех, которые хорошо работают, поощрять. Они, ваше благородие, нынче, — указал он на груды отпиленных брусков, — эвон сколько отмахали. Говорю, могут немножко отдохнуть, а они не хотят: «Скорее, мол, dokonчим — скорее домой».

Ефрейтор, подкрутив тощенькие усы, на одних каблуках повернулся к пильщикам и вытаращил глаза.

— Arbeiten! No! Als Herr Strebulaeff gesagt...1

Но пилы и так уже дружно повизгивали, сыпались на землю крупичатые опилки. Немцы ушли.

— Не враг я земли родной: не будет другого выхода — и умереть за нее сумею, — сказал Тимофей.

Никто не ответил, и Тимофей тяжело вздохнул. Везде так: к какой группе ни подойдет — ни в одних глазах привета. Пройдет мимо — затылком ощущает эту же ненависть. И с немцами не лучше. Для них он такой же пес, как и все, только с поджатым хвостом. Упустили партизан, а он отыскивай... Чорт их знает, где они теперь, партизаны!.. Леса большие: не только отряд — регулярную армию укроют. И отыщешь партизан — не обрадуешься. Степка нашел, указал — и теперь в застенке. Говорят, умышленно в засаду привел. Не могли справиться с отрядом — Степка расплачивается. Хорошо, что еще жизни не лишили... Вот и выходит — между двух огней: с той и другой стороны смерть может хватить нежданно.

«Неужто просчитался?»

— А ну отсюда, пока по кумполу бруском не съездил! — гневно крикнул Фрол Кузьмич.

Нахлобучивая на лоб картуз, Тимофей заметил, что у насыпи вокруг Жени тесно стояли женщины.

Третий день приглядывается он к этой украинке с подозрением: то за одну, то за другую работу берется, — и всегда вокруг нее люди.

Темнело, и в дуновении ветра стал ощущаться крепнущий мороз. Тимофей запахнул полушубок и пошел, одинаково зло глядя и на колхозников и на немцев. Он был уверен, что Ридлер и сам знает, что со стороны Степки не могло быть никакого подвоха, а держит сына

застенке для того, чтобы крепче скрутить по рукам и ногам его, Тимофея Стребулаева.

В первый день, узнав, что сын обошел его, он был так разъярен, что даже злорадствовал: «Так и надо тебе, псу кривоногому, — не будешь в другой раз от отца самостоятельной дороги искать». Потом, когда злоба чуть поостыла, в груди зашевелилось что-то похожее на жалость: как-никак, хоть и кривоногий, а все же сын. Из этого чувства росла обида на немцев.

1 Работать! Ну! Как господин Стребулаев сказал...

«Для них все слишком просто, — подходя к насыпи, подумал он тоскливо. — Привезут на себе люди телеги с грузами, офицеры крикнут: „Стребулаев, чтобы разгрузка быстро... раз... раз... — твоя ответственность! Пошел!“ А никто из них не думает, что народ еле сдерживает ярость, и эта ярость может обрушиться на него одного: немцев все боятся, его

никто, а ненавидят, кажется, больше, чем всех немцев, взятых вместе. Очень простое дело: брусом или лопатой по голове — и все...»

Женщины уже разбрелись и молча кидали лопатами землю, а Женя, нажимая на заступ ногой, говорила:

— Еще бачила, що полы мыла, а цэ ведь не к добру, товарки, а?

«Обыкновенный бабий разговор...» — Тимофей потоптался на месте и закричал:

— Ты что языком треплешь?

Женя улыбнулась:

— Та що в голову придет, дядько Тимохвей.

— Людей от работы отрываешь.

Глаза ее выпучились глупо, как у овцы.

— Та они ж утомляются, дядько Тимохвей. Нехай трошечки отдохнуть.

Тимофей недоверчиво вглядывался в лица женщин. На них лежала непроницаемая окаменелость.

— Говорят, сатана Иуду на землю спустил, и он теперь по Певскому району ходит, — сказала пожилая женщина в желтом платке.

Работавшая рядом с ней старуха покосилась на Тимофея и, вскинув лопату с землей, сурово пообещала:

— Доходится скоро...

Кровь жарко бросилась Тимофею в лицо.

— Не сбивайтесь кучей, вы! — заорал он. — Не велено! Отвечай тут за вас, мать вашу...

Женщина в желтом платке выпрямилась. Заправив под платок выбившиеся на глаза волосы, она посмотрела в сторону села и прошептала:

— Едет!

От села с лязганьем мчался танк.

Карл Курц и Генрих Мауэр заторопились к дороге; бросив карты, танкисты спрыгивали с бревен; от леса бежал начальник строительства.

Тимофей полез на насыпь.

Из остановившегося танка выпрыгнул Макс фон Ридлер и в сопровождении Отто Швальбе и офицеров направился к реке. Тимофей шел за ними, отступя шагов на десять, и мрачно смотрел, как перед гестаповцем вытягивались в струнку солдаты, как суетливее и быстрее начинали работать люди, а лишь тот проходил, все смотрели на него, Тимофея: немцы — пренебрежительно и с насмешкой, русские — брезгливо, с ненавистью. Страх липким холодом охватывал все тело. «Назад бы... Нельзя! Не выпустит Макс...» Две смерти,

и обе тянутся к нему. Тимофей тихо поглаживал бороду, а хотелось вцепиться в нее и в голос, по-волчьи взвыть:

«Влип! Ох, цыганская морда, просчитался!»

Слушая Отто Швальбе, Ридлер похрустывал пальцами: мост восстанавливался слишком медленно.

— Вам виднее, господин фон Ридлер, но я бы порекомендовал... — Швальбе замялся.

— Продолжайте.

— Заменить всю эту шваль. Я полагаю, командование не откажет прислать на такое важное строительство несколько инженерных рот.

— Можете не продолжать.

Швальбе хмуро шевельнул бровями.

— Я не привык так работать, господин фон Ридлер: на каждом шагу беспорядок и бестолковщина. Эти «строители», не говоря уже о том, что больше половины из них неполноценны как рабочая сила, ленивы и глупы. Они не могут работать поцивилизованному, эти дикари!

— Вы прежде бывали в России, господин Швальбе?

— Нет.

— Ну, а я... бывал! Эти дикари, если они захотят, могут работать отлично. Надо уметь заставить! Руки у вас ничем не связаны. Вооруженной силы достаточно. Лучшие мои офицеры предоставлены в ваше распоряжение. Чего же еще не хватает вам?

Они подошли к блиндажам, и Ридлер медленно повел взглядом по виселицам. Со вчерашнего дня повешенных на три прибавилось. Швальбе доложил: мальчишка казнен за то, что путал и разбрасывал арматуру, девушка «нечаянно» обронила охапку готовой арматуры в реку, а старика захватили, когда он разрубал опалубку, в результате бетон выполз и пришлось заливать арку заново, а цемент на исходе.

— И что это по-вашему — неумение или диверсия?

— Я не отрицаю, господии фон Ридлер.

— Следовательно?

Швальбе пожал плечами: если ко всему перечисленному имеются еще и диверсии — это лишний довод за то, что мост в плановые сроки с таким народом не восстановить.

Ридлер повернулся к офицерам и кивнул на виселицы.

— Семьи?

— Расстреляны.

— По строительству объявлено?

Офицеры переглянулись: объявлено не было.

Фон Ридлер раздраженно закурил.

— Расстрелы производятся не для этих... — он указал на виселицы: — им теперь все равно, а для живых. Все должны знать, что мои приказы — не пустые угрозы. Пусть каждый

запомнит: если работает плохо, то этим он подписывает смертный приговор всей своей семье. — Он взглянул на скучающее лицо Генриха Мауэра. — Идите сейчас же в село и передайте на радиоузел. Сегодня, прежде чем разойтись по домам, все эти люди должны услышать про расстрел! Понятно? И чтобы в дальнейшем такая халатность не повторялась!

Офицер козырнул.

Отвернувшись, Ридлер долго смотрел на лес. То, что еще совсем недавно он высмеивал, называя «детской болезнью», начинало захватывать и его: не только лесные массивы, но и каждая рожица невольно в мыслях ассоциировалась с партизанами и заставляла настораживаться. Селения после его «урока» в Покатной стали безопасными, а дороги... Пришлось отказаться от удобства разъезжать по району в открытых машинах. Полковник Корф был ранен среди белого дня, и от него, Макса, смерть была в считанных миллиметрах: пуля просвистела мимо виска, надорвав край уха. Разведывательные рейсы самолетов до сих пор не дали никаких результатов. Партизаны, словно иголка в стогу сена, затерялись в лесу, но каждую ночь они давали о себе знать, и очень чувствительно. Несомненно, и эти диверсии на мосту и это упорство дрожащих от страха людей не без их влияния.

Слова Швальбе о цементе напомнили неприятные минуты, пережитые позавчера в штабе. Генерал-интендант, подписывая наряды, сказал: «Можно подумать, что вы, господин

фон Ридлер, десять мостов строите... Жаль — материалы на ветер летят, очень жаль. Вы с полковником Корфом, как я слышал, красноармейскую часть окружили и уничтожили. Удивляюсь, как после этого вы можете терпеть у себя партизан!» Сказав это, он с подчеркнутым пренебрежением отодвинул наряды к краю стола, а из глаз его, тоже

подчеркнуто, смотрела ехидная насмешка.

«Несомненно, кто-то донес». Ридлер пристально посмотрел на офицеров. Курц все время производил на него впечатление парня более глупого, чем это разрешается полицией. Но, может быть, эта глупость — всего-навсего маска? Теперь весь фокус продвижения к власти состоял в умении в нужный момент выбрать подходящую маску и носить ее с естественной простотой, как собственную кожу. Многие это поняли. Может быть, и Курц? Пошатываясь, Курц смотрел на него, как преданный хозяину пес. Подобострастная и глуповатая улыбка все шире растягивала его губы, а в оловянных глазах не было ничего, кроме водянистости.

«Нет, по-настоящему глуп, — решил Ридлер. — А Генрих Мауэр, кажется, слишком апатичен для такого дела: единственное, что зажигает его глаза живым интересом, — это предсмертные судороги людей. Кто же тогда?»

Ридлер хрустнул пальцами. «Иметь за своей спиной доносчика? Нет, нужно найти его и отправить без пересадки к праотцам. Это не так уже сложно; куда легче, чем доставлять сюда

проклятый цемент».

Мысли опять вернулись к партизанам.

— Листовок... не было?

Мауэр отрицательно покачал головой.

— Ну хорошо, идите, — отпустил его Ридлер и, поморщившись, тяжелым взглядом остановился на Швальбе.

— Мост будет построен в срок и без всяких инженерных рот. С саботажниками борются не отстранением их от работы, — они только и ждут этого. — Он указал на виселицы. — Этот метод правильный, но проводить его надо беспощадно. Лес рядом, и в веревках нет недостатка... Не только за диверсию и открытый саботаж... Половину строителей повесьте, но чтобы вторая половина построила мост в срок. Ясно?

Голос его звучал так резко и властно, что Швальбе вытянулся и стоял, не отнимая руки от виска. Ридлер круто повернулся к стоявшему в отдалении старосте:

— Ну?

Тимофей сдернул с головы картуз.

— Опять насчет сына, господин шеф...

— Сказано раз было: судьба сына в твоих руках, — холодно оборвал Ридлер. — Ты еще ничего не сделал, чтобы заслужить доверие. Советую поторопиться... Как и у всякого человека, у меня бывает конец терпению... Пошел!

Но Тимофей не уходил, растерянно переминаясь с ноги на ногу.

— Ну?

— Другое еще у меня дело... служебное. — Он приблизился к фон Ридлеру и зашептал с жаром, точно в бреду: — Боязно мне, ваше благородие... Все ненавидят, грозят, а о доверии... Какое тут доверие!.. Просьба у меня к вашей милости...

— О деньгах?

— Нет... Пусть постегают меня солдаты на народе... Не взаправду, для показа, — комкая в руках картуз, с тоской пробормотал Тимофей. — Слегка чтобы, ваше благородие...

Губы Ридлера тронула улыбка. Он перевел Курцу просьбу старосты и приказал ее выполнить. Минут через пять тот вернулся с солдатами. Они схватили Тимофея за руки и потащили к насыпи.

Мотористы выключили бетономешалки. Спуская штаны, Тимофей смотрел на

строителей и со слезой кричал:

— За что? За что, спрашиваю? За то, что не могу смотреть, как народ мучается?

Курц толкнул его. Дрожащими голыми коленками Тимофей уперся в холодную землю.

— Сына гноят в застенке, и меня...

Резко свистнул прут, и Тимофей взвыл от неожиданности и боли, а по берегу прокатился смех: смеялись и немцы и народ.

Глава двадцать вторая

На дорогу Филипп вышел как раз во-время: люди толпами шли со строительства.

Он сел на край канавы, положил рядом с собой костыль и растянул мехи гармони.

Широко поплыла по-над полем старинная русская песнь о Волге, «вечно могучей, вечно свободной». Люди останавливались.

Многие знали Филиппа, председателя Ожерелковского сельсовета, но вряд ли кто из них думал, почему он здесь. Смотрели только на его бегающие пальцы и на гармонию.

Слушали... У многих ползли по щекам слезы... Что проходило перед глазами этих истерзанных, еле державшихся на ногах людей? Молодость ли далекая, когда они ходили в обнимку на Волгу и пели, может быть, вот эту самую песню, которую поет сейчас старая,

вся

в царапинах гармони? Может быть, дыханием привольной колхозной жизни на них пахло;

вспомнились смятые, растоптанные мечты — высокие, как голубое летнее небо, и смелые, точно взмахи орлиных крыльев.

Волосы прилипли ко лбу Филиппа. Кончалась одна песня, и он тут же, без отдыха, начинал другую. Гармонию то рыдала, то смеялась. Тяжело вздыхали люди.

«Слишком много вокруг немецкого, Филипп, и люди уходят в себя, чтобы ничего не видеть и не слышать, — сказал ему на прощанье Зимин. — У песни короткий путь к сердцу... Пробуди, разволнуй как следует смятенные души, остальное сделают наши агитаторы. Иди!»

Тяжелые всхлипы и вздохи в толпе говорили о том, что песни дошли до сердца. Но Филипп все играл и играл... Звуки гармони терзали его самого, бередили душу; и думалось, что еще минута — и он не выдержит, уронит голову на мехи гармони и разрыдается. Сквозь слезы оглядывал он толпу. Вон стоит покотнинский колхозник Фрол Кузьмич и рядом с

ним

тетя Ньюша, Марфа... Да, его Марфа, а чуть в стороне от нее — Василиса Прокофьевна.

Вдали мелькнуло знакомое лицо Семена Курагина...

Пальцы онемели; их начинало сводить судорогой. Но это ничего, и боль души ничего: пусть воскрешается и стоит перед глазами помятая немцами жизнь. Пой, гармонию, пой!

Из села выскочила конница. Уверенные, что в толпе — партизанские агитаторы, немцы окружили ее со всех сторон, а несколько всадников во главе с офицером, растолкав конями людей, пробрались в середину. Сначала они удивленно смотрели на Филиппа, не в силах понять это явление и решить, как отнестись к нему. Потом на их лицах проступило любопытство: «Калека, похоже — нищий. Играет и плачет — это забавно: наверное, сильно хочет есть».

Не слезая с коней и переглядываясь, они стали слушать — одобрительно, с ухмылками...

Тяжело дышала толпа. Некоторые искоса взглядывали на немцев. Да, для этих рыжих дьяволов гармонию — неожиданное развлечение, а для них в каждом звуке — Русь, родина! Близкая сердцу родина... Нет сейчас того радостного приволья, о котором поешь ты,

гармонь! Дни теперь измеряются не часами, а годами; и люди умирают при жизни, а по земле продолжают ходить их тени, с потухшими глазами и с сердцами, омертвевшими, как пепел.

Первым, низко наклонив голову и ни на кого не глядя, выбрался из толпы Фрол Кузьмич; за ним — тетя Ньюша; и потом как-то вдруг зашевелилась вся толпа; люди потоком

хлынули на дорогу.

Гармонь продолжала играть. Стиснув зубы, строители убыстряли шаги, изо всех сил стремясь поскорее уйти от терзающих звуков, от самих себя.

Вечер резко сменился ночью, словно камнем упала с облачной выси гигантская птица и распростерла черные крылья над полями и лесами, поглотив остатки тусклого света.

* * *

Маруся Кулагина едва тащилась по дороге: за день она обошла пять мест, где колхозники были заняты на погрузочных работах, грузила вместе со всеми и, улучив момент,

когда не стояли близко немцы, говорила о бегстве в леса.

Впереди серыми пятнами обозначались дома Покатной. Маруся остановилась.

Позавчера она была в этом селе с тремя подругами-партизанками. Все дома обошли — и безрезультатно.

Подумав, пошла задворками, чтобы не попасться на глаза немцам. Вышла из переулка, на углу которого стоял дом Фрола Кузьмича, и, оглядев безлюдную улицу, постучала в калитку.

Фрол Кузьмич молча пропустил ее во двор. В избе было темно. Смутно вырисовывалась подвешенная к потолку пустая люлька. Минька пододвинул Марусе стул. Фрол Кузьмич остался стоять у порога.

— Ну как, товарищ? — взволнованно спросила Маруся. — Поймите, ведь другого выхода у вас нет.

Слышно было, как тонко и заунывно свистел в трубе ветер. Под столом что-то шуршало, — может быть, мышь, может быть, крыса... Маруся поднялась со стула и подошла

к хозяину.

— Никто не обещает вам рай в лесах, скоро зима, — и все же в лесу вам будет в тысячу раз легче. Здесь рабство, понимаете? А там свобода. Здесь каждую минуту вы дрожите за жизнь вот этого мальчика. Шагнете не так — они убьют вас и скажут, что вы шагнули так потому, что послушались партизан, возьмут и расстреляют сына. А там... там вы сможете защищать и себя и его. — Она кивнула на Миньку.

Фрол Кузьмич молчал.

— Вспомните, что вы строите! Мост на Москву! — с мольбой вскрикнула Маруся. — И партизаны не могут разрушить строительство: ведь если они сделают сейчас налет на мост, то немцы расправятся сначала с вами, потом с вашими семьями, как... как уже было у вас...

— Не прогневайтесь, — тихо проговорил Фрол Кузьмич. Он бросил картуз на лавку и прошел в горницу.

Маруся долго стояла у порога — из горницы не доносилось ни звука.

— Товарищ!

Фрол Кузьмич не ответил, и Маруся поняла: надо уходить. Минька проводил ее со двора и запер ворота на засов.

«Вот везде так, в каждой деревне — ни да, ни нет». Она тихо позвала:

— Мальчик!

— Ну! — отозвался со двора Минька.

— Скажи отцу: еще приду.

Оглядываясь в сторону школы, от которой доносились глухие шаги часовых, Маруся подошла к соседнему дому, хотела постучать, но услышала скрип: улицей ехали подводы.

— Шевели ногами, но!

Голос возницы показался Марусе знакомым.

«Уж не Михеич ли? Кажется, он...»

Подводы скрылись в темноте, а по улице с воем пронесся колючий морозный ветер.

Постучав в окно, Маруся оглядела низкое, нахмуренное небо и подумала: «Снег, наверное, пойдет...»

Глава двадцать третья

Михеич еще раз хлестнул лошадь и, не оборачиваясь, прислушался к глухому стуку колес позади себя. Старик был мрачен: последние три дня, казалось, состарили его вдвое. Следом за ним по лесной дороге торопились еще три подводы, нагруженные полушубками, пузатыми мешками и ящиками... На двух подводах, закутавшись в старые шали, сидели две женщины, а на самой последней — парнишка в нагольном полушубке.

Дорога была ухабистая, смерзшаяся, и колеса гремели звонко, словно крупный град по железной крыше. Эта звонкость в морозной тишине леса пугала, заставляя все время быть настороже: по району ходил слух, будто в здешних лесах появились какие-то бандиты — народ грабят.

Вдали, у трех голых берез, дорога загибалась крутым коленом. С Зиминым было условлено, что у этих берез подводы встретит Чайка.

Лес по обочинам дороги стоял молчаливый, точно тоже к чему-то прислушиваясь. У подножий деревьев и в ямах крупичато белел иней. Изредка то с той, то с другой стороны доносились звуки — резкие и короткие, похожие на пощелкивание и треск охваченных пламенем дров. Шел ли кто лесом, или мороз пошаливал, надламывая сухие сучья, — это было трудно понять.

«Ну-ка, ежели не мороз, а они... эти самые бандиты... Выскочат и... ничего не поделаешь — все заберут», — тревожно думал старик.

И вдруг где-то близко раздался свист. Издали донесся ответный.

— Не отставайте! — крикнул Михеич и, натянув на уши шапку, взмахнул кнутом.

Лошадь понесла рысью.

Круто завернув у берез, Михеич увидел: впереди за деревьями мелькнуло что-то черное...

На дорогу вышел Васька. Лоб у него был забинтован, и на лице и в походке стало больше самоуверенности, как у человека, который прочно занял свое место в жизни. За спиной на ремне болталась винтовка.

Засунув руки в карманы расстегнутой куртки и посвистывая, он зашагал навстречу подводам.

— Здорово, отец! Куда путь держишь?

— Не прощались, чего здороваться? — Михеич стегнул лошадь кнутом. — Н-но!

— Отец, обожди, говорю! — крикнул Васька.

— «Оте-ец», — не останавливая лошадь, со злостью передразнил Михеич. — Не припоминаю что-то, вроде и не рожал такого. Запомню, может? Н-но, чорт!

Лошадь рванула еще быстрее, а за ней и остальные подводы во весь опор пронеслись мимо Васьки.

— Вот дурни! Стой, говорю! — закричал он и кинулся вдогонку. Васька с трудом обогнал подводы и снова поравнялся с передней. Михеич замахнулся кнутом.

— Не балуй, чего пристал?

— Да я же знаю, куда вы едете — в зиминский отряд! — переводя дух, сказал Васька. Старик круто остановил лошадь. Лохматые брови его приподнялись, наморщив лоб. Васька рассмеялся.

— У, какой сердитый! У нас на селе бык, и то тише.

— Откуда знаешь, куда едем? — хрипло вырвалось у Михеича.

— Вот те фунт! — обиделся Васька. — Старик ты и есть старик. По обличью нельзя, что ли, определить, что партизан я? Встречать вас вышел.

Подошли возницы с других подвод.

— Не знаю, поверить ли? Говорит — зиминский, а Зимин толковал: сама Катя встренет, — обеспокоенно сказал Михеич.

Залесчане оглядывали Ваську пытливо, с подозрением, и на его лице все сильнее проступала обида. Углы губ опустились.

— Эх вы... тюри! Своего не признали... — укорил он дрогнувшим голосом. — Все им начальство подавай. — и, сверкнув глазами, язвительно передразнил: — «Катя встренет!» А я-то, по-вашему, что же? Вот уйду сейчас — и плутайте по лесу.

Сдвинув шапку, Михеич почесал за ухом.

— Да ты не горячись, — сказал он сердито. — Мы ему питание, одежду везем, а он — нос кверху: «Уйду — и плутайте по лесу».

Лицо Васьки расплылось в улыбке.

— Во-первых, я никуда не уйду... а во-вторых, мы-то для себя, что ли, торчим в лесу? Для вас же. Вот и в расчете. А за питание и одежду, конечно, спасибо и от меня в отдельности и от всего партизанского отряда.

Михеич одобрительно усмехнулся.

— Шустер! — сказал он, покачав головой. — Ладно уж, поверю тебе... Ехать-то по дороге?

— Сейчас мы это организуем, — пообещал Васька. Плутовски поглядывая на залесчан, он вложил в рот два пальца и свистнул.

В той стороне леса, откуда он появился, прозвучал ответный свист, и опять стало тихо. Где-то близко хрустнул сухой сучок. Васька снял с плеча винтовку, щелкнул затвором и спокойно присел на телегу рядом с Михеичем.

У старика опять зашевелились подозрения. «Вроде и соответствует, а там кто ж его знает... могут и бандиты знать о зиминском отряде».

Почувствовав на себе его взгляд, Васька зевнул намеренно громко и прицелился из винтовки на верхушку надломленной сосны.

— Малец! — тихо позвал Михеич. Васька промолчал.

— Сынок, ты и впрямь из зиминского отряда? Не обманываешь?..

Васька прищурился.

— Сы-но-ок?.. Что-то не припоминаю, вроде не рожался от такого. Запомятовал, может?

— Шустер! — проговорил Михеич, поглаживая заиндедевские усы, и в его голосе уже отчетливо прозвучало восхищение. — Зовут-то как?

— Василь Филиппыч, папаша.

— Филиппыч? Ишь ты! И скажешь, к слову, тоже немцев убивал?

Васька смерил его взглядом, как бы желая сказать:

«До седых волос дожил, а такие глупые вопросы задаешь», и пожал плечами.

— Да ты, парень, не обижайся я ведь не с подозрением, а к тому интерес... Многих ли? — допытывался Михеич, поглядывая на его винтовку.

Васька задумчиво сплюнул.

— Во-первых, старик, это государственная тайна. А во-вторых, партизанский отряд — не колхоз, счетовода не держим! Будь в надежде — хлеб недаром едим: что ни день причесываем фрицев под гребеночку.

Он засмеялся.

— А те, что на поляну нападали, долго будут помнить, как к нам в гости ходить.

Понимаешь, какое дело? Мы надвое поделились. Одни с командиром — направо, а другие с Катериной Ивановной и со мной — налево.

Глаза его разгорелись. Он ласково погладил ствол винтовки.

— Поработала винтовочка на все сто!

— Поди, чай, страшно было? — спросила женщина со второй подводды, посмотрев на него с уважением и удивленно, как на какое-то чудо.

— Подумаешь! — пренебрежительно протянул Васька, но тут же потупил глаза и признался: — Немножко, конечно, страшно... Сердце дюже стучало да в волосах будто ветер, а так ничего... Это тогда, а в других боях — вот хотя бы третьего дня...

Он не договорил: за деревьями замелькали тени, и на дорогу выбежали партизаны — человек двадцать. Впереди — Катя, Люба Травкина и Николай Васильев; некоторые были с забинтованными головами, с перевязанными руками.

Михеич спрыгнул с телеги, обнял Катю и поцеловал ее в губы.

— Вот старый хрен! Катю целует, а меня кнутом хотел, — проворчал Васька.

Все рассмеялись.

— Как обещали Лексею Митричу — все привезли. На сто процентов, значит, соответствует обещанию, — не справляясь с охватившим волнением, твердил Михеич.

— Спасибо, родные, — растроганно поблагодарила Катя, — а то у нас совсем голодовка и одежонка... видите, какая?

Михеич критическим взглядом окинул ее серую тужурку, надетую поверх военной гимнастерки.

— Какая это одежонка по зиме! — сказал он хмуро. — И вы тоже... Раньше надо бы дать знак, давно бы в полушубках все были. В лес заворачивать?

— В лес. А я беспокоилась: думала, уж не немцы ли вас?..

Михеич усмехнулся, натянул вожжи.

— Против немцев у меня охранная грамота. До самого Певска соответствует. Вот собрать трудно было. Немцы круглые сутки в селе — над народом потешаются. Потому и задержался. — Огибая три сосны, стоявшие вплотную друг к дружке, как сросшиеся, он тепло взглянул на Катю. — А продовольствие первостатейное. Так и берегли его для вас.

— Это... больше, чем продовольствие, — сказала Катя. — Тяжело, Михеич, в лесу: сегодня одних товарищей не стало, завтра смерть других вырвет... Темно вокруг... И вот,

она кивнула на подводды, — это для нас и свет и тепло. Народ с нами, мы чувствуем это, и силы крепнут...

Михеич кашлянул, провел пальцами по глазам.

— Разве не понимаем! Эх, дочка! Да пусть эти максы-ваксы проклятые на каждом столбу радио повесят и с утра до вечера долбят, чтобы мы им партизан словили! — Он зло сплюнул. — Жизнь отнять, работать заставить — это они могут, на то у них сила. А чтобы

кровь родную предать — нет у Гитлера такой силы и не будет. Ни в жизнь!
Руки его задрожали, и он выпустил вожжи. Васька проворно подхватил их и, дернув, крикнул на остановившуюся лошадь:

— А ну, шагай, пятнастая! Взглянув на него, Михеич улыбнулся.

— Мы для вас, вы для нас — считаться не приходится. Этому меня, старика, Василь...

— Филиппыч, — подсказал Васька.

— ...Василь Филиппыч вразумил.

Катя рассмеялась.

— Он вразумит. — Она ласково дотронулась до головы Васьки. — Хороший парень!

— Хороший, — подтвердил Михеич.

Лес становился все гуще. Сосны стояли безмолвные, а промерзшая земля стучала под колесами.

Кате хотелось расспросить Михеича, что удерживает людей в деревнях. Но по смущенному покашливанию, с которым поглядывал на нее старик, она догадывалась, что

он

сам хочет о чем-то спросить, и терпеливо ждала.

Михеич нахмурил морщинистый лоб, решительно шевельнул бровями.

— Дда... Поручил мне народ передать, что обида-то и на вас, на партизан, есть немалая.

— На нас? — удивилась Катя.

— Да. Я и Алексею Митричу хотел об этом слово свое замолвить, да так получилось — как следует друг дружку не рассмотрели и разошлись. — Он указал кнутом на подводы. — Вот помним о вас, а вы, не в обиду будь сказано, забывать стали про народ.

— Не понимаю, Михеич.

— Понятие тут небольшое надо, — помолчав, все так же хмуро сказал старик. —

Знаем, не сложа руки сидите, а только, Катерина Ивановна, и народ в забытии оставлять не гоже, не соответствует. Говоришь, тяжело в лесу-то? Мы все это знаем, сочувствуем. А нам, дочка, и того тяжелей. Вы тут хоть через радио немножко свет видите, а мы... Весь свет немец заслонил.

Он потер прихваченное морозом ухо и в упор посмотрел на Катю.

— Много для себя мы не просим... В первое-то время вы каждый день для нас сводку печатали, а теперь... Ведь ежели знаем, жива Москва — значит все живо...

Катя молчала.

— Живем и ничего не знаем, что там, около Москвы, — продолжал Михеич.

Васька оглянулся на него.

— А мы? Мы тоже не знаем.

— Нет у нас теперь радио, Михеич, — сказала Катя. — Все немцы во время налета разбили.

— Вот оно что! — Михеич снял зачем-то шапку, покомкал ее в руках и опять надел.

— Извини тогда, Катерина Ивановна, старого. Стало быть, что вы, что мы — в одной темноте.

Он помолчал, вглядываясь в черноту леса.

— А немцы каждый день по своему радио расписывают, как они, дескать, в Москве пируют да парады устраивают.

— Ложь это! — возмущенно сказала Катя.

— Вот и я тоже... — обрадовался Михеич. — Зайдет речь, говорю: ежели бы взяли Москву, куда бы им так с мостом торопиться?

И опять — настороженно:

— А мост-то строится, дочка?

— Строится.

— Глядишь, скоро по нему и поезда пойдут?

— Нет.

— Не пойдут?

— Не пойдут, — убежденно подтвердила Катя.

Михеич схватил обе ее руки, сжал.

— Спасибо, что надежей старика радуешь, а то ведь народ строить-то, строит, а душа болит: кому строит?

Не отнимая у него своих рук, Катя остановилась. Подводы проехали мимо.

— Скажи, Михеич, только всю правду: пошатнулся народ? Начинает верить в немецкие басни?

Михеич растерянно забегал глазами по лицам обступивших его партизан.

— Да ведь, детки, я — в селе, народ — на каторге. Мало видимся.

Он стоял седой, сгорбленный, с ввалившимися щеками. Веки его заморгали, и слезы закапали прямо на землю.

— Катерина Ивановна! — Сам, наверное, не замечая, он смял в кулаке бороду и заговорил часто, задыхающимся голосом: — В аду ведь живем... Ни одного дня не проходит,

чтобы не услышать: того-то удавили, проклятые, такого-то... Эх, да что говорить об этом. В Волгу люди бросаются, — не все, конечно, такие, а есть... Вот уж сами и рассудите, как народу жить-то теперь приходится... Вам виднее...

Он дрожащими пальцами вынул из кармана полушубка большой клетчатый платок.

Из темноты донесся оклик Васьки.

Ничего не сказав на слова Михеича, Катя хмуро пошла вперед.

— Вам виднее, — повторил он, вытирая платком глаза. Подводы стояли, окруженные густым лесом.

— Дальше не проедешь, — заявил Кате Васька. Она поглядела по сторонам и приказала разгружать.

Глава двадцать четвертая

Взошла луна, в тишине раздавались лишь шаги часовых, а Тимофей все сидел на насыпи, не решаясь подняться: немцы «постегали» его со всем усердием. Сердце жгла злая обида-унижение и боль были перенесены зазря: в ушах его до сих пор стояли злорадные выкрики и смех. Ощувив, что волосы становятся холодными и мокрыми, Тимофей приподнял голову. С неба падал снег — первый снег в этом году.

Почему-то снегопад удивил Тимофея. Он протянул ладонь и злобно смотрел, как таяли на ней снежинки.

Жизнь шла своим чередом, как будто не было в ней его, Тимофея, выпоротого, осмеянного, потерявшего под ногами твердую почву.

Подняв втоптаный в землю картуз, он отряхнул его и, стоная сквозь зубы, сполз с насыпи. Решил итти не по дороге, а лесом: короче и меньше вероятности встретиться с кем-либо из земляков. Знал теперь твердо: окажись с ними с глазу на глаз без немцев — не помилуют, разорвут.

Шел, цепляясь за деревья. Снег падал на горячее лицо и тут же таял, стекая, как слезы.

Неподалеку от Ольшанского большака остановился. И сил не было дальше итти, и не хотелось — некуда, незачем... Обхватив рукой сосну и устало прижавшись к ней головой,

ОН

смотрел на черное небо, с которого хлопьями валил снег.

Тимофею казалось, что лес ненавидит его так же, как и люди. И в шуме сосен ему слышалось: «Вот он, пес немецкий, вот он!» Тимофей пожалел, что ушел со строительства: «Пересидеть бы ночь, там все-таки немцы, пулеметы, танки... Вернуться?.. Нет!..»

Чем дальше он стоял, тем становилось страшнее не только шаг сделать — пошевельнуться.

Где-то, кажется в стороне Больших Дрогалей, тяжело ухнуло, будто взорвалось что-то. Тимофей осторожно опустился к подножию сосны и сдавил ладонями голову.

«Просчитался!»

Мыс ли перенесли его в далекую, счастливую пору. О том, что в его жизни была такая пора, никто здесь не знает, кроме Макса — этого дьявола с ледяными глазами.

Снег падал на голову хлопьями, а Тимофей сидел и видел широкую воронежскую степь. Шумела в этой степи пшеница — не колхозная, нет! — его собственная. И убирали

ее

собственные его батраки и соседи, накрепко увязшие у него в долгах, такая же, в сущности, его собственность. Хотел, чтобы в ногах у него валялись и плакали, — валялись и плакали. Хотел, чтобы перед ним плясали, — плясали. Помещиком жил... Всего лишили! Ушел из родных мест, здесь поселился... Место новое, душа старая. Не затихали в ней злоба и ненависть, не смягчалась боль по утраченному. Неужели так и не придет час, когда можно будет расквитаться за все, вернуть прежнее с процентами? Все вокруг говорило ему: нет.

Но

он и знать не хотел этих нет. Ждал, даже больше — только и жил этим ожиданием.

Притаился, перекрасился — хозяйство колхозное доверили, и он так повел его, что другим

в

пример ставили. Сам Зимин при встречах руку первый подавал, к себе на совещания вызывал. Приходил и, где нужно, улыбался, где нужно, хмурился. А душа горела, думалось: «Бомбу сейчас бы, и всех вас к чертовой матери». Не раз и Волгину по всему образцовому хозяйству водил — поля показывал. О хлебе говорил, и такие слова находились — в былое время сам бы заслушался... А душу когти скребли: хотелось вырвать весь этот хлеб с корнями, и пучками стеблей хлестать, хлестать по ее голубоглазому лицу до тех пор, пока руки напрочь не отвалятся. О земле говорил со слезой, но и ее, землю, потому что она колхозная, хотелось... нет, не топтать, а рвать на куски, на клочья, чтобы услышать стон ее... Расшвырять пригоршнями и охапками во все стороны и до неба, чтобы задохнулись

все

ею, чтобы вокруг только одна черная мгла была, а он стоял бы посреди этой мглы и хохотал:

«Так вам, черти, так!» Со стороны могло показаться — чего человеку желать? Начальство уважает, от хуторян — почет. А разве понять со стороны, что от этого уважения его стыд до подошв прожигает? Уважение... Почет... А за что? За то, что хорошо на колхоз батрачит... Он, Тимофей Стребулаев, перед которым, бывало, соседи издали снимали картузы, — батрак!.. Правда, трудодень богато весил и на столе ни в чем недостатка не было, но

каждый

кусочек камнем застревал в горле — не свой, выбатраченный.

В газетах печатали, грамотами оделяли... Благодарил, во весь рот улыбался, порой и слезу смахивал настоящую! А высушивать ее... торопился домой — в единственное место, где мог он по-прежнему оставаться самим собой, Здесь закрывал наглухо ставнями окна,

запирал все двери и бил жену с сыном смертным боем. Бил и, задыхаясь, выкрикивал: «За что? А за то, чтобы знали: жив Тимофей Стребулаев! Жив!..»

Когда немцы перешли границу, сердце радостно заколотилось, но еще была неуверенность: крепкий народ стал — не то, что раньше.

Чем мог, помогал немцам: опаивал лошадей, ломал машины, но с показной стороны работал образцово: береженого бог бережет. А вот когда залпы немецких орудий стали слышны на хуторе, неуверенность сразу пропала, и он широко перекрестился: «Пришел час мой!» Дождаться, пока закончатся бои в районе, нехватило терпения. Приказав жене

достать

праздничные рубаху, брюки и сапоги, он оделся, растроганно поцеловал свою глупую бабу, похлопал Степку по плечу и пошел к немцам.

Это и было промахом.

Смутная тревога на этот счет зародилась в первый же день «работы» на строительстве, а вчера, и особенно во время порки, будто в зеркало на свою судьбу заглянул: просчитался! Годы ждал терпеливо и умно, а теперь сразу все перечеркнул. Не в старосты надо было выскакивать, а еще хитрее — уйти в себя и ждать... Месяц, два, а может, и три... покуда немцы с Москвой разделаются. А сейчас какая от них защита, ежели они и себя-то как следует обезопасить не могут: из-за каждого дерева в них стреляют... Нет защиты, а «земляки»... не пощадят, по глазам видно — убьют... Не завтра, так послезавтра, не через неделю, так через две... И не придется насладиться былым счастьем, по которому, кажется, душа до дыр изныла. А ведь он не стар и крепок. Долгие годы бы прожил... еще, пожалуй, столько, сколько позади осталось.

Близко заскрипел снег. Тимофей вздрогнул: прямо на него шли два парня в красноармейских шинелях и с винтовками.

«Даст бог, не увидят», — подумал он, дрожащими пальцами вытаскивая из кармана полушубка револьвер, но глаза его ослепил свет электрофонарика, а в уши, казалось, сама смерть толкнулась заплетающимся с сипотой голосом:

— Кто будешь?

— Человек.

— Мы тоже человеки.

Второй визгливо расхохотался, и Тимофей понял, что «чело́веки» были пьяны. Они подошли к нему совсем близко. У длинного, освещавшего его фонариком, губа была заячья, лицо немолодое, а второй, прицеливавшийся из винтовки, — совсем мальчишка.

— Партизаны, что ли?

Парень с заячьей губой выдался вперед.

— Спрячь игрушку-то!

Тимофей крепче сжал рукоятку револьвера.

— Игрушка не мешает. Без игрушки теперь в лесу нельзя. У вас — длинные, а у меня

— коротенькая, — сказал он, обдумывая, что за люди и как войти к ним в доверие. —

Выпить бы, ребята... Не найдется?

— Свой, значит. Простоват... Ваша водка, моя глотка, а похмелье пополам, — спотыкаясь в словах, сострил молодой, а другой коротко приказал:

— Раздевайся!

Не выпуская револьвера, Тимофей нерешительно взялся за верхнюю пуговицу.

— Мы вас научим, сволочей, как на немцев работать! — весело добавил парень с заячьей губой. — Дотла раздевайся!

Тимофей опустил на колени.

— Помилуйте, товарищи!

— Что ты мне за кум, чтобы миловать? Раздевайся, а то грохнем и мертвого разденем.

— Ведь я не по доброй воле, товарищи, как все... Я... Меня вся партия хорошо знает — и товарищ Лексей Митрич Зимин и товарищ Катерина Ивановна Волгина.

Слезы мешали ему говорить, а в голове металась мысль: «Конец. Не видать былого — не порадоваться... Чуяла душа — не надо бы уходить со строительства, а уж итти — так дорогами: ведь крестьяне в домах теперь, а на дорогах и на улицах — ни души. Ох, господи!

Опять просчитался!»

Парни переглянулись.

— С Зиминым и Волгиной знакомство водишь? — обрадовался парень с заячьей губой. — Такая птица для нас интересна... Кто такой? — спросил он резко.

— Стребулаев я... Тимофей.

— Стребулаев? — В голосе парня послышалось удивление. — Откуда ты?

— Из Красного Полесья.

— Гляди-кось! А у тебя сына Степана нет? Тимофей обмер, хотел сказать: «Нет», да мелькнула мысль: «Бесполезно. Раз себя назвал, то отречься от сына — подать повод думать,

что вместе отряд выслеживал».

— Есть. У немцев в застенке... Муку за народную долю принимает.

— Гляди-кось! — Почесав за ухом, парень с заячьей губой сказал второму: — Дай, Витька, пусть хлебнет.

— Закусить, миляга, снежком придется, — засмеялся Витька, вытаскивая из кармана бутылку.

— Ничего. — Тимофей отпил несколько глотков и вернул бутылку. — Хорошо, что повстречались, а то одному в лесу — тоска.

Парень с заячьей губой усмехнулся.

— Здесь людей много.

— Каких?

— Разных. Например, зиминцы.

— А вы?

— Мы-то... — Парень замялся.

— Мы — «смотря по обстоятельству», как наш командир говорит, — подхватил Витька. — Компания — смажь подметки, по паспорту — дри-та-та.

— Вроде и так, — подтвердил парень с заячьей губой. А Витька, осмелев, хлопнул Тимофея по плечу.

— Живем, миляга, малиной. И немцы знают, а ягодки не рвут. Лесным социализмом живем: «Гоп со смыком — это буду я!..» Стало быть, отец Степана?

— Да, — тверже ответил Тимофей. А изумление росло: «Что все это значит?»

По лицу парня с заячьей губой расплылась пьяная улыбка.

— В таком разе — Христос воскрес!

Он облапил Тимофея, слюняво поцеловал и совсем расчувствовался.

— Витька! Пусть еще пьет... Кровяк!.. Мы, папаша, специалисты первой марки: хошь — по мокрому делу, хошь — по сухому, и тебя обучим.

Он сунул бутылку Тимофею.

— Пей! Н-ничего, слышь, не п-пожалую. Пей, говорю, дерьма этого у нас много!

Тимофей выпил. Парень с заячьей губой поболтал остатки, запрокинул голову и

присосался к горлышку. Пока он пил, из темноты вышел еще один человек в красноармейской шинели. Тимофей попятился: перед ним стоял Степка. «Как же звать-то теперь его, чорта?» — мелькнуло в голове, а сын, словно прочитав его мысль, усмехнулся и подсказал:

— Степан Тимофеевич, тятя.

— Степан Тимофеевич, — машинально повторил Тимофей. — Кто же ты здесь? — он покосился на Витьку. — Блатной, что ли?

Переминаясь на кривых ногах, Степка засмеялся:

— Командир особого отряда, тятя.

— Так... — ошеломленно произнес Тимофей и больше не знал, что говорить. В лицо от Степки пахло сильным водочным перегаром. — Где водку-то берете?

— С деревьев капает, — сказал Витька.

Степка подошел к отцу так близко, что они — сын стоял на кочке — почти уперлись глазами друг в друга.

«Мои глаза у него», — удивленно отметил Тимофей.

«Все такие же глазищи, волчьи, — подумал Степка. — А может, кокнуть его сейчас — и все... Хозяйство целехоньким ко мне переплывет, без споров».

Кто-то вдали крикнул, раздался резкий свист, и не успел Тимофей оглянуться, как остался один. Вокруг был настороженный лес, под ногами — белая земля, над головой — черное небо, продолжавшее сыпать хлопья снега.

Да правда ли все это было — бандиты, водка, Степка в красноармейской шинели?

Может, померещилось? Перед деревьями стоял на коленях! А водка?

«С деревьев капает», — вспомнились слова Витьки.

Тимофей повел взглядом — ветки сосен качались, и с них, точно капая, падал снег.

«Господи! Уж не с ума ли схожу?»

— Глаза его расширились, и все тело сковало холодом, как до встречи с бандитами. А душу вновь охватило предчувствие: «Убьют! не завтра — так послезавтра, через неделю».

В той стороне, куда убежали бандиты и Степка, слышался женский крик о помощи.

Грохнул выстрел, второй, третий. Крик оборвался. Тимофей стоял ни жив ни мертв.

Выстрелы в его сознании отозвались так, будто это по нему стреляли. Он снял полушубок, накинул его на голову и побежал с единственной мыслью — поскорее выбраться из леса.

На большаке перевел дух, оглянулся вокруг, и волосы зашевелились сильнее: дороги почти не видно было за полосами падающего снега, а по обе ее стороны черными стенами стояли сосны и злорадно шумели: «Вот он! Вот он!» Там, в лесу, хоть за деревом можно было притаиться, а здесь он на открытом месте, и за каждым из этих деревьев мог стоять

кто-

нибудь из «тех». Тусклый свет упал ему под ноги. Тимофей взглянул на небо: оно было сплошь черным, и в этой черноте сквозь снегопад светила луна.

Тимофею подумалось: может быть, это сам бог захотел взглянуть на него, Тимофея Стребулаева, продавшегося немцам? Нестерпимо душно стало. «За что! За какие грехи? Господи! Я же только жизнь старую вернуть хочу!..»

Черный, мокрый, с запрокинутой головой, он самому себе казался сейчас похожим на загнанного волка.

«Глаз» в небе становился все меньше и меньше и, наконец, исчез совсем. Стало еще темнее.

Тимофей хотел пойти — ноги не двигались. «А что, ежели покаяться перед ними?» — мелькнула у него мысль. Это было похоже на выход и осуществиться могло несложно.

Шепнет старухе Кулагиной, чтобы передала дочери: у Тимофея Стребулаева к отряду дело большой важности. Устроят встречу с Зиминым или Волгиной, и он скажет: так, мол, и так, получил от немца такое-то предложение и для виду дал согласие, чтобы себя спасти и партизанам быть полезным... на случай, ежели немцы настоящих предателей будут подсылать. Да вот народ не понял, и на каждом шагу его, Тимофея, смерть ждет, как

какого-нибудь поганого немецкого пса... Что, мол, присоветуете — оставаться на таком положении

или сбежать? Только, ежели остаться, пусть подпольщики ваши скажут на мосту: не пес он. Пусть не доверяют — стерпит, но чтобы угрожать перестали. Поверят, конечно, Зимин и Волгина сделают так, а он будет умнее: чтобы предать кого раньше, чем в России утихомирится все, — ни боже мой! А немцев в это время тоже за нос можно водить: нет, мол, ничего о партизанах не говорят — не знаю, стало быть... Юля так между немцами и партизанами, глядишь — и проживет, дождетсЯ своего часа.

Тимофей совсем было повеселел от этих мыслей, но в памяти резко прозвучал голос Ридлера: «Ты еще ничего не сделал, чтобы заслужить доверие. Советую поторопиться». Вспомнилась камера пыток, в которой он побывал «экскурсантом», и опять по спине

пополз мороз, заставивший кожу коробиться, словно бересту под огнем.

«Нет выхода... Просчитался! Не те, так другие убьют! А, чорт!»

Он стиснул кулаки и зашагал. С левой стороны большака донеслись голоса и скрип колес. Тимофей кинулся направо, свалился в какую-то яму и затаился в ней, боясь вздохнуть.

На большак выехали четыре пустые телеги. Передней лошадьЮ правил Васька. Михеич, обе залесские женщины и парнишка в нагольном полушубке, окруженные партизанами, шли позади телег.

Осмотревшись, Михеич глубоко вздохнул:

— Теперь... попрощаемся, детки.

В густой метелице зашумели взволнованные голоса, послышались звуки поцелуев. Обнявшись с Катей, Михеич долго вглядывался в ее лицо. Губы его шевельнулись, видимо он хотел что-то спросить, но, раздумав, отвел глаза в сторону.

— Ишь, сколько снегу-то... И за какие-то два-три часа. Зима!

— Зима... — повторила за ним Катя.

Михеич ласково провел по рукавам новенького полушубка, складно сидевшего на ней.

— Носи! Теплый!.. Баба, пока шила, сколь раз наказывала: смотри, Никита, чтобы ей самолично... Совсем было запамятовал — на вороту-то, с внутренней стороны, меточка — две буквы: «Д» и «Ч» — «Дорогой Чайке», стало быть. Оно и соответствует.

— Спасибо, — прошептала Катя.

— Вторую партию, живы будем, через неделю привезем. — Михеич опустил руки и решительно проговорил: — Ну, ладно... Вяжите, Катерина Ивановна...

Вместе с ним на дорогу легли обе женщины и парнишка. Партизаны обступили их, торопливо снимая с себя ремни, кушаки и платки.

Михеича связывали Люба Травкина и Николай Васильев. Скручивая ему кушаком руки и силась подавить слезы, Люба попросила:

— Передай, Никита Михеич, что говорила, матери. Поцелуй ее за меня и скажи....

— Поцелую. — Михеич скосил глаза на Николая Васильева, стягивавшего ему ремнем ноги. — Туже тyani, чтобы по-настоящему... И полушубок-то порвите.

Люба рванула рукав полушубка, раздирая его по шву.

— Может, на телеги их, товарищи? — обеспокоенно оказала Катя. — Кто знает, сколько времени придется пролежать...

— Не соответствует, — сурово возразил Михеич.

— Это правда, «на соответствует»: могут заподозрить, — согласилась Катя.

— Не замерзнем, — успокоил ее паренек. Он лежал уже со связанными руками и жадно смотрел на пальцы Веруньки Никоновой, свертывавшей для него цыгарку. — Скоро светать станет, а здесь на строительство ходят.

Над Михеичем склонился Васька с большим платком.

— Прощай, Василь Филиппыч, прощай, сынок, — любовно сказал старик.

— Ну, зачем «прощай»? — Голос Васьки дрогнул. — Свидимся, чай. Я тебе, отец, рот...

— Заткни, милый.

Васька принялся заталкивать ему конец платка в рот, но старик замотал головой и, выплюнув платок, повернул голову к Николаю Васильеву:

— Сделай одолжение, молодой человек... по носу вдарь...

Николай отшатнулся. Михеич обежал взглядом темные, обсыпанные снегом фигуры партизан.

— Он у меня слабый, чуть — и кровь. Партизаны не двигались.

— Эх, вы! — сердито вырвалось у Михеича. — Партизаны тоже мне!..

Он перевалился на живот, оттолкнулся грудью от земли и с силой упал лицом в снег.

— Вот теперь ничего, — сказал он глухо, — соответствует. Затыкай, Василь Филиппыч.

— Не м-могу... — В голосе Васьки прозвенели злые слезы. — Не буду...

Николай взял у него платок и опустил на колени возле Михеича. Катя села рядом.

Пока Николай заталкивал платок, она гладила старика по лицу.

«Вот он, этот старый человек, гордо когда-то говоривший: „Судьба — это я!“ — лежит на своей земле, связанный по рукам и ногам, с окровавленным лицом...»

Слезы подступали к горлу, душили.

— Потерпи, Никита Михеич. А мы, клянусь тебе в этом, сделаем все, что в человеческих силах, чтобы... Не будет народ под немцами!

Михеич беспокойно заворочался, что-то промычал в платок. Она поцеловала его в лоб и быстро поднялась.

Партизаны выпрягли лошадей, Катя насторожилась: издали слышался гул моторов.

«Танки!..»

— Скорее... телеги поперек, а их к краю, — приказала она, и сама схватила Михеича подмышки. По всему телу прошел холодок от мысли, что, уйди они минутой раньше, эти танки, грохот которых приближался, расплющили бы своими гусеницами залесчан.

Угоняя впереди себя лошадей, партизаны скрылись за деревьями. Катя, прильнув к сосне, видела, как из-за крутого поворота большака вылетели два танка. Передний, подмяв под себя две телеги, пустил луч яркого света и остановился.

Из люка выпрыгнул Макс фон Ридлер.

Сердце Кати вспыхнуло яростью. Вот он — палач ее народа и убийца Феди. Она схватилась за плечо — винтовки не было. Вспомнила: когда тащила Михеича, положила винтовку на землю. От досады едва удержала стон и оглянулась: позади была непроглядная темнота, товарищи дожидались шагах в ста; шепотом позвать — не услышат, а крикнуть — нельзя.

Из люка второго танка вылезли солдаты.

Ридлер был зол. Он ехал с места крушения поезда, пущенного под откос партизанами.

Погиб весь цемент, который с таким трудом удалось достать в интендантстве.

Строительству

угрожал срыв. Подойдя к связанным, он узнал Михеича и приказал всех развязать.

Михеич тяжело поднялся, провел рукой по окровавленному лицу.

— Что здесь было? — холодно спросил Ридлер. Старик яростно погрозил кулаком в сторону леса.

— Партизаны!.. — вскрикнул он хрипло. — И коней, ваше благородие, сукины дети... угнали... Коней!

— Давно это было?

— Да уж и не знаю, думается — век лежим.

«Как умно держится», — с невольным восхищением подумала Катя.

Затрещали ветки. Из темноты леса мчался один из четырех коней, угнанных партизанами, — белый, с черными «яблоками» на боках. Он пронесся мимо Кати так близко,

что ее обдало ветром, и вылетел на большак.

— Вот один! — радостно закричал Михеич.

Он подскочил к коню и схватил за уздечку. Потрепав гриву, провел ладонью вдоль всей спины, и конь затих, опустив морду ему на плечо.

Ридлер сказал что-то отрывистое, и солдат, стоявший рядом с Михеичем, вырвал у старика уздечку и вспрыгнул на коня. Конь заржал и понесся по большаку с явным намерением сбросить с себя непрошенного седока.

— Ваше благородие! — вскрикнул Михеич. — Вы обещали...

— Я обещал, когда ты продукты привезешь.

— Привезу. Провалиться мне на этом месте, ежели не соберу еще раз честь честью. — Михеич перекрестился.

— Тогда и коня получишь, — насмешливо сказал Ридлер. — А за битую морду... — Он вынул из кармана пачку бумажных денег, отделил две бумажки и швырнул их к ногам Михеича.

Благодаря и кланяясь, Михеич поднял деньги.

Ридлер покосился на лес. «Если прибежал конь, то за ним могут появиться и партизаны, а встретиться с ними здесь...»

Он круто повернулся к своему танку; солдаты услужливо приподняли крышку.

Михеич, как бы застыв, смотрел вслед лязгающим машинам, пока они не скрылись, потом скомкал в кулаке немецкие марки, швырнул их и вымыл снегом руки.

— Ведмюкин выкладок!.. Пошли! — сказал он односельчанам.

Большак опустел. Немного обождав, Тимофей вылез из ямы.

— С ними... Только возле них мне теперь держаться. Господи, не осуди! — прошептал он.

Нашарив на снегу брошенные марки, Тимофей осветил их спичкой. Сквозь зубы процедил:

— Не жирно платят за битую морду.

До рассвета было еще далеко. Тимофей сунул в карман деньги и повернул обратно.

Глава двадцать пятая

Снегопад приостановился лишь под утро. Снег мягко и пухло укрыл в лесу землю. Не стало ни мелких ямок, ни тропинок, и Зимин, чтобы не заплутаться, ориентировался на

запомнившиеся ему деревья и полянки.

Тяжело было у него на душе: действительность оказалась куда мрачнее, чем он ожидал. Немцы неплохо пользовались тем, что в отряде не стало радиоприемника. С утра до вечера передают они ложные сообщения о падении Москвы, напоминают об Одессе, сравнивают бои за оба эти города. И чтобы легче ввести в заблуждение, передают об Одессе так, как это сообщалось в свое время в советской печати. Говоря о стремительности и непобедимости немецких армий, они напоминают, как быстро, в одну ночь, была форсирована Волга в Певском районе. Слушают люди и думают: про Москву они ничего не знают, что там, а насчет Одессы — правда. Точно так же и советские газеты писали... И насчет форсирования Волги — на их глазах это было, — правда, в одну ночь и почти без боя...

И в смятенные души истерзанных людей просачивается гнусный яд немецкой лжи.

Люди с отчаянием оглядываются вокруг; кто бы опроверг? Чуть свет выбегают они на улицу,

смотрят на ворота, на заборы — нет ли советских сводок, которые прежде почти каждую ночь расклеивали партизаны. Нет сводок, но вместо них стали появляться «беженки» из Москвы. Заходят они по ночам в дома, якобы в поисках пристанища, и с рыданиями рассказывают, как разрушают немцы Москву-матушку.

Зимин заметил, что кое у кого и из партизан стала появляться повышенная нервозность.

«Неизвестность — и отсюда все остальное, — думал он, шагая по скрипучему снегу. — Рассеять ее, вырвать народ из темноты. Но как это сделать? Не голые слова, а факты, факты нужны! Нужно, чтобы все эти истерзанные люди каждый день узнавали новые подробности о том, как растут и крепнут силы Красной Армии, как их братья и сестры за линией фронта дни и ночи проводят в самоотверженном труде, приближая час освобождения, и что час

этот

наступит... Да, это! Именно это!.. А для этого нужно, чтобы была связь с Москвой и через нее со всем народом».

Впереди раздался окрик.

— Свой! — вздрогнув, отозвался Зимин, удивленный тем, что так быстро пришел к поляне. Перед ним вырос Карп Савельевич — погорелец из Залесского. Поздоровались.

— Чайка вернулась?

— Так точно, товарищ командир, с час назад. Миновав еще двух патрульных, Зимин услышал стук топоров, визг пил и голоса. За деревьями белел сруб. Возле него суетились партизаны и партизанки — строили баню. Некоторые были в новых полушубках.

«Карп Савельевич ничего не сказал — значит с Михеичем все благополучно», — подумал Зимин, остановившись и с удовольствием прислушиваясь к строительному шуму.

В

морозном воздухе стук топоров разносился с каким-то задором. Лихо взвизгивали пилы; голоса звучали весело. От всей стройки веяло радостным неправдоподобием — точно и не лютовала вокруг фашистская смерть.

«После войны подамся в невропатологи и всем своим пациентам буду прописывать: кому топор, кому пилу. Великолепное средство для укрепления нервов!.. — пошутил он, в душе очень довольный этой своей мыслью — занимать партизан трудом в свободное от боевых дел время. — Хорошо, ребятки, хорошо. Бодрость духа — это полпобеды...

Понадобится — на каждого по баньке построим — не повредит. А неизвестность! Гмм...

конечно, так дальше продолжаться не может. Нужно достать приемник, хотя бы и пришлось

для этого сделать налет на певский радиоузел».

— А ну, дружно... Еще раз! — донесся со стройки го-лог Николая Васильева.

Высокая сосна закачалась и с треском рухнула, взметнув вихрь снежинок.

Голоса Кати не было слышно. Зимин взглянул на светлеющее небо. На востоке оно было серое, с бледной голубизной и чуть розоватое над верхушками деревьев, а ближе к западу — плыли облачка, похожие на грязные пласты ваты.

«Часов семь, наверное», — определил он и пошел к поляне.

В воздухе кружились редкие снежинки. Они лениво спускались на качающиеся ветки, на заснеженную землю и на головы Васьки и Ванюши Кузнецова, лепивших рядом с землянкой снежную бабу. Мальчишки раскраснелись. У Васьки за поясом торчал топор: вероятно, только что прибежал со стройки или собрался туда. Он увлеченно отделявал щепкой на круглом комке снега «скулы» и приговаривал:

— Ты, Ваня, обожди, встань в сторону. Лицо сделать — это тебе не фрица шлепнуть.

Фриц как ни сдохнет, это все равно, лишь бы сдох, а лицо изобразить — серьезное дело.

Тут

надо, чтобы все шарики в голове работали, как пулемет... Вот смотри!

— Катя в землянке?

Васька быстро обернулся и спрятал руки, смущенный тем, что Зимин застал его за явно ребяческим делом.

— Там, товарищ командир. А мы вот, — он кивнул на улыбающегося Ванюшку, — игрушки все в голове, чего с него взять! Увидел снег, товарищ командир отряда, обрадовался, захотелось бабу смастерить, а руки, как крюки, — вот и возись с ним, показывай!

Зимин, засмеявшись, толкнул дверь.

В земляной нише чадила коптилка, бросая желтоватый свет на лица спящих партизан.

Их было немного: часть из тех, что ходили с Катей встречать Михеича, и раненые. Катя лежала на верхней наре, устремив широко открытые глаза на печку, которая была сложена только вчера и, как следует еще не просохнув, дымила.

Подтянувшись на руках, Зимин сел на край нар, возле катиных ног, и долго смотрел на ее потемневшее лицо.

— Не нравишься ты мне за последние дни, Чайка.

— Я сама себе не нравлюсь, Зимин, — не отрывая взгляда от печки, устало отозвалась Катя. — Вот хочется заснуть — и не могу. Только глаза прикроются — в мыслях Михеич... В ушах голос его стоит: «В Волгу люди бросаются». И не могу заснуть.

Зимин ласково провел ладонью по ее руке.

— Слышишь, как наши строители расшумелись? Пойдем поупражняемся, повалим парочку сосен.

— Не хочется...

— Заодно и о Михеиче расскажешь и о делах поговорим. Проверено, что обман с «налетом» не раскрыт?

Катя кивнула.

— Хорошо. Пойдем, расскажешь все поподробнее. Он уперся ладонями о нары, намереваясь прыгнуть.

— Я здесь расскажу, — остановила его Катя. — Ну, о «налете», что ж... Здесь все, к счастью, благополучно обошлось — немцы поверили... Я о другом хочу... С Михеичем разговаривала. Понимаешь, он правду сказал: теперь и они и мы в одной темноте. Что там сейчас, под Москвой? Тревожно на душе... Мы вот задерживаем восстановление моста,

время придет — взорвем его, через свой район поезда не пропустим. А другие районы пропускают. Я тебе говорила: на линии Великие Луки — Ржев уже восстановлено движение.

Что, если не удержится Москва, ведь тогда... Я хочу просить тебя... — Она села, умоляюще вскинув на него глаза. — Отпусти меня!

— Отпусти-ить?

— Да. Я перейду линию фронта, разужнаю все там и пойду по селам, расскажу им все, что сама видела и слышала.

Зимин молчал. Мысль была неплохая, пожалуй, лучше той, на которой он сам остановился. Налет на певский радиоузел связан с громадным риском, а рация... Ведь ее и

от

своих можно принести. Только не Катя должна пойти.

Не понимая его молчания, Катя побледнела.

— Ты не подумай чего, отец. У меня...

На нарах зашевелились. В другом конце землянки приподнялась забинтованная голова Саши, но Катя этого не заметила, по лицу ее от волнения красные пятна пошли.

— Знаю — будет конец проклятым, только вот, понимаешь, душно, словно воздуха меньше стало... Отпустишь?

Зимин покачал головой.

— Тебя отпустить не могу.

С улицы донеслись взволнованные крики. Дверь землянки распахнулась, в ней показалась радостная физиономия Васьки.

— Самолет с красными звездами! «У-2»!

Зимин и Катя в одно время соскочили с нар. Пробудилась вся землянка. Саша — он только вчера начал ходить, опираясь о стенки землянки, — спрыгнул на пол, как здоровый, и, сунув ноги в чьи-то калоши, побежал в одних трусах к двери. Зоя заплакала от обиды:

она

не могла подняться.

На поляне было ослепительно светло, снег искрился.

От бани на поляну выбегали партизаны. Впереди, махая шапкой, бежал Николай Васильев.

Ветер трепал воротничок катиной голубой кофточки. От мороза обнаженные руки посинели, покрылись пупырышками, но Катя не чувствовала холода.

— Родные! — закричала Катя и, спохватившись, умолкла: разве может человеческий голос долететь с земли до пилота?

Самолет приветственно покачал крыльями, сделал круг над поляной, и тут же будто стая белых птиц отделилась от него и закружилась в воздухе. С криком: «Листовки!» партизаны кинулись в лес.

— Иди оденься! — ласково обратился Зимин к Кате. Глазами, полными благодарных слез, напряженно следя за падающими листовками и за самолетом, она улыбнулась:

— Ничего, отец, ничего...

Самолет с гулом взмыл к облакам и там, в вышине, еще раз покачав крыльями, поплыл дальше, на запад.

«Пролетел бы над всеми деревнями и селами района, чтобы все увидели эти краснозвездные крылья», — подумала Катя.

— Есть! — донесся из лесу голос Любы Травкиной.

— Есть! — прозвенел в другом месте голос Васьки.

Крики, точно ауканье грибников, раздавались со всех сторон.

Первым на поляну прибежал Васька. В руке он держал брошюру, еще две торчали у него из кармана.

— Сталин!

— Что — Сталин? — в один голос вырвалось у Зимина и Кати.

Васька помахал брошюрой. С левой страницы, как только Катя развернула брошюру, на нее глянуло до мельчайших черточек знакомое и такое родное лица вождя. Она торопливо

прочла вслух:

— «Доклад председателя Государственного Комитета Обороны товарища И. В. Сталина на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1941 года...»

Глаза жадно побежали по тексту.

Поляна быстро заполнилась партизанами... Поднявшийся ветер стряхивал с веток снег, шевелил его на земле и мелкой пылью швырял на застывшую в безмолвии толпу.

— «Великобритания,

Соединенные

Штаты

Америки

и

Советский

Союз

объединились...»

Не слышно было и шагов часовых, лишь сосны шумели, и, врываясь в их глухой шум, взволнованным голосом Кати звенели над поляной слова вождя — его призыв:

— «...истребить всех немцев до единого, пробравшихся на территорию нашей Родины в качестве ее оккупантов».

* * *

К вечеру в лесу разыгралась метелица. Через дымоход в землянку влетало протяжное завывание ветра.

— Потеплее оденься — выюжит, — говорил Зимин, с суровой ласковостью оглядывая Катю, по-деревенски покрывшуюся серой шалью.

Катя, чуть улыбнувшись, стащила с нар подаренный Михеичем полушубок.

— Куда теплее!

Партизаны тесно стояли в проходе, сидели и полулежали на нарах. Коптилка сумрачно освещала лица подруг. Все были взволнованы, но по-разному: Люба хмурилась, на лицах

Зои

и Веруньки Никоновой бледностью разлилась тревога, а у Нины Васильевой, стоявшей с братом возле самой двери, глаза смотрели восторженно, и на них поблескивали слезы.

Васька взглядывал на Катю исподлобья и грыз ногти.

Заметив, что крючок у ворота ее полушубка остался незастегнутым, Зимин застегнул.

Катя, растроганная, пожалала ему руку.

— До свиданья, товарищи. Долго, наверное, не увидимся.

Поднялся шум.

— Лучше бы кто другой, Катюша. Я, например... — сказал Николай Васильев, когда дошла до него очередь прощаться. — Немцы — звери, а ты одна... в звериное логово...

— Ничего, — ответила она рассеянно.

...По земле крутилась белая пыль. Одинокая березка, росшая у входа в землянку, пригибалась к земле голыми сучьями.

Зимин взглянул на мутное черное небо, на котором точно в открывшемся окне, сверкнули две звездочки и, замигав, погасли.

«Не могла переждать до завтра. Упрямая!» — подумал он с неудовольствием и, шагнув вперед, крикнул:

— Катя! Зря не рискуй! Слышишь? Будет опасность — уходи.

— Хорошо, — сквозь подвывание ветра долетел да партизан голос Кати.

Полураздетые, они тесной толпой стояли у входа в землянку, не обращая внимания на вихрящуюся мглу.

Часть третья

КАТИНА НОЧЬ

Глава первая

«Молния», подвешенная к потолку, ровно освещала блиндаж. Пол был застлан ковром, три стены сплошь закрыты картами, планами и диспозиционными схемами, а на четвертой, под портретом Гитлера, висела большая карта, еще свежо пахнувшая краской: план Москвы.

Возле этой стены за массивным письменным столом сидел генерал-интендант, слегка сутуловатый и сухопарый; голос его бесстрастно, точно диктуя, передавал содержание последнего приказа фюрера, начисто отвергавшего советы командования повременить со вторым наступлением на Москву до того, как будут восстановлены и обезопасены магистрали хотя бы в самом ближайшем тылу, а войска успеют одеться по-зимнему, но часто

постукивавшие по столу пальцы выдавали сильную нервозность.

— Вы себе ясно представляете обстановку, господин фон Ридлер? — спросил генерал, вдруг резко повысив голос и в упор взглянув на него.

Ридлер сидел в расстегнутом меховом полупальто, небрежно привалившись к спинке кресла и вытянув ноги, обутые в новенькие бурки. С лица его медленно сходило выражение ошеломленности.

Почему он решил, что «все кончено»? Глупо! Ведь в том, что мост и наполовину не отстроен, нет никакой трагедии. Наступление продлится не один день, — может быть, месяц,

два, — а война, как спорт: выигрывает в ней тот, кто приходит к финишу. У Берлина нет и не

будет никаких оснований поставить ему в вину запоздалый старт. Фюреру не терпится, фюрер готов дать за Москву «любую цену» — пожалуйста! Но он, Ридлер, не станет составной частью этой «любой цены».

Заметив скользнувшую по его губам улыбку, генерал яростно смял в кулаке какую-то бумажку.

— Если бы дело шло только об одном мосте, — чорт с ним, полбеды... Мы поверили вашим обещаниям. Понимаете? Поверили! И большую часть боеприпасов и техники адресовали на вашу магистраль. Перекинуть все эти грузы на другие магистрали — это...

Вы понимаете, чем это пахнет?

Ридлер пожал плечами.

— Свои обязательства я выполняю, ваше превосходительство, — сказал он холодно. — А наступление... Ни я, ни вы не предполагали, что оно начнется так скоро, не правда ли?

Генерал поднялся так стремительно, что от крестов, заколыхавшихся на его груди, по блиндажу пронесся легкий звон.

— Я с самого начала был против экспериментов в полосе, непосредственно примыкающей к фронту. На войне нужны действия, а не эксперименты, солдаты, а не фокусники!

Он сдернул с вешалки доху и, залезая в нее, подошел вплотную к Ридлеру, неторопливо надевавшему перчатки.

— Какие у вас гарантии, что этот мост будет вообще построен?

— Гарантия — мое слово, ваше превосходительство! Я считаю это вполне достаточным.

Генерал оторопело вытаращил глаза, не зная, как понять — издевается над ним этот Гимmlеровец или говорит серьезно.

Ридлер усмехнулся, достал из кармана телеграфный бланк, заполненный подслеповатыми буквами, и передал, генералу. Тот хотел швырнуть бумажку, не читая, но, увидев подпись, вздрогнул и поднес ее к глазам.

«Господину фон Ридлеру. Телеграмму вашу получил, с ее содержанием ознакомил фюрера. Передаю его привет и благодарность за ваш труд. Вы совершенно правы: Советская Россия не составляет исключения. Внедрение нового порядка в ней — такое же реальное и несложное дело, как и в других странах... Восстановлением моста и магистрали силами русских в тяжелой обстановке прифронтового района вы докажете дуракам, которые жалуются, что у них в глубоком тылу непокорное население: дело не в населении, а в тех, кто управляет. В средствах не церемоньтесь. Ваше примерное рвение не оставим без соответствующей награды. Буду в России, заеду к вам. Ожидайте в первых числах декабря. Хайль Гитлер!

Гимmlер».

— Хорошо, я прикажу, чтобы вам дали все, в чем вы нуждаетесь, — с трудом проговорил генерал.

Вероятно, он хотел сказать еще что-то, но дверь блиндажа распахнулась, и долговязый офицер, просунув голову, крикнул:

— Фельдмаршал Браухич!

Ридлер взглянул на генерала насмешливо, с дерзким вызовом.

— Все, что мне нужно, ваше превосходительство, я перечислил в смете.

Он поклонился и вышел.

На поле, окутанном вечерними сумерками, квадратами и прямоугольниками выстроились пехота и кавалерия. По дороге шли белые танки, белые орудия и белые автомашины, нагруженные снарядами. Небо гудело от патрулирующих самолетов. В проходах между квадратами и прямоугольниками войск продвигались штабные автомашины; в передней во весь рост, с поднятой рукой, стоял Браухич, только что прилетевший из ставки в сопровождении генерала Гудериана.

— Nach Moskau! Heil Hitler!2 — взрывами, пьяно катилось по полю.

Ридлер подошел к офицерам, столпившимся на бугре, неподалеку от блиндажа генерал-интенданта.

Скептически оглядывая поле, грузный полковник говорил адъютанту командующего:

— Солдаты раздеты — это один факт. Солдаты не отдохнули — другой факт. За спиной у нас чорт знает что — это третий факт. А подъем, о котором вы, господин адъютант,

говорите, — это водка!

— Если поточнее выразиться, господин оберет, — не водка, а «три дня».

Ридлер улыбнулся: он знал, какой смысл содержала в себе эти слова, — по всем дивизиям, как он слышал, было объявлено: Москва на три дня отдается в полное распоряжение армии — каждый солдат сможет взять там все, что ему понравится.

Чувствуя, как у него раздуваются ноздри, точно у коня, который, наконец, вырвался из тесного стойла на простор, и, конечно, не для того, чтобы позволить кому-либо взнудать себя, Ридлер полной грудью вобрал в себя воздух и по-хозяйски широко повел взглядом. Веселые, хищно разгоревшиеся глаза его выхватывали из строгих квадратов солдатские головы, покрытые платками и шальями, женские горжетки, смятые ремнями от винтовок и автоматов, дырявые, растоптанные сапоги... Снижая боеспособность армии, все это, конечно, оттянет день победы и даст ему нужное время, чтобы управиться с мостом. Вдали гулко прокатился отзвук мощного оружейного залпа. Опять и опять... На мгновение замерло все — ни единой команды, ни малейшего движения: все смотрели в сторону леса, над которым зловещей тучей поднялась лохматая грива дыма.

— Началось! — восторженно прошептал адъютант командующего.

Ридлер взглянул на часы — пора было спешить на аэродром.

Часом позже он летел уже над своим районом.

Редкие снежинки липли к окну самолета. Становилось заметно теплее. Мотор гудел ровно, убаюкивающе. Ридлер, улыбаясь, протирал запотевшее стекло. Воздух вокруг самолета был сумрачный, вверху плыла сгущенная темнота, а далеко внизу белым холстом мелькала земля — головлевский пустырь. Вот разлитым чернильным морем закружился

лес,

и опять белая земля, и на ней рядами темные дома, похожие на игрушечные ящички: кажется, Уваровка. В каждом из этих ящичков притаились люди, послушные его воле. Свыше двух суток не был он здесь, но знает, где и что делается. Все здесь в его власти. Захочет — и в несколько минут не станет ни этих ящичков, ни притаившихся в них одеревеневших от страха людей. Но он не сделает этого: они нужны ему, как лестница к вершине карьеры. По их согнутым спинам он сделает разбег для старта на Москву. «Пусть живут!»

Неожиданно резко качнуло, и Ридлер увидел, как темное море леса вдруг накренилось и стремительно ринулось кверху: самолет шел на посадку.

Выпрыгнув из кабины, Ридлер удивленно свистнул: с крыльев самолета капало, и воздух был по-весеннему теплым.

«Как быстро все меняется в этой славянской стране!» — улыбнулся он и зашагал к танку, стоявшему метрах в ста от посадочной площадки, а в голове почему-то шумно плыло одно слово: «Меняется, меняется, меняется...»

2 На Москву! Да здравствует Гитлер!

И вдруг, остановившись, он хлопнул себя по лбу: «Зачем выжидать? Такое дважды не повторяется... Реально ли? — мелькнуло сомнение, но Ридлер тут же откинул его, — А почему бы и нет? Мост отстроен наполовину, и затрачено на это две недели. Почему же на вторую половину расходовать времени больше? На строительстве все идет хорошо. Медленно? Ну и что же? Медленно — это не значит нереально. Медленно — значит надо ускорить. Надо заставить, чтобы каждый человек работал, как сто чертей! Сдохнет

половина

— пожалуйста! Для того и ведется война, чтобы другие народы освободили землю для немцев. Пусть дохнут, лишь бы остальные к приезду Гимmlера восстановили мост и

магистраль».

Хрустнув пальцами, он заторопился к танку.

Танк помчался быстро, грохоча и лязгая.

«Да, только так: первый поезд пройдет по мосту на глазах у Гиммлера, и вагоны будут нагружены... Да, да, теплыми вещами и продуктами! И то и другое отберу у крестьян! Как? Пустое. Начну с этого залесского старосты».

Настроение поднималось с каждым мгновением, и мысли стали складываться, как стихи.

Поднимаясь по лестнице, Ридлер весело повторял про себя:

Узнает меня Берлин,

Узнает, чорт побери!

И признает право мое на власть,

Признает, чорт побери!

Сидевшие в канцелярии офицеры при его появлении оборвали какой-то крупный разговор, и на всех лицах явно отразилось замешательство.

Ридлер вопросительно посмотрел на секретаря.

— Ваше приказание, господин шеф, выяснить, что было сброшено третьего дня советским самолетом, выполнено. Фельдфебель Гутнер нашел в лесу брошюру с докладом Сталина. Она у вас на столе, господин шеф.

По тому, как секретарь упорно избегал встречи с его взглядом, Ридлер заподозрил, что тот что-то не договорил.

— И это... все? А у вас такой вид, точно вы собираетесь угостить меня траурной речью.

— Да, то есть нет, но... Со строительства сбежали девяносто три человека.

— Что-о?

— Все из Уваровки.

Ридлер подскочил к нему, тяжело задыхался.

— Семьи арестованы?

Секретарь побледнел сильнее и отрицательно покачал головой.

— Почему?

— Нет семей, господин шеф. Вся Уваровка пустая. Вероятно, я думаю, в лес сбежали.

— Та-ак.

Ридлер гулко прикрыл за собой дверь кабинета, но тут же распахнул ее:

— Полковника Корфа!

Когда полковник вошел в кабинет, Ридлер сидел за столом и, стиснув ладонями виски, читал брошюру. Корф присел на диван. Он догадывался, что Ридлер вызвал его по поводу происшествия в Уваровке, и, зная, что тот отнесется к этому далеко не безразлично, постарался придать лицу выражение большой взволнованности. Самого его бегство уваровцев мало беспокоило — хотя бы все русские сквозь землю провалились, он от этого только выиграл бы: меньше опасного элемента, больше покоя. Но эту мысль он совсем не намеревался высказывать. После отправки секретного рапорта, искажавшего итоги боя с партизанами, он чувствовал себя в полной зависимости от гестаповца и старался не обострять с ним отношений. Только по этому соображению, думая доставить Ридлеру приятное, он отдал приказ об аресте начальника уваровского гарнизона и сейчас ждал удобного момента, чтобы сообщить об этом.

— По-нят-но... — Поднявшись, Ридлер швырнул брошюру на пол, намеренно наступил на нее и подошел к окну. Какой-то внутренний голос подсказывал ему, что между этой

брошюрой и бегством населения из Уваровки — прямая связь.

— Знаете, господин оберет, что произошло в Уваровке?

— Да. Слышал.

— Слышали? — ледяным тоном переспросил Ридлер. — На кой чорт вы здесь находитесь, господин оберет? Объясните мне это, пожалуйста.

Корф гневно встал.

— Есть грань, господин фон Ридлер, за которой фамильярность переходит... — Он хотел сказать «в наглость», но сдержался и зажевал губами. — Не говоря уже ни о чем прочем, мой возраст... Я требую уважения к моему чину.

Ридлер злобно рассмеялся ему в лицо.

— Заслужите сначала! Чему вы своих солдат учите? Спать? Ведь в Уваровке большой гарнизон. Как же могло все население исчезнуть неизвестно куда? Я требую объяснения, слышите? Когда бунт проходит так организованно — это верный признак, что им руководят.

Бегство уваровцев — партизанское дело.

Подняв брошюру, он затряс ею перед лицом полковника.

— Видите?

Зазвонил телефон, и Ридлер снял трубку:

— Слушаю.

— Это из Больших Дрогалей, — раздался в трубке взволнованный голос. — Говорит начальник гарнизона. Мы накрыли большое подпольное собрание русских.

— Задержали?

Голос начальника гарнизона торопливо сообщил, что задержать никого не удалось. Одного солдата русские изрубили топором, другого тяжело ранили в голову тупым предметом. Двух женщин и старика солдаты пристрелили, остальные успели убежать.

— Оцепили село? — нетерпеливо спросил Ридлер.

— Так точно, господин фон Ридлер. Жду ваших распоряжений; — ответил голос в трубке.

— Хорошо. Сейчас выезжаю.

Положив трубку, Ридлер приказал Корфу немедленно послать войска в Большие Дрогали и вышел из кабинета. Офицеры, находившиеся в канцелярии, испуганно вытянулись.

— Здесь не клуб и не гостиница, господа офицеры, — проговорил он, с подчеркнутой жесткостью произнося слова. — Идите каждый на свое место, и если... если у кого-либо из вас повторится «уваровская история», тот будет иметь дело со мной.

В дверях обернулся и сказал секретарю:

— Немедленно свяжитесь со Степаном Стребулаевым! Пусть явится сюда.

— Слушаюсь, — поспешно ответил секретарь.

Капель уже не падала с крыш. Лужи на дороге покрылись коркой льда, а над крыльцом свесились сосульки. Они казались отлитыми из зеленоватого стекла. В лицо Ридлера пахнуло

резким морозным ветром. «Да, чертовски быстро меняется здесь все!»

От чувства, с которым он наблюдал войска, двигавшиеся на Москву, ничего не осталось: в грудь проник холодок, порождая какое-то странное состояние неуверенности, словно реальность всего окружающего бралась под сомнение.

Ридлер поморщился.

«Советский патриотизм...», «Крепость советского тыла...», «Единство советского

народа с большевистской партией...» Когда ехал в Россию, он смеялся над этими и другими,

как он их называл, химерическими понятиями. Тогда многое казалось простым и ясным. Думалось, что страх — великий регулятор, перед которым все живое падает ниц, стираются разные понятия и, как излишний хлам, отбрасываются идеологии. Но советская действительность вносит теперь в это «простое и ясное» свои коррективы, делая все сложным и непонятным. Страх? Разве мало страху было им нагнано на этих русских? Казалось, в них не оставалось ни искры воли, ни капли сопротивления — послушный тягловый скот... Девяносто три человека! И в такой решающий момент!.. Но главное не в этом. Очевидно, бегство уваровцев — только начало: подпольное собрание в Больших Дрогалих — прямое тому подтверждение. А это означает, что никакого раболепия здесь не было, — показное смирение, выжидание... Но если так — выходит, что все свои расчеты он строил на зыбком песке.

Сердце обожгла злоба, и он выругался.

«Главное — не теряться. Опустись руки — немудрено и на песке оказаться.

Действовать, и с максимальной энергией! Sturm und Drang³ — в этом выигрыш», — решил он и зло закричал на водителя:

— Какого чорта хлопаете на меня глазами? Полным ходом в Большие Дрогали!

Рев танка подействовал на него успокаивающе.

«Пусть кичатся своей моралью, стойкостью, — усмехнулся он, прислушиваясь к работе мотора.: — Сталин сам признает: „Современная война — война моторов“. А моторы-то, вот они! У нас! Стойкостью самолет не собьешь в небе, моралью танк не раздавишь.

„Объединение свободлюбивых наций...“ Не так-то скоро все это делается. Пока Англия и Америка обо всем договорятся со Сталиным, мы оставим от России одни развалины». Он рассмеялся. Мрачные мысли исчезли, точно их подхватило свистящим ветром и отбросило прочь. Но ненадолго: в грудь опять проник неприятный холодок и пополз по всему телу...

«Нет, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы эта брошюра обошла весь район.

Нельзя!»

Ветер со свистом и воем врвался в смотровые щели, но Ридлеру казалось, что скорость слишком незначительна. Он приподнял крышку люка и выпрямился во весь рост. Танк уже миновал Залесское и мчался полем. Черная земля, черный притаившийся лес — все было чуждо, враждебно. По небу лениво плыли тяжелые тучи. Ридлер хрустнул пальцами.

Он смотрел на тучи, а видел глаза, много глаз, но все одинаковые, похожие на те, что с беспощадной ясностью смотрели на него с первой страницы брошюры; некуда было от них скрыться. Они даже и затылком чувствовались; и, может быть, от этого казалось, что тучи плывут не по небу, а в голове, и осенний холод их ощущался в груди. Несомненно, эта брошюра увела со строительства сотню людей и уведет всех, если немедленно не пресечь

ее

распространение.

Дорога круто завернула к лесу, и вместо туч перед глазами возникло рыжее облачко, быстро расплывавшееся па небу. Зарево? Да, похоже было на зарево. Далеко ли пожар, близко ли, Ридлер не успел определить: его внимание привлек голый человек, бежавший из леса. Человек этот, по-видимому, выбивался из последних сил: он шатался; падал, поднимался и опять падал. Вот долетел крик, кажется мольба о помощи. Ридлер тронул водителя за плечо.

— Узнайте, что за человек! — Но ждать нехватило; терпения, и, едва танк остановился,

он первым выпрыгнул из люка.

Человек лежал вниз лицом, без признаков жизни. Ступни его ног, прихваченные морозом, были белые, а спина и бока в черно-багровых пятнах, местами кожа сползла. «Мороз? Не похоже». Ридлер взглянул на голову, и ему стало ясно, что человек побывал в огне: волосы его были опалены.

Водитель перевернул бесчувственное тело, и Ридлер нахмурился: перед ним лежал З Штурм и натиск.

Август Зюсмилх.

«Вот где зарево — над Покатной». Он взглянул на небо и окончательно уверился: там! — Дышит! — сказал водитель, прижавшись ухом к волосатой груди Зюсмилха.

— Трите снегом, водки влейте.

С большим трудом водителю удалось влить сквозь стиснутые зубы Зюсмилха немного водки. Август застонал.

«Застынет на снегу», — мелькнуло у Ридлера, но это было сейчас для него не существенно. Важно было немедленно выяснить: что же такое произошло в Покатной?

Он приподнял голову Зюсмилха.

— Что случилось, Август?

Веки Зюсмилха вскинулись.

— Глаза... глаза... русские глаза!

— Август, ты не узнаешь меня? Я Макс фон Ридлер.

Зюсмилх не узнавал. Он находился в состоянии такой психической травмы, когда все выключается из сознания, кроме событий, ставших ее причиной. Сознание вновь и вновь возвращается к пережитому, воскрешая его со всеми деталями, и оно воспринимается, как затянувшаяся реальность. Зюсмилх не чувствовал под собой мерзлой, покрытой снегом земли; рябое лицо его пылало жаром. Не чувствовал он и морозной тишины голого поля: в ушах его стоял треск пожираемой пламенем школы. Он видел, как в дыму и огне метались полураздетые солдаты его гарнизона. Они влезали на подоконники, но тут же спрыгивали обратно — в огонь и дым, и вопли их сливались с торжествующими криками покатнинцев,

вилами в руках столпившихся под окнами.

А сам он, голый, стоит возле колодца в середине тесного молчаливого круга людей. И напротив него в этом кругу — коренастый старик, тот, что не дал запороть его вилами и потом приказал раздеть, — Фрол Кузьмич. Брови у этого Фрола Кузьмича косматые, сдвинувшиеся, губы разжимаются с трудом, и сквозь зубы страшно вылетает: «Ты, сволота, над матерью моей потешался?..»

Зюсмилх горячо забормотал. Наклонившись, Ридлер расслышал слова:

— Я тогда не знал, что эта старая женщина — твоя мать... Я тогда не знал...

— Зюсмилх! Посмотри на меня. Слышишь? Это я, Макс фон Ридлер.

...Глаза Зюсмилха бегали из стороны в сторону: нигде не было лазейки, плотно сомкнулся круг разъяренных русских. Торчали над их головами зубья вил, огрубелые пальцы

судорожно сжимали рукоятки топоров, а на окаменевших лицах жили одни глаза, которые, казалось, вот-вот выпрыгнут из-под бровей и кинутся на него, чтобы разорвать. Кто-то плюнул ему в лицо. «Пляши, стерва!» — слышит он голос Фрола Кузьмича.

Зюсмилх мотнул головой, ноги у него задергались. Ридлер с бешенством тряс его за плечи.

— Зюсмилх!

...Глаза Зюсмилых с волчьей тоской оглядывали не-размыкающийся круг, а русские... Они смотрят на него молча, без улыбок. Слезы страха и бешенства застилают ему глаза. «Пляши!» — подгоняет его голос Фрола Кузьмича. Старик, замахивается кулаком. Он, Зюсмилых, загораживает лицо локтем. «Пой, что твоя Германия выше неба. Пой, что твоему Гитлеру приснилось, будто бы он на льва похож... Пой!..» — кричит Фрол Кузьмич. Зюсмилых завыл тоскливо, как волк, — он пел.

Ридлеру стало не по себе от этого воя. Выпрямившись, он осмотрелся. Со стороны Залесского с грохотом приближалось черное пятно, с каждой секундой становясь отчетливее, — танк. Крышка на башне поднялась...

— Отправьте в госпиталь, — сказал Макс высунувшемуся из люка Корфу.

Зюсмилых отчаянно сопротивлялся. Он бился в руках солдат и кричал: «Нет! Нет!»

...Он прекрасно знал, что с ним собираются сделать. Ведь только минуту назад, когда он не мог больше петь и упал на землю, с плачем вымаливая пощаду, кто-то из русских крикнул: «Не могу смотреть на него, сил не хватает, в огонь гада!» И его потащили к школе.

А в школе уже не слышалось воплей. Там рвались патроны. Пламя лохматой гривой бушевало на крыше. В дверь густо сыпались искры: в сенях надломилась балка и с треском рухнула на пол. На улицу из окон черными жгутами повалил дым. Люди, стоявшие под самыми окнами, расступились, и его, Зюсмилыха, швырнули. Каким-то чудом ему удалось

задохнуться, вскарабкаться на подоконник, выпрыгнуть... И вот сейчас ему казалось, что они опять схватили его, опять хотят бросить в огонь.

— Нет, — кричал он, вырываясь, — я не хочу!. Не хочу гореть! Все равно опять выпрыгну, не хочу-у-у!

Подождав, пока затолкнули в танк вопившего лейтенанта, Ридлер взглянул на часы.

Возня с Зюсмилыхом бесплодно отняла пятнадцать минут, а сейчас нельзя было терять ни одной секунды.

— В Покатную! — крикнул он своему водителю. — Да побыстрее!

От бешеной скорости засвистело в ушах. Ридлер не сводил глаз с расплывавшегося пятна зарева. Сердце колотилось мучительно-зло. И опять ему казалось, что танк движется слишком медленно, хотелось прыгнуть на землю и бежать впереди него. Он не знал

толком, что и как произошло в Покатной, — только мог догадываться и строить предположения. Но одно знал наверняка: в этом селе побывали партизанские агитаторы с этой страшной брошюрой. Наконец замелькали дома Покатной... Танк остановился возле школы, вернее возле того, что осталось от нее: на земле кое-где, вспыхивая пламенем, тлели обуглившись бревна и валялись черные, обгоревшие трупы солдат.

Ридлер огляделся. Дворы по обе стороны дороги стояли с распахнутыми воротами и калитками: дома были пусты.

Глава вторая

Лучина потрескивала, и от нее по всей кухне расходились дым и копоть.

Семен Курагин сидел на лавке возле стола в облезлой шапке-ушанке, в рваной куртке, подпоясанной красным кушаком, и чинил хомут: он теперь работал у немцев возчиком при госпитале. Протыкая шилом много раз латанную кожу, Семен жадно слушал, что говорила его жене соседка, только что вернувшаяся со строительства.

Наколов шилом палец, он выругался и отбросил хомут к печке.

— А может, брехня все это... а предвестнице-то? Нет проглядки... дай, мол, Егор те за

ногу, придумаем...

Жена рассердилась. На ее исхудавшем и, казалось, совсем бескровном лице проступили розовые пятна.

— Ты, Семен, всегда ко всему так: и хочешь тронуть, да как бы не обжечься...

Уваровцы всем селом сбежали; покатнинцев нынче на стройке — ни одного. Говорят, за ночь они у себя всех немцев пожгли. Это тоже придумано?

У Семена от изумления все мысли из головы вылетели.

Небольшого роста, щупленький, он стоял, теребя рыжеватую бородку, скатавшуюся клочками, и смотрел в рот жены, из которого, как горох из мерки, сыпались гневные слова. Не то, что сказала жена, конечно, ошеломила его. До него тоже дошли слухи об ушаровцах

и пакатнинцах; он даже сам видел Августа Зюсмильха. Здоров, как бык, оказался немец.

Привезли его в госпиталь обмороженным, обожженным. Всю ночь метался в бреду и кричал

о пощаде. На рассвете пришел в себя и сразу же потребовал водки. Ему разрешили, и: он пил

чуть ли не весь день.

Нет, совсем другое ошеломило Семена, — никогда за всю жизнь не говорила с ним жена таким тоном, словно он уж и не глава семьи и словно каторжная жизнь ему мозгов убавила, а жене прибавила. От обиды слезы выступили.

— Цыц, Егор те за ногу! — закричал он. Хотелось, чтобы крик прозвучал басисто, так, чтобы все окна в избе дрогнули. Но к потолку взлетел жиденский тенорок. Семен вздохнул

и покосился на свою тень, шевельнувшуюся на стене. Тень была непомерно велика — начиналась от его ног, лежала на стене, а головой даже до середины потолка доставала.

«Вот таким бы на самом деле... Тогда, небось, и не пикнула бы, осеклась». Но вспомнилось, что жена всегда считала его выше, чем он был на самом деле, и гнев улегся.

— Ну, чего ты?.. Я к тому: доподлинно ли, что эта предвестница от Сталина?

— От Сталина! — убежденно подтвердила соседка. — Говорит: вот-вот Красная Армия будет...

Семен завозился, отыскивая кисет с табаком. От волнения он все время попадал рукой не в карман куртки, а в прореху на боку.

— Скорей бы к нам она, предвестница-то... — с тоской и нетерпением вырвалось у хозяйки. — От самой бы все послушать. — Она заломила руки. — Сил-то ведь больше совсем нет.

И, присев на лавку, затряслась в беззвучном плаче. Соседка обняла ее.

— Придет! Видишь, как она хитро, чтобы немцев запутать, не подряд ходит: из Уваровки в Покатную... Соседи гадают, и я думаю: не нынче так завтра у нас будет.

Скрипнула дверь. Семен оглянулся и увидел дочь, устало переступившую порог. Все лицо его жалостливо сморщилось. В последние дни он не мог смотреть на дочь без того, чтобы не щемило сердце. Какая была до войны! Пройдет, бывало, по улице, и кажется, все

на нее оглядываются: эх, мол, и красавица же дочка у Курагина!

А сейчас глаза будто из погреба смотрят, хоть бы раз улыбнулись... Ни румянца, ни живости прежней.

«В восемнадцать-то лет... Эх, жизнь, Егор те за ногу!»

На кухню вместе с клубами морозного воздуха ворвался с улицы шум голосов.

— Чего там, дочка?

— Беженка из Москвы.

Семен настороженно скосил глаза на соседку.

— Говоришь, откуда предвестница-то, из Москвы?

— Из Москвы, — горячо подтвердила та.

— Это доподлинно?

— Доподлинно.

— Та-ак... — протянул Семен.

Он натянул на голову шапку и вышел из избы.

На улице под окнами его дома столпились соседи. Все молчали, и лишь из середины толпы слышался рыдающий женский голос:

— Я — на площадь, где все театры... Батюшки вы мои! Театр-то этот, что с тремя конями на крыше... Смотрю на него, а немцы — в окна штыками, прикладами. Звенят стеклышки, будто плачут. А другие немцы уже на крыше — коней трясут. Грохнулись кони на землю, и тоже вдребезги. Сколь людей ими придавило! И мне тоже ногу — вот, смотрите.

Семену не было видно лица беженки.

— Ну-ка, гражданки, — проговорил он решительно и, растолкав женщин, очутился лицом к лицу с Аришкой Булкиной.

Она взглянула на него и хотела уйти, но Семен удержал ее за руки.

— Обожди, Егор те за ногу!

Он старался припомнить: где-то вроде он видел эту бабу.

— Конем с театра, говоришь, зашибло? Ну-ка!

Аришка оголила ногу до самого бедра, и Семен вспомнил.

«На ту пьяную бабу, кажись, похожа... Когда же это было? Да, по весне!»

Вся сценка быстро пронеслась в памяти. Поздним вечером ехал он в городе узким переулком. Впереди лошади шли пьяные — парнишка и баба, очень похожая на эту «беженку из Москвы». Они нарочно медлили — пройдут шага два, остановятся... Он сначала упрашивал, потом выйдя из себя, ругнул их. Баба визгливо засмеялась, нагнулась и, задрав подол, зло выкрикнула: «Не запряжешь ли, милый, в пристяжку?.. На паре, добрый человек, лучше большевиков катать, а насчет меня, кавалер, не сумлевайся, кобыла чистейших кровей — единственная дочка бывшего купца первой гильдии».

Помнится, в груди от такого похабства опалилось все. Изловчившись, он так жвыкнул бабу кнутом, что она завертелась, словно вьюн, и на самом деле с быстротой чистокровной кобылы понеслась по улице.

Вспомнил это Семен и сильнее стиснул руку Аришки.

— А у тебя, к примеру, нет на заднице рубца от моего кнута?

Аришка метнулась глазами по толпе, ища сочувствия, но все бабы, только что со слезами слушавшие ее рассказ, смотрели теперь сурово, настороженно.

— Говори, Егор те за ногу, откуда?

— Я-то? Из Певска.

Толпа угрожающе зашумела.

Аришка вырвала руку, оттолкнула Семена.

— Родненькие! Да разве я сказывала, что москвичка? Из Певска я... И до войны в ём жила, а как немцы подошли к городу значит, я в Москву побежала: там у меня сестра.

Только

я, родненькие, к Москве, а немцы — тут как тут... Сестру мертвой нашла. — Она

всхлипнула. — И обратно сюда... Пропитаться нечем, и хожу по деревням, собираюсь. Семен снова было подступил к ней, собираясь допросить как следует, но в конце улицы раздался звонкий мальчишеский крик:

— Красная Армия!

По дороге с винтовками наперевес бежали люди в красноармейских шинелях. Семен насчитал восемнадцать человек. Сдернув с головы шапку и размахивая ею, он не помня себя,

во весь дух пустился им навстречу.

Глава третья

Катя устало шла лесом.

Снег, освещенный утренним солнцем, ослепительно искрился.

Сосны стояли бело-зеленые, с чуть розоватыми макушками. Налетит ветерок — вздрогнут, сбросят с себя пушистые хлопья и опять застынут, задумчиво опустив ветви.

Глаза Кати, смотревшие из-под края заиндевевшей шали, хмурились. В Больших Дрогaley она встретилась с Женей, и подруга передала ей приказ Зимина вернуться в отряд.

Опасность, правда, стала очень велика. Немцы, по всему видно, решили во что бы то ни стало поймать неизвестного агитатора: в деревнях устраиваются ночные повальные обыски, чуть ли не на каждом шагу стоят патрули, по дорогам рыскают конные разъезды — хватают девушек. Может быть, Зимин прав: дальнейший риск не нужен. В отряде готовят много рукописных листовок с кратким содержанием доклада Сталина. Эти листовки и народная молва завершат начатое дело, а идет оно хорошо: горят дома, занятые немцами, бегут люди со строительства, пустеют деревни...

Мороз пощипывал глаза и переносицу, пробирался под полушубок и полз по телу мурашками. Полушубок был очень рваный и не по ее размеру: кто-то снял его с себя и накинул ей на плечи, когда она бежала по улице Больших Дрогaley, спасаясь от облав немцев. У пояса под полой побрякивали гранаты. Она взяла их из потайного склада в лесу и третий день ходит с ними. Опасно, конечно: попадетсЯ немцам — сразу выдадут. Но если схватят безоружную, где гарантия, что не найдутся предатели и не скажут немцам, кто она? Так вернее: или отбиться, или... Если уж погибать, то как бойцу.

Трансва-аль! Трансва-аль!..

Сдвинув гранаты поплотнее, чтобы не гремели, она застегнула полушубок и прислушалась. С пролежавшего рядом большака вместе с песней доносился сочный хрустящий скрип. Так скрипят сани по снегу, подернутому легкой ледяной корочкой.

«У кого из русских могла сохраниться лошадь?» — удивленно подумала Катя.

Прячась за деревьями, она пробежала несколько шагов и увидела серого коня, трусившего по дороге. На передке саней сидел Семен Курагин.

Натянув вожжи, он смотрел прямо перед собой и задушевно вытягивал жиденьким тенорком:

...Страна моя,

Ты вся горишь в огне.

Катя плотнее закутала шалью лицо, оставив открытыми одни глаза, и вышла из-за деревьев.

— Не подвезешь немного?

Помолчав, возница придержал лошадь и указал ей на сено позади себя.

— Тепло же ты укуталась...

— Какое там тепло — кругом отдушины, — засмеялась Катя, разглядывая лошадь.

Где-то совсем недавно видела она такого серого коня с черными пятнами между ушей и на левом боку. В деревнях? Нет... Там и ржания конского ни разу не слышала, ни разу не обдало запахом свежего навоза, точно не по живым селениям проходила, а по вымершим. Где же тогда?

Вдруг в памяти мелькнул васькин окрик: «Шагай дальше, пятнастая!» И она вспомнила: «У Михеича! На этом самом коне и ускакал с большака немец».

— Как, дядя, конь-то у тебя сохранился?

— Не сохранился. «Господа» немцы дали.

Катя насторожилась: за хорошие дела гитлеровцы не одаривают.

— Говорят, старик какой-то партизанам довольствие возил, Егор те за ногу, его лошадь.

Она смотрела на него испуганно: почему знает? Неужели кто проследил и... выдал Михеича?

— Немцы, значит, дали?.. А почему тебе?

— Мертвяков возить.

— Мертвяков?

Семен кивнул.

— Вызвали, спрашивают: «Кучер?» — «Кучер». — «Вот, — говорят, — тебе даспферде» — так они, сукины сыны, на своем языке собачьем животину бессловесную облаивают. Говорят, а я — ни бельмеса. Позвали пересказывателя. Растолковал он: в
возчики

назначают — мертвяков, Егор те за ногу, вывозить. Это из ихнего госпиталя... И холодов еще стоящих не было, а они... обмороженных каждосуточно доставляют, а я отвожу... Дал согласие на такое дело. Мост, например, строить — для души больше тягости. Подумал: живого лиходея везти — тоска бы смертная, а мертвяков — ничего. Поболе дохли бы — отвезу.

Он обернулся. На лице его, изрытом мелкими оспинами, проступила настороженность.

— А ты чего выпытываешь? Сама-то откуда будешь?

— Я дальняя. В Смоленск пробираюсь. Потеребив бородку, Семен прикрикнул на лошадь; она замахала мордой и побежала быстрее.

— «Сам корми», говорят. А чем? Достая кое-где сенца. Жалко животину, на хорошем бы корму — не конь, а самолет... И то, гляди, рысь, как у кормленной.

Он вздохнул и тихо пропел:

Трансва-аль! Трансвааль!..

Страна моя...

— Да, Егор те за ногу, Трансваль — это Трансваль, а у нас — пришли немцы, и подогнулись все мы. Эх! — вырвалось у него со злостью. — Подогнулись ведь, девка, а? Заместо того, чтобы бить их... вот так, насмерть!..

— Не все, дядя... Партизаны, например, не подогнулись, — хмуро сказала Катя, занятая думой: «Кого же послать в Залесское разузнать о Михеиче?»

— Партизаны? — зло переспросил Семен. — Как-нибудь без партизанов обойдемся.

Нервно свертывая цыгарку, он рассказал, как три дня тому назад к ним в Жуково заявили партизаны.

— Глядим — в шинелях красноармейских, в касках. Сперва подумали — Красная Армия. Душа ходуном заходила. Навстречу кинулись. Расцеловался с одним на радостях, а от него винищем, Егор те за ногу, как из откупоренной литровки. Глянул на другого — еле на ногах держится. Сперва это ни к чему, так вроде и надо: отбили, мол, у немцев и выпили

— не пропадать же добру! Тащите, говорят, нам еды — мы голодные. Какая же у нас, к чорту, еда? Что было — последним куском поделились. Говорят: мяса давай, курей, яичек. Одна бабенка полкраюшки хлеба от чистого сердца вынесла — у детишек оторвала и командиру, кривоногий такой... А он, сукин сын, краюшку наземь и ногой: «Яичек давай!» Взвыла, известно, бабенка. «Не партизан ты, а сволота». Он ее с размаху по лицу; она, Егор те за ногу, — с ног... И пошло: одни кинулись народ избивать, другие по избам шарить. Тут постовые ихние как заорут: «Немцы!» Смылись, конечно, и трех девок с собой уволокли. — Он помолчал. — Только ушли, и вправду — немцы на мотоциклах. Согнали всех: зачем партизанам еду давали? Двух баб и мальчонку повесили.

Семен обернулся к изумленно слушавшей Кате.

— Немцы все по радио: хватайте партизан, — не защитники они вам, Егор те за ногу, а бандиты, пьянствуют, грабят, а вы из-за них муки терпите. Не верили, так теперь своими глазами увидели... Вот и думаем: в другой раз заявятся — похватаем и отволокем: ястреб ястреба клюет — мирной птишке радость.

— Это не партизаны, дядя, — взволнованно сказала Катя. Она догадалась: в Жукове была та самая банда, что выдает себя за партизанский отряд. Не могло быть сомнения, что это очередная провокация немцев.

— Кто ж тогда?

— Бандиты.

— Бан-ди-ты? — Семен задумался. — Это правда: бандитами-то их в самый раз назвать.

Он подозрительно оглядел Катю.

— А ты откуда знаешь про это, раз дальняя?

— В народе слышала. Говорят, в лесу уголовники укрылись и по указке немцев народ грабят, чтобы, значит, восстановить его против настоящих партизан; а настоящих партизан народ знает, они не ходят по деревням, народ сам доставляет им все, в чем нуждаются. Ты же, дядя, только сейчас говорил: лошадь у тебя от старика, который возил довольствие партизанам.

— Это так, — озадаченно произнес Семен и начал счищать кнутовищем с передка саней снег. — В первое-то время правильные были партизаны, и командовали ими люди большой души — головка наша: Лексей Митрич Зимин да Катерина Ивановна. Чайкой ее

мы

все звали. Такие люди за народ на куски дадут себя изрезать! Убили их, девка, и весь отряд ихний в болоте потоплен!

— Неправда!

— Говорю — значит правда! — озлился Семен. — Нам, здешним, лучше свои дела знать, чем проходим из Смоленска... Лексей Митрич и Катерина Ивановна, ежели в

живых-

то, разве допустили бы, что для Гитлера беспрепятственно мост строится?

— А про то, что каждую ночь немецкие транспорты взрывают, у вас не слышали, дядя?

О том, что немецкие главари только мертвяков открытым саням доверяют, а сами в танках разъезжают, — об этом не знаете?

— Знаем и об этом... — неохотно отозвался Семен. — Десант, говорят, красноармейский высадился...

Табак из его цыгарки, которую он старательно сворачивал, просыпался.

— Толкуй беспонятным — не куря насидишься. — Говорю, Егор те за ногу, немцы и сами подтверждают — шила в мешке не утаишь; чуть не каждый день бои у них в лесах с

красноармейцами.

Катя засмеялась.

— Красную Армию немцы давно «уничтожили», откуда же взялся «десант»?

Насмешливые искорки, взметнувшиеся в ее глазах, подержались еще мгновение и растаяли.

— Не верь, дядя, фашистской брехне и соседям накажи, чтобы не верили. Жива Красная Армия! Крепче, чем до войны, стала. Ни одному немцу под Москвой не дает голову

из окопов высунуть. Ждут бойцы приказа Сталина — двинутся и так ударят, что от «господ»

немцев только грязь останется... И отряд Зимина жив, от верных людей знаю. Это ему старик возил довольствие, его боятся гитлеровцы.

Семен посмотрел на нее с недоверием и промолчал. Поднялся ветер, и по обе стороны дороги закачались, зашумели сосны. Катя глядела, как он собирал на желтую от мозолей ладонь по табачинке, а из мыслей ее не выходила нарисованная им картина бандитского налета на Жуково. Как обезвредить их? Конечно, надо будет говорить о них в деревнях, может быть специальную листовку выпустить... Самое верное — уничтожить бы всю банду,

а главаря расстрелять на глазах у народа. Но где их найти? Пойманные отрядом два бандита наотрез отказались указать местонахождение своего логова, а три разведки не дали никаких результатов.

Из глубины леса неожиданно донесся женский плач. Семен вздрогнул.

— Уволокли трех, а наутро прибежала только одна, — сказал он глухо.

Катя порывисто схватила его за рукав куртки.

— И она знает, где они... эти «красноармейцы»?

— Еще бы не знать!

— Скажи мне, дорогой... фамилию этой девушки?

— А тебе зачем?

Катя не нашлась сразу, что ответить. В лицо Семена хлынула краска.

— Чего допытываешься? — И он замахнулся кнутом. — Говори, кем послана ко мне, не то всю как есть исхлестаю.

— Что ж, отведи душу, — спокойно сказала Катя. Под ее взглядом он смутился и опустил руку.

— Дочь моя... А какая у меня фамилия — это тебе ни к чему.

Ветер сдунул с его ладони старательно собранную махорку. Семен рассвирепел окончательно.

— Слазь! Мне попутчиков не надо. Шпыняет тут глазищами сквозь спину до самой души, как спицами... Прокатилась малость — и хватит. Вытряхивайся!

В глазах Кати была нерешительность: открыться? Сам Курагин не внушал ей опасения, но он может проболтаться кому-нибудь «под секретом», что она в здешних местах, и «секрет» легко может дойти до немцев. Оцепят они ближайшие села и хутор Лебяжий, на который она сейчас пробиралась, и схватят.

Катя покосилась на руку Семена, крепко стиснувшую кнутовище. По его нахмуренным бровям нетрудно было угадать, что он в самом деле готов осуществить угрозу.

— Не торопись, дядя, — сказала она мягко. — Гонишь — слезу. Села я к тебе случайно, никто не подсылал. А когда узнала, что ты из Жукова, решила до конца вместе доехать. Есть у меня одно дело секретное в этом селе.

— Какое еще дело?

— Дело-то... — Катя замялась. — Лицо у тебя хорошее: сразу видать — мужчина твердый, с характером. Вроде и можно довериться, а боюсь...

Семен выжидательно молчал.

— Не проболтаешься?

— Не из болтливых. Язык к месту пришит — не балалайка.

— По лицу видно, — сдерживая улыбку, согласилась Катя.

Семен не смотрел на нее, но не только лицо, а и вся его щупленькая фигурка с гордо поднятой головой выражала чувство оскорбленного достоинства и как бы говорила: «Хоть говори, хоть нет, — мне наплевать. Почище люди, Егор те за ногу, доверием не обижали». Катя рассказала ему, что целую неделю прожила с партизанами. Как к ним попала и зачем — просила не выпытывать. Алексей Дмитриевич и Чайка живы и здоровы. Отряд готовится к большим боям. Перед боями решено установить связь со всем народом. От каждого селения намечено пригласить по одному человеку. И от Жукова тоже. Когда уходила, Алексей Дмитриевич попросил ее заглянуть в это село и найти там... Семена Курагина. Семен даже подпрыгнул, натянув вожжи, крикнул:

— Тпру-ру!..

Лошадь остановилась. Бросив вожжи на передок, он вытер разом вспотевшее лицо.

— И чего, к примеру, сказать ему? Катя покачала головой.

— Только лично с глазу на глаз самому Семену Курагину могу передать.

— Да я — он и есть! — Семен рассмеялся. — Чего глаза вытаращила? Я и есть, Егор те за ногу! В селе нас только двое Курагиных, брат еще... А Семен — один я!

— На слово в таких делах не верят.

— Да, пожалуйста, кто хошь... — Он огляделся по сторонам, позабыв вгорячах, что вокруг одни сосны, которые, может, и знают, что он Семен Курагин, да сказать не сумеют.

Придется, видно, до села, — сказал он огорченно. — Это как же, Егор те за ногу, Семен я или не Семен? Да в селе каждая собака, ежели б по-человечьи умела, подтвердит, каждая кошка меня знает.

Он взял в руку вожжи и опять бросил их.

— Обожди.

Суетливо порывшись в карманах, вытащил из брюк засаленную, потрепанную книжечку.

— Вот пачпорт.

Катя развернула и вслух прочла: — «Курагин Семен Герасимович, год рождения 1889-й».

— Теперь поверю. Глаза ее улыбнулись:

— Дело вот какое, дядя Семен: придет к тебе девушка и проводит к тому месту, где будет поджидать Алексей Дмитриевич. Все остальное от самого узнаешь.

— Когда придет-то? — дрожа от волнения, спросил Семен.

— Сегодня вторник? Жди в четверг, а может быть, завтра. Будешь ждать?

— Еще бы не ждать!

Катя оперлась рукой на обочину саней.

— Вытряхиваться?

— Да нет, что ты! Это я вроде в шутку, Егор те за ногу. А вдвоем ехать отрадней для души. Девка-то ты, как бы это сказать... Оглянешься — и вроде весна за спиной. Сиди, дочка, не обижай.

Он дернул вожжами, и лошадь лениво тронулась.

— Как жизнь-то в отряде? Чего родные поделывают? Много ли их?

— Про такие вещи, дядя Семен, не рассказывают.

— Это так. А ты молодец: держать язык на привязи — первая заповедь... Только я ведь от души спрашиваю, без умыслу: как, мол, они там?

Катя молчала.

— Да я не выпытываю, — сказал он и опять огорченно вздохнул. Ресницы его заморгали, и губы дрогнули в улыбке. — А Алексей Митрич — это голова! И знает, кому доверие оказать... Что ж, поглядим друг на дружку, посоветуемся. В мирное время я кой-куда повозил его. Не все на машине ездил: и лошадей не брезговал. По дороге, бывало, то

да се, сам слово скажет, моих десять послушает...

Улыбка его становилась все шире.

— И Чайку возил, приходилось, но реже, правда. Она пешечком больше... А ездить с ней хорошо — веселая! И езду любила веселую, чтобы ветер в ушах свистел... Живы, значит! Спасибо, дочка! Прямо скажу: радость на душу положила. Ждать будем...

Глядишь,

опять пронесу их на рысачке — Алексея Митрича и Катерину Ивановну... Опустил народ было голову, да теперь...

Из глаз его побежали слезы.

— Эх, милашечка, наподдай! — крикнул он радостно и, хлестнув лошадь, запел:

Трансва-аль! Трансва-аль!..

— ...аль... аль... — откликнулось лесное эхо.

— Наверное, тебе в удивление? — спросил Семен, вытирая рукой глаза. — С дочерью такое дело... и вообще все прочее, а я с песней... Не суди — душа поет, хотя от злости и в судороге вроде.

Он понизил голос до шепота:

— Конец ведь, девка, немцам-то скоро! Окончательный. Это уж безошибочно. Ты ненароком не встречала ее?

— Кого?

— Предвестницу-то?

В глазах Кати отразилось удивление. Семен заглянул в них и удивился не меньше.

— Вот те раз, Егор те за ногу! То больно все знаешь, а тут такое дело, и ты... Везде говорят о ней. Взять хоть бы наше село — в любую избу зайди... И песня-то у меня от этого.

Неужто и в самом деле не знаешь? — Он пожал плечами. — Красоты, говорят, она неописанной.

От шумящих сосен на освещенную солнцем дорогу падали пугливые, вздрагивающие тени. Солнце светило Семену прямо в глаза. Он улыбался, и на ресницах белели пупырышки

прихваченных морозом слез.

— Глянет на тебя, и чуешь, Егор те за ногу, — в огне душа. Ходит больше по ночам...

Придет, сбегутся к ней люди, и она говорит... Что доподлинно, этого я не скажу тебе.

Только

большие слова у нее и горячие.

Он долго возился с кремнем, высекая искру. Наконец шнур задымился.

— И чуешь, девка, вливаются в тебя силы ба-аль-шие. До нее пня боялся. Увидишь

немца — дрожишь, а слушаешь ее — и чуешь: да ведь богатырь ты! И такая лютая злость в тебе к немцу...

От радостного изумления все лицо его порозовело, белесые брови изогнулись дугой; Катя начинала догадываться и заволновалась.

— Откуда она, дядя Семен, не знаешь?

Семен глянул вокруг и шепнул:

— От Сталина!

Глаза его торжествующе сверкнули.

— Сказывают, дочь его...

— Дочь?

— Ходит еще слух, будто это Чайка наша. Ее, предвѣстницу-то, тоже Катей звать, да я не верил. Многие Катерину Ивановну в живых не считают. И я так думал. А теперь, как ты говоришь, жива Катерина Ивановна и в отряде, — выходит, снова не она. Есть у Сталина дочь Катя?

— Нет.

— Ну, тогда, может, и не дочь — племянница, — нерешительно проговорил Семен. — Одно доподлинно — от него.

Прикрикнув на лошадь, он закрепил вожжи и пересел к Кате.

— Сказывают, Сталин обнял ее и сказал: «Иди! Весь люд, который под немцами стонет, обойди; которые согнулись от неволи — выпрями, усталых — подбодри, а трусов — тех не щади». Егор те за ногу!

С Кати он перевел взгляд на неторопливо уплывавшие назад вершины сосен.

— Помолчал он, Иосиф Виссарионович-то, и спрашивает: «Не дрогнешь? Девушка ты и, так сказать, только в пору весны вступила. Может, в сердце-то твоём любовь первая, а в такое время душа, известно, только крылья распускает, нежности в ней столь... вроде соловья она». Вот он, Иосиф Виссарионович-то, и допытывался: найдутся у нее силы, чтобы порог ада немецкого перешагнуть, вдоль и поперек ад этот пройти?

Голос возницы звучал задушевно и так уверенно, точно он был очевидцем всего, что рассказывал.

Солнце освещало его лицо, покрытое седой клочковатой щетиной. Скулы блестели, и во впадинах под ними бледно вспыхивал румянец.

— Подняла она на него глаза... Такие, — говорят, — словно родничок, когда в него солнце глянет... «Не дрогну!» — Семен вытер глаза, приглушенно кашлянул.

Где-то близко раздался выстрел. Лошадь испуганно повела ушами. Тербя пальцами вылезший из полушубка мех, Катя не отрывала погорячевших глаз от лица возницы.

— Обнял, девка, еще раз ее Сталин накрепко, — голос Семена перехватился и задрожал, — а из глаз две слезы по щекам, на усы — дите ведь ему ненаглядное, души в ней не чаёт, а посылает-то на смерть, может...

Он сунул в рот потухшую цыгарку и, потянув губами, полез в карман за кремнем.

— Поцеловал и говорит: «Иди!» И вот идет она от деревни к деревне и...

Семен резко повернул голову.

Катя лежала, уткнувшись лицом в сено; плечи ее вздрагивали.

— Ты что это, девка? — испугался он.

— Так... Это я... так...

Лошадь стояла шагах в пятнадцати от разветвления дороги: Жуковский большак заворачивал влево, и на месте крутой кривизны от него отделялась дорога поуже, которая прямым коридором разрезала лес почти вплоть до хутора Лебяжьего.

— Спасибо, что подвез, дядя Семен.

Катя вытерла слезы и, ступив одной ногой на дорогу, встревоженно прислушалась к близким голосам. В шум леса, словно прибывая его к обледенелой земле, гулко ворвалось частое цоканье копыт. Из-за деревьев выехал всадник и вдруг, что-то крикнув, завертел коня

на месте. Еще три всадника — два солдата и одноглазый вахмистр — во весь опор вылетели на большак и подскакали к саням. Остановленные на всем скаку, кони дыбились, показывая желтые зубы.

— Документ! — потребовал вахмистр.

Семен полез за удостоверением, в котором подтверждалось, что он работает на немцев, но вахмистр нетерпеливо качнул головой и ткнул шашкой в сторону Кати.

— Она!

Он жестом приказал ей открыть лицо. Катя не пошевелинулась.

— Дочь это моя, — сказал Семен.

— Документ! — надвигая коня на Катю, злобно закричал вахмистр.

Расстегивая пуговицы полушубка, она встала в санях во весь рост и мгновенно выхватила гранаты. От резкого движения узел шали развязался, и концы ее упали ей на плечи. Глаза у Семена округлились, а из-под бровей Кати на него будто две молнии сверкнули.

— Гони!

Немцы, отпрянув от саней, суетливо сдергивали с плеч винтовки.

Семен хлестнул лошадь. Услышав за спиной взрывы, хлестнул еще раз сильнее и оглянулся. Чайки в санях уже не было. А там, где только что в окружении немцев стояли сани, густым облаком плавал дым, и оттуда неслись вопли раненых и храп коней.

— Жди девушку от Зимина! — долетел до него взволнованный голос.

Повернув голову, он увидел: Чайка стояла за сосной по левую сторону большака и торопливо застегивала полушубок.

— А предвестница эта... обязательно к вам придет... — скоро... Расслышал?

— Расслышал, Катерина Ивановна! — задрожавшим голосом крикнул Семен и, гикнув: «А ну, милашечка, Егор те за ногу, выноси!», — стегнул лошадь под брюхо.

Глава четвертая

Макс фон Ридлер сидел у себя в кабинете и пил водку. Веки у него были воспалены, лицо пожелтело и осунулось, словно после приступа изнурительной лихорадки. Пил, не закусывая, и не пьянел. К полуночи из трех бутылок, принесенных услужливым Августом Зюсмилхем (он теперь служил непосредственно в «особом отделе»), одна опустела совсем,

вторая — наполовину. Ридлер тяжело поднялся и, подойдя к окну, расписанному морозными

узорами, прижался лбом к стеклу, но холода не ощутил: сердце горячила бессильная ярость.

Жизнь превратилась в сплошную пытку. Словно эпидемия охватила район: бегут со строительства, покидают деревни — весь район угрожает стать партизанским. Сегодня на рассвете — впервые с той минуты, как он узнал о побеге уваровцев, — сердце наполнилось торжеством, но держалось оно недолго, потому что оказалось призрачным.

Торжество это — поимка пократинцев: ночью они пришли в село, чтобы взять кое-какие вещи, и были схвачены случайно находившимся там эсэсовским отрядом; Ридлер, когда ему позвонили об этом, приказал до его прибытия ничего не делать с бунтовщиками.

Садясь в танк, он потирал руки и придумывал, какой казни предать покатнинцев, чтобы нагнать ужас на все население и сделать невозможным не только повторение подобных бунтов, но даже и мысли о них. Но торжество развеялось еще в пути... Въезжая в Покатную,

он знал, что не приведет в исполнение своих планов: до прибытия резервов из соседнего района строительству был дорог каждый трудоспособный человек.

Покатнинцев было больше двадцати. Оцепленные солдатами, они стояли тесной кучкой, смотрели на него открыто, и в каждом взгляде так и читалось: «Убивай! Сегодня нас

— завтра твой черед!»

И не они, а он, Макс фон Ридлер, потупил глаза, когда отдавал приказ всех выпороть и под конвоем угнать на строительство. За истребление гарнизона и побег — только порка! И

получилось не торжество, не ответный удар, а публичное признание своей зависимости от этих людей.

«Не нужно было самому ехать. Приказать бы по телефону, и все!» — бесился он, выезжая из Покатной. А в городе его ожидал новый сюрприз — Степка Стребулаев позвонил

и сообщил, что «особого отряда» больше не существует: партизаны Зимина окружили их и всех уничтожили; удалось бежать только ему...

Ридлер долго стоял, сжимая посиневшими пальцами телефонную трубку. Налеты на Жуково и Большие Дрогали, казалось, создавали уверенность, что организованная им банда станет надежным инструментом, под ударами которого народ и партизаны разобьются на два

враждующих лагеря. Теперь лопнула и эта затея...

Посылая за водкой, он пытался обмануть себя, будто стремление напиться до бесчувствия появилось не из страха, а просто из естественной потребности «встряхнуть нервы», которые чертовски долго находились в сверхчеловеческом напряжении. Но чем больше пил, тем отчетливее становилось неприятное ощущение шаткости своего положения.

Все, что представлялось вчера устойчивым, сегодня исчезло, точно суша под вспененными волнами; все меньше оставалось площади, на которой еще можно было твердо

стоять. И чтобы удержать за собой эту «площадь», и не только удержать, а и вернуть все, за эти дни потерянное, необходимо было взвешивать каждый шаг, каждое движение. А он так глупо показал свое бессилие!

На стекле отпотело синеватое пятно с матовыми краями. Льдинки слезились, и лоб стал мокрым, но холода все не ощущалось, и водка не действовала, точно выпил простую воду.

На столе резко зазвенел телефон. Ридлер скрипнул зубами.

Звонили из Залесского. Начальник гарнизона сообщил, что солдаты, патрулировавшие возле ожерелковского концлагеря, перебиты партизанами, а ожерелковцы с семьями сбежали

в лес. Не дослушав, Ридлер бросил трубку.

Минуты две он стоял, как в столбняке, потом дрожащей рукой схватил бутылку и налил стакан так полно, что водка плеснулась через край. Выпил, не морщась, не отрывая от стакана губ.

«Все население Ожерелок... Сколько же это работоспособных рук? Много...»
— Проклятая девка! — выругал он неуловимого агитатора — и вздрогнул: ему почудилось, будто стены кабинета сотканы из глаз. Все они смотрели на него: одни — большие и карие, как у того парня, что поседел и умер под пытками; другие — черные, словно смола, как у той девушки, которую он в прошлом месяце отдал в лесу на изнасилование солдатам.

И во всех глазах читалось: «Убивай! Сегодня нас — завтра твой черед!»

«Допился до чортиков!» — попробовал посмеяться над собой Ридлер, но... глаза не исчезали.

Они распалили злобу, сердце колотилось одним желанием — увидеть на самом деле эти глаза, но не такими, а помутневшими, с уходящими под лоб зрачками.

«Психоз русских глаз» — это выражение он слышал, еще будучи в Польше.

Рассказывали, будто в России работников гестапо во сне и наяву преследуют глаза тех, кого они замучили. Поэтому в практике гестаповцев так часты случаи выкалывания глаз. Он

тогда

смеялся над этими рассказами, а теперь сам все чаще отмечает, что не может спокойно видеть глаза русских, случайно встречающихся ему на улице. Чем это объяснить?

«Ничего, расправа от вас не уйдет. Постройте мост, а потом я займусь вашими глазами», — подумал он о покатнинцах, представив себе их там, на берегу, под надежной охраной солдат.

«А если скрутить, так не только покатнинцев, а всех, — возникла мысль. — Колочая проволока, рвы... И тогда... конец побегам».

В дверь постучали. Ридлер закусил губу, и проступившее было радостное оживление сошло с его лица: ведь он строго наказал не тревожить его по мелочам.

В кабинет вошел Зюсмилх. Голова у него была забинтована, на лице и руках багровели следы ожогов.

Нет, это уж был не тот лейтенант, у которого самодовольством лоснилась каждая оспинка. Пережитое им в Покатной не прошло бесследно. Настроение у него менялось на дню по нескольку раз: то он зверел, то вдруг притихал, ежился и ростом вроде становился меньше, а из маленьких глаз в такие минуты, как и сейчас, смотрели тоска и страх.

Ридлер ждал.

— Пришел Степан Стребулаев.

— Пусть убивается к дьяволу!

Зюсмилх вытянулся.

— Слушаюсь! Я осмелюсь потревожить вас еще по другому делу: к лысому вернулось сознание.

— К лысому? — Ридлер звучно захрустел пальцами. — Давайте его сюда!

Козырнув, Зюсмилх вышел.

Ридлер налил полстакана водки и выпил залпом. В голове немножко зашумело.

«Будет проклятый старик упрямитесь — прикажу на куски разорвать», — решил он и, плюхнувшись в кресло, стал ждать.

Михеича ввели под руки: самостоятельно он уж не мог передвигаться. По знаку Ридлера солдаты усадили его на диван и вышли.

— Будешь говорить?

Старик молчал, угрюмо рассматривая свою окровавленную грудь.

* * *

Спустя час из города гуськом выехал конный отряд в двадцать пять человек. Впереди

ехал Шендель — тот самый офицер, которого в Залесском чуть не загрыз Полкан Карпа Савельевича. На втором коне сидели Михеич и рослый солдат, державший старика обеими руками.

От шоссе отряд напрямик помчался по белому полю к лесу.

Глава пятая

Ночью в ближайших от моста селах немцы подняли жителей прямо с постелей и погнали на строительство. Метель слепила людям глаза и швыряла их из стороны в сторону.

Всех прибывающих немцы останавливали возле строительной площадки и выстраивали по обе стороны дороги. Солдаты дали-кому лом, кому — лопату и приказали рыть. Земля под снегом промерзла и поддавалась плохо. На тех, кто осмеливался отдыхать, немцы набрасывались, как воронье, — стаями. Пот лил с людей, словно они работали в жарко натопленной бане. Многие сбросили с себя полушубки и куртки. К утру, когда стали подходить жители дальних деревень, по обе стороны дороги очертились широкими канавами

два белых прямоугольника. На буграх мерзлой земли валялось несколько мертвых стариков и женщин, надорвавшихся в непосильном гряде.

По приказу Швальбе солдаты разогнали падающих от усталости людей по местам их постоянной работы, а сами принялись оцеплять канавы рядами колючей проволоки. Люди заволновались. Неужели за колючую изгородь всех загонят? А как же с детьми и стариками?

Метель не унималась. Снежные вихри, налетая с поля, с головой накрывали строителей.

В полдень волнение усилилось: немцы стали нумеровать работающих — жирно мазали спины крахмалом и наклеивали по два белых матерчатых квадрата. На одном значилась написанная черным цифра, на другом — начальная буква названия села.

Женю присоединили к великолужанам, приклеив к ее спине знак: «В-94». Перед вечером она осторожно подошла к покатнинцам, которые, как и до побега, работали на распилке.

Пильщик, на спине которого было крупно помечено «П-11», повернул на ее шаги голову — это был Фрол Кузьмич. Его-то и разыскивала Женя. Еще утром старик шепнул ей, что он и остальные покатнинцы намереваются бежать с наступлением вечерних сумерек, и просил помочь отвлечь чем-либо немцев.

— Готовы?

Смахнув с куртки снег и опилки, Фрол Кузьмич выпрямился и указал ей глазами в сторону колючей изгороди.

— Смекаешь?

— Да. Пожалуй, всех загонят.

— Я не про это, — взволнованно сказал старик. — Посмотри вокруг. — Он сам огляделся и спросил шепотом: — Есть теперь такая лазейка, чтобы, стало быть, отряду сюда попасть?

Лицо Жени помрачнело. Поглощенная мыслью, как ей быть — бежать или вместе со всеми остаться в концлагере, она ни разу не подумала о колючей изгороди так, как говорил

ней сейчас Фрол Кузьмич. А ведь правда, нельзя теперь прорваться партизанам. Неоткуда! Из леса? Эта возможность и раньше исключалась: на лес нацелены орудия танков, и

партизан положат прежде, чем они успеют добежать до моста. А которые уцелеют от снарядов, найдут себе смерть под гусеницами, под огнем пулеметов. До сегодняшнего дня был один возможный путь — поле: с наступлением темноты ползком, прячась за бугорками,

партизаны могли бы незаметно подкрасться к берегу и завладеть танками или уничтожить их. Но теперь этот путь прегражден колючей проволокой и рвами, а идти по дороге — верное

самоубийство: с берега танки двинутся, из села в спину конница ударит.

Женя взглянула на мост. Два пролета были совсем готовы, цементировали настил...

Превратится в железобетонное тело скелет третьего пролета — и пойдут по мосту поезда

на
Москву.

— Пока остаемся, — сурово сказал Фрол Кузьмич. — Так и передай Чайке и Лексею Митричу. Если нет другого исхода, до конца останемся, обмозгуем там, — он опять кивнул

в
сторону колючей изгороди, — и постараемся работнуть так, что Гитлер не обрадуется мостику. В этом будь уверена, девка. Так и передай.

Из низины, в которой просеивали песок, прибежал Минька.

«П-19» — прочла Женя на его спине, а Фрол Кузьмич, увидев сына, рассвирепел:

— Ты что же это, а? Я тебе, подлецу, что приказал?

Минька обиженно отвернулся.

— А кто вам смолу станет приносить? — буркнул он, надвигая на лоб мохнатую шапку.

Фрол Кузьмич молчал. Минька заплакал и прижался к отцу, спрятав лицо в его расстегнутой куртке.

— Не могу, тятя, сбежать от тебя...

Чтобы совладать с собой, до слез тронутый старик отстранил сына и взялся за пилу, хотя сумерки сгустились уже настолько, что не было видно нанесенных на бруски линий.

От блиндажей донесся звон колокола — сигнал к прекращению работы.

Поцеловав Миньку и не отпуская его от себя, Фрол Кузьмич зло оглядел солдат, цепью выстроившихся по линии леса. Грохот бетономешалок оборвался, и из радиорупоров по всему берегу разнесся голос:

— Внимание!

Распрямили усталые спины землекопы, плотники, бетонщики и озирались, стараясь понять: что будет дальше?

— Внимание! — опять загремело радио. — Покатнинцы, за колючую проволоку — марш! Остальные русские — к берегу! Кто ослушается, за того ответят дети.

Женя мрачно смотрела на покатнинцев, которые с клеймами на спинах, под конвоем немцев, зашагали к колючей проволоке. Впереди шли Фрол Кузьмич и Минька — «П-11» и «П-19». В этой же группе шагали тетя Нюша и Клавдия.

— Пошел! — Перед Женей вырос немец с поднятой для удара винтовкой. Она отскочила от него и поплелась к берегу.

Немцы делили строителей по селам и выстраивали их, как солдат на параде, — квадратами. Офицеры разглядывали каждую спину и тех, кто по ошибке попадал не к своим,

выгоняли, заставляя искать «свою букву».

Великолужане выстраивались возле самых бетономешалок. Женя встала с краю — на

случай, чтобы удобнее было бежать.

Метель то затихала, то опять пускалась в разгул, и белая пыль крутилась по земле, засыпая нумерованных людей. Они стояли молча, такие же неподвижные, как штабели напиленных брусков и клетки теса, там и тут темневшие на снегу. За колючей изгородью покотинцы рыли землянки.

Время шло, а немцы ничего не предпринимали; и построенные в квадраты люди не знали, что же с ними будет: загонят ли всех за эту колючую изгородь, или распустят по домам? Похоже было на то, что не загонят. Если бы думали загнать, почему не сделали это сразу?

«Наверное, по радио начнут сейчас гавкать: вот, мол, со всеми так будет, как с покотинцами», — подумала Женя.

Так, возможно, думали и остальные. Волнение постепенно улеглось, сменившись равнодушием к тому, что сейчас должно произойти. Но радио молчало, и ропот одиночек вновь перерос в многоголосый гул: скоро ли? Ведь ночь нависает, а дома — голодные дети, беспомощные старики...

Послышался лязгающий грохот, и в белой мгле зачернел танк: на строительство прибыл Макс фон Ридлер.

Отто Швальбе, Карл Курд, Генрих Мауэр, инженеры и Тимофей Стребулаев обступили его и вместе направились к груде бревен. Женя услышала, как стоявшие рядом с ней люди облегченно вздохнули, словно все разом подумали: «Наконец-то! Отслушаем сейчас — и все!»

Офицеры забрались на бревна. Стребулаев остался на земле, в толпе солдат. Швальбе вынул из-за пазухи пачку листов бумаги. Один из стоявших за ним инженеров осветил их. Начальник строительства перелистал списки и крикнул:

— Ж-пятьдесят пятый!

Из рядов жуковцев вышла жена Семена Курагина.

— Курагин Елена?

— Да, — ответила она испуганно.

Обратившись к Ридлеру, Швальбе сказал намеренно громко, чтобы все слышали:

— Она отшень плёхо работайт. Саботаж.

Ридлер кивнул.

— Согласно новому приказу, — проговорил он отдельно и махнул рукой, — все село за проволоку.

Солдаты окружили жуковцев и погнали на свободную площадь по другую сторону бревен. В толпе жуковцев раздались рыдания. Худая, высокая женщина прорвалась сквозь цепь солдат и, подбежав к бревнам, упала на колени.

— Трое у меня их, детишек-то... Старшей, Ленке, семь лет, младшего грудью кормлю...

Солдаты прикладами заставили ее подняться.

— Б-шестьдесят тшетири! — крикнул Швальбе. Из толпы жителей хутора Борисоглебского никто не отозвался. Два солдата с фонариками кинулись к борисоглебцам и выволокли к бревнам мальчугана лет девяти-десяти. На спине его значилось «Б-64». Швальбе смутился.

— Наверно, убежал с работы? — спросил Ридлер.

— Убегаль! — торопливо подхватил Швальбе. Ридлер махнул рукой, и борисоглебцев погнали вслед за жуковцами.

Женя не стала дожидаться, когда очередь дойдет до великолужан. Она осторожно

присела и ползком пробралась за бетономешалку.

Одни за другим перегонялись «квадраты». Рыдания и крики матерей не умолкали.

Неделю назад, может быть, отнеслись бы к этому более спокойно, но теперь, когда все они слышали о предвестнице, разносящей по деревням и селам сталинский призыв к борьбе,

когда, казалось, вместе с воздухом вбирали в себя радостную уверенность, что скоро придет расплата, — ярость и боль вызывало то, что совершалось: они погибнут здесь, на стуже, дети

— там, в домах... Многие проклинали себя за нерешительность, за то, что по примеру других не сбежали в леса. Но ведь так хотелось дождаться предвестницы, чтобы не ошибиться, чтобы лично от нее получить совет, что надо делать.

От лучей фонариков на лицо Ридлера ложился бледный отсвет, придавая ему какой-то мертвенный оттенок. Сложив на груди руки, он холодно осматривал волнующихся людей. Погнав великолужан, и на половине площади, примыкающей к реке, осталось всего пять «квадратов» — жители сел, расположенных вблизи строительства. Швальбе оглядел их и сунул списки за пазуху. Солдаты выстрелами в воздух восстановили тишину.

Ридлер закурил.

— Для каждого села наказание — десять дней ареста, — хлестнул людей его голос. — Если в течение этого срока никто не получит замечания, все пойдут домой. Если в течение этого срока хоть один человек будет уличен в саботаже, все село пробудет за колючей проволокой до конца работ, а дальше — посмотрим... Теперь о детях... Саботажники слышат голоса своих детей по радио.

Он засмеялся и скомандовал:

— Фор!

— Фор! — заорали солдаты, окружив строителей и тесня их к колючей изгороди.

Ридлер обернулся к пяти «квадратам», стоявшим у реки.

— На вас замечаний нет, и сейчас вы под конвоем пойдете домой, но... запомните, что я сейчас говорил. Фор!

Воспользовавшись тем, что внимание немцев было сосредоточено на людях, входивших за колючую проволоку, Женя пробралась к самой кромке берега, спустилась

вниз

и поползла. Руки скользили по снегу, срывались, и каждое мгновение казалось: все! — ухнет

она сейчас в реку, затянувшуюся хрупким ледком. Впервые в жизни Женя досадовала на то, что тело у нее такое сильное да большое. Ей все время казалось, что немцы, патрулирующие

на том берегу, вот-вот увидят ее, а на этом берегу слышат, как скрипит и оползает под ней снег.

Но все обошлось благополучно: мост остался позади, а над головой, пороша белой пылью, зашумели ветки сосен. Женя быстро вскарабкалась наверх и побежала. В полукилометре от строительства остановилась, запыхавшаяся. «Куда бежать: к Кате или в отряд? Отряд слишком далеко, а Катя... Где ее искать? Позавчера пошла в Лебяжий, где сегодня — неизвестно».

Неподалеку заскрипел снег. Женя спряталась за дерево. Шаги смолкли, и суровый мужской голос спросил:

— Кто?

Опять тяжело скрипнул снег, и в нескольких шагах перед собой Женя увидела мужчину

с винтовкой. В первую минуту девушке показалось, что перед ней великан вырос. Да и неудивительно: мужчина был очень широк в плечах и на целую голову выше ее. Лица в темноте не было видно.

— Я колхозница. Со строительства иду домой... — А ты... где партизаны... не знаешь?

— Ни! — И Женя подалась назад. Мужчина молча шагнул к ней.

— Сказала, не знаю! — вскрикнула она и побежала. Шагов позади не было слышно.

«Кто же это? — всполошенно подумала Женя. — А может, не от немцев, а свой?» Она остановилась и наморщила лоб припоминая. Нет, после того как не стало Феди Голубева,

ни

разу не встречались ей мужчины такого роста. К тому же среди русских только старики остались, а у этого голос молодой.

«А что, если он к нам от Красной Армии для увязки? — Сердце радостно заколотилось. — Если бы предатель — не отпустил бы, погнался бы...»

— Товарищ! — позвала она тихо.

Никто не ответил. Женя вернулась по следам. Никого! От места встречи следы вели к Большим Дрогалям. След от следа шел далеко. Видно, зашагал крупно и быстро...

— Товарищ!

Ответа не было.

«Нет! Если бы от Красной Армии, на явку бы пришел... А если не из армии, кто ж он тогда?»

Мысли ее отвлек грохот взрыва. Он донесся с той стороны, где пролежала железная дорога.

«Наши, наверное, партизаны!» — обрадовалась Женя.

Глава шестая

Отряд Шенделя проплутал в лесу более суток. Два раза попадали в болото. Из двадцати пяти человек осталось восемнадцать: четверо увязли в трясине, трое затерялись где-то в чаще. Усталые кони проваливались в сугробах, наталкивались мордами на деревья.

— Штарик! Штарошт! Михеич не отзывался.

Офицер в бешенстве вздыбил коня и нажал кнопку фонарика.

Михеич сидел на коне, точно дед-мороз, весь обсыпанный снегом.

— Ты нас в обман есть заводиль? Я поняль!

— Не в обман, господин немец, в лес, — спокойно сказал Михеич. Он снял с бороды снег и, скатав его комочком, проглотил. — А коня на задние ноги не к чему становить, коли у самого мозга квашены.

Немец не понял. Поднес фонарик почти вплотную к лицу старика и весь затрясся, увидев в его глазах искорки смеха.

— Потшему... затшем в твой глаза радость? Снежный вихрь дунул Михеичу прямо в лицо. Старик зажмурился, улыбнулся.

Немцы, сбившись тесной кучкой, злобно загалдели.

А ветер, дувший с востока, вдруг изменил направление. Небо стало светлеть; красным огоньком мелькнула в нем звездочка, вторая... Офицер опять подступил к Михеичу.

— Ты хотеть шизнь?

Михеич молчал, глядя в даль. Мгла редела, и стали видны деревья. Они были впереди еще метров на десять — пятнадцать, до крутого бугра, а дальше белым бескрайным пологом расстилалось «Бесовское болото», не замерзавшее даже в самые лютые морозы.

Ругнувшись, офицер занес над головой старика шашку.

— Хотеть ти шизнь?

— Хочу.

— Заводийт нас обратно на город, в дом! Ну?

Михеич засмеялся и тронул лошадь. Вероятно, в памяти у него в эти минуты проходила вся его жизнь; может быть, молодость вспомнилась. Смотря на небо, которое все больше светлело от проступающих звезд, он запел дрожащим голосом:

Ты не вейся, черный ворон,

Над моею головой...

Кони, видя перед собой мерцание света, пошли быстрее. Михеич сдавил своему бока ногами, хлопнул его по шее. У солдата, сидевшего позади, мелькнуло опасение, как бы старик не ускакал вперед и не скрылся в лесной мгле. Он крепко сцепил на его груди руки

и угрожающе твердил одно слово:

— Штарик!

Вот и последние деревья... Михеич гикнул. Несколько коней, оторвавшись от земли, рванулись на белый простор.

— Цетер! — раздался крик.

Офицер круто осадил своего коня. С воплем: «Цетер!» его солдаты вставали на четвереньки и во весь рост на спины лошадей, быстро погружавшихся в хлюпкую черноту. Конь, на котором сидел Михеич, под двойной тяжестью уходил в трясину быстрее остальных. Но Михеича, видно, это нисколько не пугало. Он, смеясь, смотрел на солдата, который сорвался с коня и сразу же увяз по пояс.

— Соответствует... На земле Зимина не нашли — там пошарьте. Искать — так уж везде.

Офицер приказал солдату, сидевшему со стариком на одном коне, бросить его назад. Михеич, поняв это, хотел соскользнуть в болото, но солдат не выпустил его. Сутулый и сильный, как горилла, он приподнялся и швырнул Михеича на берег, к ногам офицерского коня, нервно бившего о снег копытами. Но и сам не удержался, плашмя рухнул в болото. Спрыгнув с коней, немцы подняли Михеича. Беспокойные лучи фонариков скрестились на его лице.

— Где есть дорога?

— Да кто знает? Может, где и есть...

— А ти... будешь показайт... где?

Михеич покачал головой.

— И рад бы в рай, господин немец, да грехи не пускают, не авторитетный я по этой части.

На том месте, где барахтался солдат, первым слетевший с коня, зиял черный круг.

Другого засосало трясинной по грудь, и он торчал, как чугунный бюст, а из широко открытого

рта его рвался однотонный вопль:

— А-а-а-а-а-а-а!..

Двух коней затащило целиком — грязь там вспучилась продолговатыми овалами, и в эти черные овалы, с поднятыми руками, с винтовками за плечами, погружались немцы, оглашая воздух диким ревом:

— Цетер!..

— Влипли? Оно и соответствует... Не ищите, собаки, среди русских людей предателей.

Офицер тоже спрыгнул с коня и растолкал солдат.

Михеич вздохнул: не пришлось умереть легкой смертью. И все же, что бы ни ожидало

его, — это будет лучше, чем смерть в немецком застенке. Не зловещие, обрызганные кровью

стены окружают его, а родной лес, исхоженный за долгую жизнь вдоль и поперек. Ветер притих, и лес словно затаил дыхание, чтобы слышать, как будет в последние мгновения жизни биться его, михеичево, сердце, чтобы потом своим глухим шепотом рассказывать об этом всем, кто будет приходить сюда, к «Бесовскому болоту». А звезд над головой становилось все больше, и они были уже не красные, а чистые, как слезы, и на белые сосны

и землю падал от них голубоватый свет.

— Тебе сейтшас будит собатший смерт! — закричал офицер.

Михеич гордо взглянул в его искаженное бессильной яростью лицо. Солдаты поежились.

— Нет, гады, это не собачья смерть, когда отдают жизнь за родную землю... Гордая, человеческая!.. Вот я перед вами, старик, — истерзали, стало быть, вы меня. Ноги не стоят.

А сломили? Вот вам! Двадцать пять вас было, а сейчас?.. А? Вон как болото булькает... Очень соответствует! И вы думаете, выберетесь отсюда. Нет! В болотах не увязнете — от партизанской пули гнить ляжете. Ха-ха-ха...

Говорить ему было трудно, он задыхался, а немцы, пораженные дерзостью старика, стояли, разинув рот.

— Не подумайте, что разговариваю с вами: человеку речь не для того дадена, чтобы ее на разговоры с гадюками тратить. Я приговор вам зачитываю, как беспартийный большевик!

Он впился глазами в лицо офицера и снова рассмеялся.

— По подвалам-то больше не лазишь? Ага! А дрожишь-то, как при знакомстве с Полканом. Дрожи, гадина, дрожи! Видать, гадаешь, что для тебя лучше: партизанская пуля или болото? Я скажу тебе — и то и другое хорошо. Оно и соответствует.

Офицер затопал ногами.

— Потщему смех?

И этот его крик вывел из оцепенения солдат, они разом взвыли:

— Капут! Ходить на город... Капут! Офицер выхватил из-за пояса нож.

Глава седьмая

На дороге, у окраины села, стояли солдаты, настороженно вглядываясь в темноту.

Катя вынула из-под полы простыню и, укрывшись ею, поползла по снегу.

...По улице, на которую она выбралась, плача ходили дети. Из одного двора выбежала девочка лет семи, очень похожая на Нинку тети Ньюши.

— Тетенька, дорогая, — она судорожно схватила Катю за руку, — иди ко мне в дом — страшно.

— А ты чья?

— Мамина. Ленкой меня зовут.

— А мама где?

— Не пришла.

— Придет, а ты пойди пока к соседям. Девочка заплакала.

— Нету соседок, тетя... Одни старухи, которые не умеют ходить.

— Где же все люди?

— Не знаю... не пришли...

Катя встревожилась. Что сделали немцы с жителями этого села? Почему в домах одни

маленькие дети и дряхлые старики?

— А Ньюшку соседкину нынче немец застрелил, — прошептала девочка.

— За что?

— Она маму свою пошла искать... Вышла за село, а там немцы с ружьями. Заорали на нее, а она все идет, дура. Немцы — пах! пах!

Прижавшись к Кате, девочка всхлипнула.

— Теть, а мама придет?

— Придет, Леночка, придет. Пойдем к тебе в дом.

В нетопленной, обледеневшей по углам избе дрожали еще двое детишек поменьше Нинки. Катя успокоила их, разделила на три части кусочек хлеба, хранившийся у нее под полкой в прорехе полушубка, и уложила детишек спать, тщательно закутав их в какие-то лохмотья, обнаруженные в запечье.

Когда она вышла из избы, улица была уже безлюдна, но в домах, почти в каждом, слышался боязливый плач детей.

Семен Курагин — он стоял у калитки — засуетился, пропуская гостью во двор.

— Что с народом, дядя Семен?

Хозяин развел руками.

— Сам только-только приехал. Вот видишь — и коня еще не распряг.

Он поскреб бороду.

— Подозрение есть, Катерина Ивановна. — Голос его надломился тонко, как у паренька. — Немец один нынче хлопнул меня по уху... Я огрызнулся, а он: «Ну! За

колючую

проволоку хочешь?» Молчу, а он от веселья, как кот облизывается: к ночи, говорит, всех вас за колючую проволоку. А чтоб не скучно было, мы, — говорит, — концертики

организуем:

«матка старый — слезы, мальтшик мальый — ей! ай!» Для этой цели, говорит, и радио в каждом селе поставили. Думал, Катерина Ивановна, зудит он меня, вроде как собаку. А приезжаю домой, смотрю... Ах, Егор те за ногу!..

У Кати учащенно забилось сердце. «Должно быть, так оно и есть... Это по-ихнему».

— Да что ж я?.. — спохватился Семен. — Пожалуйте в избу, Катерина Ивановна, не обидьте...

В избе было безжизненно тихо и темно.

— Вот... пусто, — проговорил Семен, закрывая дверь. — Ни жена, ни дочка не вернулись.

Нашарив на полке спички, он зажег каганец. Катя села за кухонный стол.

Семен достал из-под печки полено и принялся откалывать ножом щепы, чтобы разжечь самовар.

— С Лексей Митричем свиделся, Катерина Ивановна, и всю международную обстановку от него вызнал — доподлинно и подноготню. А бандюков в шинелях, к слову сказать, тоже изничтожили. Под корень, выходит. Только атаман их кривоногий... сбежал, сволота!.. Ходит слух, будто это сын старосты с Красного Полесья, что теперь десятником

на

мосту.

Семен взглянул на Катю, и ему показалось, что она спит, облокотившись на стол.

Осторожно положив полено, он на цыпочках подошел к столу. Катя, не отрываясь, смотрела

на трепещущее пламя каганца. Глаза ее были синие-синие, и на скулах, не переставая,

двигались желваки.

«Да, немедля в лес... Только это спасет их... и тем, которые за колючей проволокой, развяжет руки...»

— Только так и — быстрее! — шепотом слетело с ее губ, и она, оглянувшись, порывисто встала.

— Дядя Семен, я попрошу тебя... обойди дома, собери стариков, которые еще могут двигаться, и детишек постарше. Если нет таких, займись один. Надо одеть всех потеплее и приготовить самое необходимое... Ты сообразишь, а я...

Она задумалась: в отряд — слишком далеко, лучше к уваровцам, это ближе... От них ко всем селениям, осевшим в лесах, гонцов послать — и в отряд...

— Я бегом, дядя Семен. На рассвете здесь будем... Понимаешь?

— Мои мысли, Катерина Ивановна.

— Только поскорее, дядя Семен, а то детишки с голоду перемерут: маленькие они, беспомощные...

— Да мы сейчас это. — Семен взялся за шапку и снова положил ее на стол. — Опять забыл, Катерина Ивановна, вот память, Егор те за ногу! От той девушки, что меня с

Лексеем

Митричем свела... письмо оставила.

Он встал на колени и принялся приподнимать половицу.

— Вот здесь оно у меня, в аккурат.

Половица отошла. Семен нашарил в дыре тряпочку, развернул и передал Кате бумажку.

«Катюша! Вчера вечером половину листовок распространила у себя на хуторе, — сообщала Маруся. — В народе большое волнение; похоже на то: и верят и не верят. Немцы приказами и по радио объявляют брошюру подложной. Утром разговаривала с двумя колхозницами, которым вполне доверяю. Одна сказала: „Хорошо в листовке-то, душа замирает, да только на настоящую бы взглянуть — какая она... А то эти-то листовочки, слышь, от руки писаны...“ Нет ли у тебя, Катюша, свободного экземпляра брошюры? Если есть, оставь у дяди Семена...»

Не дочитав, Катя сунула записку в карман, попрощалась с хозяином и, выйдя со двора, побежала к дороге.

Ветер, со свистом гулявший двое суток по полям и пустынным улицам, притих; лес, когда вошла в него Катя, стоял, словно неживой, — ни одна ветка не шевелилась.

Ноги застревали в сугробах. Никогда еще этот лес не казался ей таким бесконечно большим. Выбившись из сил, Катя остановилась. Где-то впереди нее должно быть

«Бесовское болото» — ведь от Жукова до него не менее пятнадцати километров. Катя

тяжело

перевела дыхание.

Она еще не решила окончательно, куда направиться: к ожерелковцам или к уваровцам?

Где расположились уваровцы — это она точно знала, а вот об ожерелковцах знала только, что они где-то здесь, по левую сторону болота. С той минуты, как дошла до нее весть о побеге односельчан из концлагеря, сердце непреодолимо рвалось к матери, к Мане, к

Шурке.

Хотя бы одну минуту побыть с ними, посмотреть на них, обнять... Она уже совсем было решилась, но в памяти мелькнули заплаканные лица жуковских детишек.

«Нельзя! Проплутаешь целый час, а на счету каждая минута».

Завязав потуже шаль, она пошла и снова остановилась: близко послышались голоса.

Немцы... Хотела спрятаться за дерево, но ее уже заметили.

Это были эсэсовцы из отряда Шенделя. Двое на конях, остальные — пешие: кони увязли в трясине.

Катя побежала. За спиной ее грохнул залп. Одна из пуль просвистела возле виска, другая вырвала клоч из рукава полушубка. Катя прилегла, за бугор. Она не волновалась: на каждом шагу ее ждала смерть — привыкла. К тому же — лес; здесь она дома. Только не горячиться, вернее выбрать решающую минуту. За поясом у нее было две гранаты. Она отцепила их и стала ждать.

— Рус! — долетел до нее сиплый голос. — Ми нитшего плёхой! Виводить нас, пошалуется, из лес...

От немцев отделились две фигуры и пошли прямо на нее.

«Только двое!» От досады у Кати даже губы задрожали. Она уже представляла, как немцы кинутся на нее толпой (это же в их характере!), как метнет она в них обе свои гранаты...

«Ну, двое, так двое!» Она бросила гранату и побежала. Выстрелы гремели за спиной, но, странно, свиста пуль не было слышно. Катя оглянулась. Оба немца, сраженные ее гранатой, валялись на снегу, а там, где были остальные, в облачках дыма вспыхивали огоньки. Однако пули летели не к ней, а совсем в обратную сторону. Один немец приподнялся и тут же рухнул вниз лицом. Катя остановилась, изумленная.

«Кто же в той стороне? Партизаны? А может, из ожерелковцев кто? Да, впрочем, это неважно, кто именно: стреляют в немцев — значит, свои... А раз свои, надо скорее помочь», — все это мгновенно пронеслось в ее голове. Не пригибаясь, она кинулась к немцам. Сквозь дым разорвавшейся гранаты увидела: два солдата вскочили и побежали. Следом за ними, заржав, метнулся белый конь, второй — с черными пятнами на боках — пронесся мимо нее, волоча на стремях мертвого немца. На снегу остались четыре немца, убитые не то ее гранатой, не то пулями тех, кто так во-время подоспел на выручку. Она выжидательно обернулась в ту сторону, откуда стреляли свои.

Из-за деревьев вышел высокий мужчина в пальто, с винтовкой в руках. Катя пригляделась к нему — и обмерла: «Федя!»

Федя смотрел на нее, не узнавая: она стояла перед ним в рваном полушубке, лицо закрывала шаль.

Он медленно снял с головы шапку.

— Здравствуйте. Вы не партизанка? Я партизан ищу. На лице его лежало выражение сурового спокойствия; глаза смотрели холодно.

— Феденька! — вырвалось, наконец, у Кати, но неуверенно, робко: она все еще не могла окончательно поверить, что перед ней он.

Федю качнуло. Почувствовав, как светло и жарко стало у него на душе, он понял: Федор Голубев жив, и любовь в его сердце жива.

Даже на расстоянии, даже сквозь голубовато-серый ночной воздух Катя увидела, как радостно вспыхнули его глаза.

Она бросилась к нему и разрыдалась на его груди.

Глава восьмая

Федя знал, что не ослышался, но ему хотелось, чтобы Катя повторяла это слово много, много раз. Сжав ее руки, он восторженно шептал:

— Повтори! Сказка моя голубоглазая... повтори!

Катя молчала. Щеки ее пылали, а глаза... «Звезды! Истинный бог, звезды!» — вспомнились ему слова Василисы Прокофьевны.

Они стояли в чаще леса, недалеко от места недавнего боя. Над головой раскинулось

просторное звездное небо. Сосны стояли тесно, будто одевшаяся снегом, застывшая толпа гигантов.

Федя счастливо рассмеялся.

— Хочешь — сквозь весь лес на руках бегом пронесу, только повтори!

В глазах ее замелькали золотистые точки. И сколько ласки, сколько нежности было в их светящейся голубизне!

— После войны, — прошептала она.

— Сейчас.

Она покачала головой. Федя настаивал, и в голосе его звучало все большее недоумение.

Нахмурившись, Катя наклонила голову.

— Феденька... Понимаешь? Мы сейчас не можем принадлежать самим себе. Вот после войны... тогда...

Она говорила, путаясь в словах, тихо, но убежденно: в словах ее слышалась мольба.

Тяжело вздохнув, Федя выпустил ее руки, и на его лицо точно тень от облака набежала.

Он слышал катин голос, но не вдумывался в ее слова, не нужно было слов — главное ясно:

не хочет повторить — значит... Конечно, так! Догадалась о его чувстве к ней и пожалела...

Парень, мол, истерзан пытками, ожесточился... «Дай, — подумала, — согрею его словом, приласкаю, может быть не так холодно у него на душе станет». Сказала сгоряча:

«Любимый»

— и спохватилась. Эх, Чайка!

Губы его шевелились, порываясь сказать: «Не надо повторять, я понял все...» Но в груди сделалось душно.

— Федюша!..

Он отвернулся.

— Феденька, не сердись, дорогой!

В голосе Кати прозвучали слезы. Федя взглянул на нее. Голубые глаза смотрели на него

— умоляющие, любящие... И мысли, только что терзавшие его душу, показались вздором.

Он улыбнулся широко, открыто, радостно.

— После войны — так после войны, согласен... А поцеловать тебя до окончания войны... можно?

Катя отшатнулась.

— Зачем? — прошептала она, чувствуя, что у нее не найдется сил сказать ему «нет».

Она прислонилась к сосне, расслабленная, растерянная... Нет, она никогда не предполагала, что любовь может быть такой сильной. То, что творилось у нее в груди, в голове, во всем теле, было похоже на дружную весну, на половодье. Каждый нерв жил, пел. А все вместе они были как бы неисчислимыми тысячами журчащих ручейков, горячих,

таких

горячих, что тело, казалось, охватывало пламенем. И все эти ручейки впадали в сердце, и оно

оно

росло, росло — большое, горячее. Тесно становилось ему в груди, и не было сил приостановить его рост. Казалось, еще мгновенье — и оно выплеснется наружу, и не станет ни ее, ни воздуха, ни этой ночи. Будет одно ее сердце, плещущее, как вырвавшаяся из-под льда река. Оно заполнит собою весь лес и будет стучать, стучать, и сразу посветлеет все от чувства, которое жжет его, кружит ей голову, расслабляет мышцы...

Как бы желая защититься от захлестнувшего ее чувства, она попыталась думать о детишках, плачущих в холодных и темных избах, о их матерях, терзающихся за колючей проволокой, но вокруг шумел лес, и в этом шуме слышался страстный, нежный шепот:

— Сказка моя голубоглазая!

И все отступало вдаль. Перед глазами, хотя она и не смотрела на него, стоял он — красивый, сильный...

Странно: почему она прежде не замечала этого. Она знала, что он умный, что у него веселая, светлая душа. Она любила и его ум и душу, но почему-то ни разу не задавала себе вопроса: красив ли он? А он... Наверное, трудно в целом свете найти парня красивее его! Очень странно... Точно слепая была! Ведь знала на память каждую черточку его лица и не замечала, что, сложенные вместе, они такие чарующие. Может быть, это из-за седых волос? Нет... Просто непонятно, из-за чего... И так же непонятно, почему раньше она не замечала, что нынешняя зима такая красивая. Никогда в жизни не видала она у неба такой сверкающей

голубизны. И сосен таких зеленых не было... Как мягко укутал их снег — будто в заячьи шубки оделись.

Она не знала, сколько прошло времени — мгновения, минуты, часы? Он — ее любимый, ее седой богатырь — стоял все на том же месте, в двух шагах от нее, а улыбка на его лице становилась все светлее и светлее.

Так горячо всему телу! Разве можно смотреть в его глаза и сказать «нет»? Стыдно как-то и в то же время так изумительно хорошо... Всю жизнь бы так стоять и ощущать на себе его взгляд! Зачем спрашивает? Стыдно ведь сказать «да». Взял бы и поцеловал...

Точно угадав ее мысли, Федя протянул руки, и Катю охватило еще большее смятение. «Зачем? Разве я сказала „да“?.. Нет, я не говорила, ничего не говорила...» Федя шагнул, и ей стало страшно чего-то и так радостно...

— Можно? — обжег ее лицо шепот.

— Не надо, — запротестовала она тихо, но руки против воли вскинулись и потянулись к нему. — Разве... только один раз...

Она хотела сказать «не больше», но дыхание ее вдруг остановилось, земля выскользнула из-под ног, сосны закружились и небо покачнулось. Звезды на нем ожили: казалось, они посыпались с него, как золотые яблоки.

Держа на руках свою «голубоглазую сказку» и целуя ее в губы, в глаза, Федя шептал:

— Хочешь, подкину до самого неба? На луну посажу?

— Посади, — улыбнулась Катя и, крепче обвив его шею руками, зажмурилась.

Она ощутила себя на его руках маленькой, и ей нравилось быть такой маленькой и беспомощной.

— Держись, сказка моя, — засмеялся Федя и побежал, неся ее на вытянутых руках.

Катя хотела сказать, что в той стороне, куда он бежит, должно быть болото, но не сказала и тоже засмеялась.

Война, немцы — все это осталось где-то в подсознании, как когда-то виденный дурной сон. В действительности же был только этот веселый лес, обрызганный звездным светом, и

в

нем она и он — ее седой богатырь, да еще воздух — звенящий, как незнакомая, но чудесная,

до слез волнующая мелодия, и легкий, как счастье. И казалось, так было всегда с той минуты, когда пришла она в жизнь, и всегда так будет. «Как обжигают его губы! И это совсем не стыдно. Любить — разве может это быть стыдным?»

Она хотела найти губами его ухо, чтобы шепнуть, что сердце ее остановилось, точно замороженное, и горит — большущее, светлое... и какая-то песня в нем — широкая, как Волга в весенний разлив. От всего этого кружится голова, но это несказанно приятно, —

пусть кружится все сильнее и сильнее. И еще хотелось шепнуть ему, что она его вся и навсегда, до бесконечности... Но губы натолкнулись на пустоту, а руки, обвивавшие его шею, против желания вдруг расцепились и упали. Под ноги попало что-то твердое. Догадалась — земля. Она дрожала под ногами и плыла из стороны в сторону. Впереди качнулась тень, не похожая на тень ветки. Катя вскинула вверх глаза и увидела покачивающиеся босые ноги с вытянувшимися подошвами. Верхнюю часть туловища повешенного и его голову скрывала темнота.

Катя медленно подняла руку с фонариком и, взглядевшись в окровавленное лицо, долго стояла без малейшего движения; потом вздрогнула и чуть слышно сказала:

— Михеич...

Федя бережно обнял ее, но она отстранилась, чтобы скрыть от него пылающее лицо. Ее мучило страшное ощущение, будто черные провалы глаз с лица казненного глядели на нее молчаливым укором за только что пережитый ею миг волшебного счастья. Это ощущение было так неожиданно и сильно, что она на какое-то мгновение забыла, что перед ней труп,

и

ждала, что губы Михеича зашевелиятся и сурово скажут: «Не соответствует, Катя... Стыдно!»

— Пойдем, родная, — ласково позвал Федя. — Потом мы придем сюда и похороним.

Катя отчужденно повела взглядом. Небо было не голубым, а темно-серым, сосны шумели мрачно, негодуя...

— Не надо, не провожай, я одна... Ты найдешь в отряд дорогу?

— Может быть, найду.

— Хорошо, а я... До свидания, Федюша!.. Она вытерла наворачившиеся слезы и, не оглядываясь, побежала к уваровцам.

Глава девятая

Тимофей Стребулаев вернулся со строительства поздно ночью. На хуторе было тихо, и лишь откуда-то с окраины доносился надрывный лай собаки.

Степка ввел лошадь во двор. Ветер раскачивал дверь конюшни, и по снегу двигалась черная тень... Степка смотрел на нее настороженно. Он теперь боялся всего: всюду мерещились то партизаны, то фон Ридлер. Распрягая лошадь, прислушался: отец с кем-то разговаривал на улице.

— То-то, я смотрю, обличье вроде незнакомое, — говорил он. — А что же ты в Смоленске будешь делать? Хрен редьки не слаще! Что там, что здесь — плоть немецкая, а спина русская.

— У меня брат там, — тихо сказал женский голос, показавшийся Степке знакомым.

И опять голос отца:

— Ночью-то зря идешь — время теперь дикое, кто хочешь может обидеть. Заночевала бы у нас на хуторе. В любую избу постучись — пустят: русские люди, крещеные. Хочешь,

ко

мне пойдем. Баба чайку подогреет. Переспишь в тепле до утра...

Степка удивился и внезапной доброте отца и его голосу: так дрожал отцовский голос только при сильном волнении.

— Спасибо на привет. Я тороплюсь, дядя: брат при смерти, — ответил женский голос.

Наступила пауза. Слышно было, как с подвыванием проносился по улице ветер.

— Ну, иди. Бог тебе охрана, — ласково проговорил голос отца.

Степка шагнул было к воротам, но отец уже стоял в распахнувшейся калитке.

— С кем это ты там, тять?

— Беженка смоленская. Да глупая какая-то — в ночь идет. Говорил ей, переспала бы у кого-нито до утра, не хочет, — громко сказал Тимофей.

Он захлопнул калитку и, обернувшись, погрозил кулаком. Степка понял: надо молчать. Минуты две-три Тимофей молча смотрел в щель, потом быстро растворил калитку и выбежал.

Степка снова принялся распрягать лошадь, но любопытство мучило его так сильно, что он оставил дугу болтающейся на одной оглобле и вышел на улицу.

Ветер мел по дороге снег. Похоже было, что опять собиралась разыгаться вьюга: небо, час назад сверкавшее звездами, помутнело, а с запада на него наплывала синяя туча. С окраины продолжал доноситься собачий лай. Отца не было: вероятно, скрылся за углом переулка. Степка вынул из кармана газетный лист и зазябшими руками принялся крутить козью ножку. Закурить не успел: из переулка выскочил отец, подбежал, запыхавшийся.

— Скорее ко двору Кулагиных... Волгина! Упустишь ежели — на куски разорву.

Выйдет со двора, а ты — за нею. За селом хватай. Только не придуши, чорт кривоногий! Живую надо! А я — мигом...

Во дворе хрипло выругался: лошадь была наполовину выпряжена.

— Помогай! — крикнул он выбежавшей на крыльцо жене и схватился за дугу.

Степка стоял у калитки, уронив к ногам незакуренную цыгарку. Он выслушал приказ отца без малейшего энтузиазма: сразу вспомнился страх, пережитый им под сосной у Глашкиной поляны, и по спине пополз холодок.

Стягивая дугу, Тимофей оглянулся на него и весь задрожал от бешенства:

— Ты что же, кривоногая тля?! Марш!

Улица, на которой стоял дом Кулагиных, была такая же безлюдная и беззвучная.

Озираясь, Степка забрался на завалинку и приник ухом к полуприкрытым ставням.

В горнице разговаривали:

— Зажигал спичку? Катюша, я боюсь.

— Ничего, Манечка.

Отец не ошибся: у Кулагиных была Волгина.

— Я уверена, что не узнал, — говорила она. — Да и как узнать, когда у меня из-под шали только глаза да переносица видны. — Она засмеялась. — Да и глаза-то вряд ли видел: они у меня не смотрят — так спать хочу! Знаешь, о чем я всю дорогу мечтала? — Опять послышался ее смех. — Думаю: приду к Марусе, разберусь — и в постель часика на два, на три. Давно по-человечески не спала — на кровати, под одеялом, под головой подушки...

— Неужто и не поужинаешь? — послышался огорченный женский голос.

«Мать учительки», — узнал Степка и еще плотнее приник ухом.

Опять говорила Волгина:

— Нет, тетя Наташа. Сейчас для меня ничего слаще постели нет. Я, как деревянная, честное слово! Не лягу, — так стоя засну. Ты организуй все, Манечка. Ровно в четыре у Лопатиных: у них изба просторная. Думаю, до рассвета управимся, обо всем поговорим...

Еще что-то неразборчиво сказала Маруся, и в избе все стихло.

«Вот и ладно. Со спящими иметь дело лучше», — облегченно подумал Степка.

Он сел на завалинку и достал кисет. Закурить опять не пришлось — хлопнула сенная дверь. Степка вскочил и отбежал за угол двора.

Из ворот вышли Маруся и ее одиннадцатилетний брат Коля.

Подбежав к соседнему дому, он постучал в ставню.

— Это я, Коля Кулагин.

Мальчика впустили во двор. Не больше чем через минуту он выбежал и, что-то крикнув

сестре, пустился через дорогу к дому Орловых.

Маруся ушла домой.

А вьюга, начавшаяся протяжным посвистыванием, разыгрывалась, и к тому времени, когда Коля обежал около двух десятков дворов, она уже гудела и выла за каждым углом. Выбежав от Семеновых, мальчик зажмурился.

С боков напор ветра сдерживали дома, а по дороге он мел снег волнами, крутил его; и, казалось, что к небу взматывается множество белых костров.

Загораживая лицо руками, Коля с трудом сделал несколько шагов. Вдруг ему почудилось, что он слышит прорывающиеся сквозь вой ветра голоса немцев, скрип саней. В белой мгле заколыхалось большое темное пятно.

— Но, стерва... Н-но!..

Коля узнал голос и, вспомнив рассказ Кати о ее встрече со старостой, что было сил пустился к дому. Ветер валил с ног, снег слепил глаза, а позади с каждым мгновением все ближе и отчетливей — голоса немцев, храп лошади...

— Но, чортово семя... Н-но!.. — настигал голос старосты.

Коля оглянулся. Сани были битком набиты немцами. Тимофей Стребулаев стоял в них, широко расставив ноги и замахнувшись кнутом. Корпус его отклонился назад, шапку сбило ветром на самый затылок.

Над лошадью облаками клубился пар. Она неслась с запрокинутой мордой.

Коля напруг последние силы. «Только бы успеть проскочить во двор: Катя сможет убежать через заднюю стену двора».

Вот, наконец, и ворота. Он всем телом толкнулся в калитку; и тут чья-то рука схватила его за ворот.

— Нем...

Степка зажал ему рот рукой, а позади них бешено раздалось:

— Тп-р-ру!..

Карл Курц первым выпрыгнул из саней. По его знаку солдаты сорвали калитку и толпой ворвались во двор.

— Помоги-те! — закричал Коля.

Из соседнего двора выбежали две женщины: одна в шали, другая в легонькой кофточке и калошах на босу ногу.

Тимофей бросил вожжи. Вдвоем с сыном они втащили вырвавшегося Колю в избу. Перед воротами остались пустые сани. Лошадь стояла, низко опустив морду и роняя на снег с окровавившихся губ клочья пены; бока ее вздымались тяжело; шерсть свисала смерзшимися сосульками. Из избы на улицу доносились возня и крики. Женщина в кофточке, обронив калошу, вспрыгнула на завалинку.

В избе прогремел выстрел. Фанера в крайнем окне, вставленная вместо стекла, дрогнула, с треском отлетела, и на улицу выпрыгнула Маруся.

— Скорее, соседки... тревогу надо... Набат!

Из окна выстрелили. Женщина в кофточке коротко вскрикнула и упала, пятная кровью снег.

Маруся побежала. Но улица вдруг наполнилась глухим шумом: по ней, окутанные белыми вихрями, бежали солдаты, наверное из соседнего гарнизона. Маруся свернула в переулок.

Солдаты, тревожно галдя, столпились возле лошади.

Катю выволокли на улицу босую, в одной рубашке и бросили в сани.

Курц задержался у калитки, глядя на своих солдат, которые бегом выносили из хлева

снопы соломы и складывали их на крыльце.

Один чиркнул спичкой — солома задымилась, затрещала. Одобрительно кивнув, Курц весело крикнул:

— Фор!

Тимофей дернул вожжами.

Солдаты хохотали и перекидывались шутками, наблюдая за лошадьёю, которая смешно переставляла ноги, словно пьяная. Внезапно лошадь заржала — тоскливо и звонко; передние

ноги ее подогнулись, и она упала.

Дон-дон-дон-дон... — тревожно загудел сквозь вой метели набат.

Немцы суетливо защелкали затворами винтовок.

Курц побежал к Тимофею, с натугой силившемуся поставить лошадь на ноги.

— Не пойдет, ваше благородие, — угрюмо проговорил Тимофей и безнадежно махнул рукой. — Слышишь, как дышит, — нутро зашлось. — Повернув голову к Степке, тихо добавил: — Боюсь, как бы совсем не пропала, — загнали...

Курц зло крикнул:

— Конь!

Тимофей не понял. Обведя широким жестом темневшие во мгле дома, офицер ткнул пальцем в морду лошади и затопал, подражая бодрой походке коня. Тимофей покачал головой.

— Нет, ваше благородие, изо всех дворов только у меня лошадь.

Дон-дон-дон... — все тревожнее и учащеннее звучал набат.

На улицу выбегали старики, женщины: кто с топорами, кто с вилами. Видя столпившихся на дороге немцев, останавливались: никто ничего не понимал. Некоторые испуганно смотрели на двор Кулагиных, из ворот которого валил густой дым. Давно ли прибежал Коля с сообщением от сестры, что сегодня ночью состоится важное собрание?

Дон-дон-дон-дон...

Что означал этот набат? То ли надо спасаться, то ли спасать кого?

Немцы без команды открыли стрельбу. Послышались крики, стоны... Катя догадалась: набат для нее. Она поднялась в санях во весь рост.

— Не надо, товарищи! Не поможете!

Вряд ли кто расслышал голос Чайки, но желание ее исполнилось: люди, скрывшись во дворах, плотно прикрывали калитки.

На улице не осталось ни одного хуторянина, а стрельба не прекращалась.

Пули пробивали ставни, с тонким звоном разлетались стекла. Курц пугливо озирался: что, если услышат партизаны? Он приказал фельдфебелю занять все дороги, чтобы до утра ни один житель не смог выйти с хутора. Потом отобрал десять солдат и окликнул Катю: «Ти!»

Держа руку на груди, она не сводила глаз с дома Кулагиных, из-под крыши которого лохмато и с треском прорывался огонь.

Там, в этом доме, тетя Наташа с простреленной головой, мертвая, упала на пол, а Коля жив. Вероятно, он мечется сейчас в огне и дыму, задыхается, кричит о помощи, а помочь нельзя... Что в силах сделать старики, женщины и дети со зверьем, вооруженным винтовками и автоматами? Нельзя помочь...

Офицер направил на Катю свет фонаря. Из глаз ее бежали слезы. Размахивая руками, Курц указал вдоль улицы:

— Туда... Певск!

Солдаты грубо стащили Катю на снег.

Дон-дон-дон... — надрывался набат.

Ударив еще раз в колокол, Маруся выпустила веревку и побежала. В переулке столкнулась с толпой полураздетых хуторян. Ее обступили. Что случилось? Почему тревога?

Маруся поняла: все ее старания оказались напрасными.

— Чайку увели! — крикнула она не своим голосом и, опустившись на снег, разрыдалась.

Некоторое время стояло безмолвие. Но вот кто-то вскрикнул: «Чайку, товарищи!» — и толпа встрепенулась. С десятков голосов разом закричали:

— Скорее-ей!

— Мать застрелили!.. Совсем! — судорожно прорыдала Маруся.

«А Коля?» — обожгла голову мысль. Она отняла от лица руки и хотела спросить: «Где брат?» — но рядом с ней никого уже не было. Толпа из переулка выбегала на улицу.

Немцы, оставшиеся в засаде, стреляли из-за углов. Падали убитые и раненые колхозники; остальные продолжали бежать; к ним присоединялись все новые, наспех одетые

люди.

— Чайку!.. Чайку!.. — несло по улице.

Толпа вырвалась за село и остановилась. Здесь выюжило еще сильнее — сплошной белый смерч разгуливал по полю.

Глава десятая

Ледяной ветер дул Кате прямо в лицо, с налета обертывал вокруг ее голых колен подол рубашки. Ступни по щиколотку проваливались в снег, посиневшие пальцы свело. Ее шатало

из стороны в сторону, а Курц шел сбоку, повернув к ней лицо, и под хохот солдат насмешливо командовал:

— Айн-цвай! Айн-цвай!

Щеки его надувались, как резиновые.

Широко открытыми глазами Катя смотрела вдаль.

Вот такой же белый смерч гулял ожерелковским полем восемь лет назад, в ту ночь, когда она возвращалась из Залесского, сжимая в руке только что полученный комсомольский

билет. Так же на разные голоса завывала вьюга; но тогда это казалось веселой музыкой.

Тогда от ледяного ветра, как от огня, горело лицо, метель засыпала глаза, и чувствовалось, как они смеялись. Тогда перед ней раскрывалась жизнь — волнуемое завтра с бескрайними

горизонтами. А теперь эта ночь была порогом, за которым должно наступить черное, беззвучное небытие.

И в этом небытии не будет ее товарищей и подруг, не будет Феди, который так ласково и страстно шептал ей: «Сказка моя голубоглазая...» Не будет Зимина. Не будет голубого льна, золотых хлебов, лугов с пахучими цветами и травами, широкой Волги, родных шумных

лесов — ничего не будет, все перечеркнет короткое, но страшное слово: конец.

Обжигает голые ноги снег, тяжело вздымается грудь. Сквозь свист и вой ветра, словно придавливая его, прорвался лязгающий грохот. Посмотрев назад, Курц скомандовал:

— Хальт!

Танк черной глыбой разорвал белую пелену и остановился. В люке показалась голова Корфа. Загораживая ладонью глаза, он крикнул:

— Что здесь такое?

И, услышав фамилию «Волгина», выскочил из танка, точно подброшенный толчком пружины.

Со сжатыми кулаками полковник стоял перед Катей, лицом к лицу, и жевал губами, не в силах выговорить от торжества ни слова. Круто повернувшись, указал на открытый люк. Солдаты хотели схватить Катю, за руки, но она оттолкнула их и сама шагнула к танку. В Певск прибыли затемно. В гестапо тотчас же заработали все телефоны, разыскивая по району Макса фон Ридлера. Он приехал в девять утра. В кабинете Корфа и в его канцелярии толпились офицеры, прибежавшие посмотреть на пленницу.

Корф стоял за своим столом, багровый, как кирпич. Кроличьи глаза его, уставившиеся на Катю, были выпучены, и на белках больше, чем обычно, проявились красные нити. В танке он допрашивал ее, припоминая каждое известное ему русское слово, щипал, бил, вывертывал руки, ломал пальцы — и ничего не добился, даже голоса ее не услышал. В кабинете было жарко натоплено. Синие, распухшие ноги Кати оттаяли, и возле подошв образовались две лужицы. Обмороженное тело нестерпимо ныло. Она опиралась на спинку стула и морщилась.

— Молчит, господин фон Ридлер, — подобострастно доложил прыщеватый офицер, стоявший у двери.

— Разговорится...

Катя приподняла голову.

Вот опять она видит его — зверя, залившего кровью ее родную землю. Это в его руках поседел Федя. Это он танками давил в Покатной стариков и детей. Это его помощники и по его приказу пристреливают тех, у кого не хватает сил тянуть тяжелые телеги, воздвигают

на
на
строительстве виселицы. Это они замучили и повесили Михеича. Сколько невинной крови

его черной проклятой совести!

А Ридлер был поглощен мыслью, пришедшей ему по дороге в город: как бы привлечь на свою сторону эту опасную партизанку и при ее помощи деморализовать население и главное — уничтожить зиминский отряд.

Подойдя вплотную к Кате, он ледяным взглядом впился в ее лицо.

Она не отвела глаз, и Ридлеру сделалось как-то не по себе, но он напряг всю волю, чтобы сдержаться.

— Я хорошо понимаю... Вы о себе ничего не знаете. Но... может быть, во избежание... дальнейших неприятностей, вы скажете мне, где партизаны? Не знаете?

Губы Кати медленно разжались:

— Знаю.

И в кабинете и в канцелярии стало тихо. Это было первое слово, которое услышали немцы от пленницы; а то уж некоторые из них начинали серьезно думать: «Не глухонемая ли?»

Корф точно с цепи сорвался.

— Где? — закричал он, подскочив к Кате.

— Везде, где немцы...

— А-а... — Волосатая рука схватила Катю за горло.

Ридлер отстранил полковника, хотя и сам с величайшим наслаждением сдавил бы ей

горло: злоба билась в каждом его нерве. Он отыскал среди офицеров Августа Зюсмилыха. — В камеру... «экскурсанткой»... Продемонстрируйте все... Затем — ко мне! — и пошел к двери.

На полу его кабинета валялись мелкие лоскутки бумаги — разорванный рапорт Отто Швальбе, в котором перечислялись диверсии за вчерашний день, имена замеченных диверсантов и наиболее злостных саботажников.

Ридлер перевел тяжелый взгляд на стену, на отрывной календарь. 23 ноября... Еще семь дней — и первое число! Что сможет он показать Гиммлеру? Недостроенный мост? Пустые деревни? Дела на строительстве час от часу становились хуже, а группенфюреры соседних районов — чорт знает почему! — медлят с присылкой людей, хотя с ними и достигнута полная договоренность. За четыре дня прибыли всего-навсего тридцать человек. — Другого выхода нет, — вслух подумал Ридлер, отводя взгляд от календаря. — Или я сумею заставить ее работать на меня, или... все может полететь к чертовой матери! Он хрустнул пальцами и заходил по кабинету.

Глава одиннадцатая

У счастья — короткие ноги, у горя — каждый шаг семимильный. Быстро проносится тень по земле, когда туча внезапно закроет солнце. Так и черная весть о поимке Чайки мгновенно облетела села, пронеслась по лесам...

Лес стоял, еще окутанный предрассветной мглой, когда заскрипел снег под лыжами гонцов Зимина, помчавшихся к осевшим в лесах отрядам-селениям.

Первым явился на поляну Семен Курагин, которого Зимин только вчера назначил командиром над восемнадцатью жуковцами (остальные односельчане Семена до сих пор «жили» на строительстве за колючей проволокой). Потом вместе пришли командир

залесчан

Карп Савельевич и командир покатнинцев, брат тети Ньюши — Кирилл.

Тринадцать селений осело в лесах, и к полудню на поляну прибыли от них двенадцать представителей. Недоставало командира ожерелковцев — Мани Волгиной. Но вот пришла

и

она — осунувшаяся, с заплаканным лицом... Зимин, отвечавший на приветствия молчаливым кивком, подошел к ней и пожал руку.

— Крепись, Маня!

— Я креплюсь.

— Как Василиса Прокофьевна?

— Ушла.

— Ушла?

Маня поправила ремень винтовки, съехавший на край плеча, и тихо промолвила:

— В Певск.

— Та-ак, — мрачно протянул Зимин. — Как же это ты, Маня, отпустила ее?

— Да разве можно удержать, Алексей Дмитриевич! Чай, знаете... «Дочь, — говорит, — моя голубка, в когтях у стервятников, а я тут буду...» И пошла.

Зимин отвернулся от нее к остальным командирам.

— Ну, что же, давайте поговорим. — Он указал на бревна: — Садитесь...

Партизаны кругом обступили бревна. Васька, размазывая по лицу слезы, сел прямо на снег.

Зимин взглянул на стоявшего рядом с Женей Федю и почувствовал, как по всем жилам пробежал неприятный холодок: лицо механика было страшно в своей неподвижности, словно в камень вправили живые глаза, — и из них смотрели и нетерпение, и боль, и гнев.

— Сядь, Федя, — пригласил он ласково.

Федя продолжал стоять, сложив на груди руки.

Маруся Кулагина села возле Любы Травкиной. Весь зиминский отряд был здесь, кроме часовых, Нины Васильевой, еще третьего дня ушедшей в Певск с заданием к городским подпольщикам, и тяжело раненных; но вокруг командиров слышались лишь напряженное дыхание людей и шум сосен.

— Сложный вопрос перед нами, товарищи, — тихо сказал Зимин. — Есть предложение товарища Голубеза — всеми имеющимися у нас силами сделать налет на Певск и освободить

Чайку. Это предложение горячо поддерживается и другими товарищами. Давайте подумаем:

реально ли оно?

Пока он говорил, тяжелая туча нависла над поляной, снег перестал искриться, и в лесу сразу стало темнее.

— Сестра бежит, — сказал Николай Васильев.

Зимин оглянулся.

— Товарищи, Катю-то... — Выбежав из-за деревьев, Нина окинула взглядом толпу и догадалась, что здесь уже все известно.

Зимин подозвал ее. Семен Курагин потеснился, и Нина села между ним и Карпом Савельевичем.

— Что в городе? Население знает?

— Только и говорят об этом, товарищ командир. Кто-то пустил слух, будто партизаны придут в город, чтобы, значит, Чайку освободить. Ждут нас.

— А немцы? Вероятно, дошли эти слухи и до них? Поколебавшись, Нина подтвердила:

— Я насилу выбралась... полон город немцев... На всех дорогах орудия и пулеметы выставлены... Мимо Головлева шла, из села конница помчалась. Тоже, наверное, туда.

— Слышали, товарищи? — спросил Зимин.

Взгляд его остановился на Феде.

— Это только доказывает, что немцы не хуже нас понимают, что такое для народа Чайка! — сказал Федя.

— Предположим... И что же ты предлагаешь?

— Любой ценой пробиться в город и спасти!

Гул взволнованных голосов прокатился по поляне. Васька смотрел на Федю восторженно, разгоревшимися глазами.

— Действительно! — вскрикнула Женя. — Що с того, що немцев богато? И нас немало.

Лицо ее было бледно, а глаза, полные смятения, оглядывали всех и, казалось, говорили: «Катя у немцев, а мы тут на разговоры время тратим... Ой як цэ погано!»

Зимин перевел взгляд на старика — командира отряда лебязенцев. Поглаживая седую бороду, тот тихо сказал:

— Алексей Митрич, разве забудешь... На каждом шагу ее немцы стерегли, а она шла, чтобы вызволить, стало быть, нас... Можно сказать, сквозь смерть до нас слова Иосифа Виссарионовича донесла... И это разве забудешь... кем она была для нас, Чайка-то! Не спасти... Да я тогда не то что — ни детям, ни внукам в глаза не смогу посмотреть!

Растерзали, мол, Чайку, а ты где, дед, в это время был? В лесу. А в руках у тебя что было?

Он дернул с плеча винтовку. — Ружье! А за поясом? Гранаты!

— Мои мысли! — возбужденно вскрикнул Курагин. Вскочив на ноги, он заговорил торопливо, взволнованно: — Что же получается, Егор те за ногу, а?.. Отпустили меня сюда товарищи с единогласным наказом... — Ресницы его заморгали, и лицо стало малиновым.

Лексей Митрич! Товарищ командир! Под пушками ляжем, а спасем! Спасем, Егор те за ногу!

— Спасем! — крикнуло несколько голосов.

Черные глаза Любы Травкиной, пламенея, сверкнули по толпе.

— Чего говорить? На Певск!

Ее призыв подхватили так дружно, что эхо вздрогнуло и далеко разнеслось по лесу.

Маня Волгина с радостной надеждой смотрела на партизан.

Широкая грудь Феди поднималась высоко, глаза горели. Мысленно он уже видел себя врывающимся в город впереди гневного партизанского войска.

Зимин встал — бледный, с плотно сдвинутыми бровями. Партизаны притихли. Он вытер шапкой пот со лба и остался с раскрытой головой.

— Я понимаю вас, но... плохо забывать, товарищи, про то, зачем мы с вами здесь, в лесу. И не только это...

Он посмотрел на Федю, и взгляд его, словно свинцом налитый, заскользил по лицам.

— Феде еще я прощаю, он... А вы? Разве не знаете вы, с каким трудом пришлось нам

— и больше всех Чайке — вырывать народ из фашистской кабалы? И еще не всех вырвали...

Томятся за колючей проволокой... Зачем мы это делали? Зачем это делала Чайка? Я думаю, не для того, чтобы положить народ у немецких пушек. Правильно, Маня? — спросил он Волгину, лицо которой от его слов опять помрачнело.

Она отвернулась и заплакала, уткнувшись лицом в колени.

Федя понял: Зимин хочет отклонить его предложение, а это означало: Чайка отдается немцам на растерзание... Чайка! Его сказка голубоглазая, поцелуй которой все еще горел

на его губах! Светящееся любовью ее лицо стояло перед глазами, а в ушах звучало: «Любимый мой...»

Глаза его потемнели от ярости.

— Пусть Чайка, которая жертвовала собою для народа, погибнет, а мы, окажемся в роли спасителей народа... Может быть, ордена за это получим! — прокричал он запальчиво.

— Кто ж это так думает? — строго спросил Зимин. Федя открыто встретил его взгляд.

— Тот, кто призывает отказаться от спасения Чайки.

Какое-то мгновение на поляне стояло безмолвие; потом взрыв негодования оглушил Федю.

Командир лебязенцев вскочил, и в глазах его под седыми бровями заплясали искры.

— От немцев ты потерпел, молодой человек! — закричал он, потрясая перед лицом Феди винтовкой. — Но ежели ты еще раз скажешь такое про Лексея Митрича, — богом клянусь: пуцу пулю тебе в голову, не стерплю. Винись сейчас же!

Федя до боли стиснул зубы. Он понимал, что нанес Зимину тяжелое оскорбление.

Минуту назад он и сам бы мог пустить пулю всякому, кто посмел бы обвинить командира в нечестности и тем более в подлости, но теперь ничуть не раскаивался в сказанных словах; наоборот, сожалел, что они слишком мягки. Ему, ослепленному своим чувством к Кате, думалось, что в мире не может быть преступления большего, чем отказаться от ее

спасения, — и никакая цена, по его мнению, не могла быть слишком высока, если дается она

за жизнь Чайки...

— Здесь мы — сила, а там, на открытом месте, — пушечное мясо. Итти на штурм — значит повести людей на расстрел, на самоубийство! — донесся до его сознания голос жениного отца — агронома Омельченко.

«Пожалуй, командир и прав по-своему: одному человеку тяжело решиться взять на свою совесть такое дело...» За этой мыслью побежали другие. «А если это получится помимо Зимина?.. Наверное, Зимин втайне и сам хочет, чтобы так получилось... Поэтому и открытый совет отрядов собрал».

Отстранив старика, Федя подступил к Зимину так близко, что чувствовал на своем лице его учащенное дыхание.

— Алексей Дмитриевич! Одному тяжело: все-таки риск, хотя и не бывает войны без риска... У меня предложение: вопрос о налете поставить на голосование.

Он сказал это так тихо, что даже стоявшие рядом не расслышали ни слова. Кто-то крикнул:

— Тише, товарищи!

— Ты что же, Федя, думаешь, мы... на колхозном собрании? — удивленно произнес Зимин. — По-моему, здесь у меня открытый совет с командирами отрядов, и я не председатель колхоза, а командир партизанского соединения.

То, что крылось за словами: «одному тяжело», только сейчас дошло до него, и он вспыхнул.

— Я собрал вас, чтобы выслушать и вместе подумать. — Голос его с каждым словом звучал все резче и злее. — Но как поступить — это буду решать я сам, а вы все, пока я ваш командир, будете беспрекословно выполнять все, что я прикажу. Ясно? А снять меня с командования может только партия. Тоже ясно? Твое предложение о штурме города я отвергаю как авантюру! Я не хотел быть резким, я хотел тебе и другим — разгоряченным головам — по-товарищески доказать неприемлемость такого предложения. Но ты вынуждаешь меня на иной тон. Ну, что же!.. Я прошу тебя понять сейчас и запомнить на будущее: риск риску рознь. Есть риск оправданный, есть вынужденный и есть преступный, за который расстреливают! Все!

«Все!» — это слово отдалось в груди Феди, как полоснувший нож. Сердце плеснулось, горячей волной хлынуло к горлу.

— Нет, не все! Я один пойду! — закричал он в бешенстве. — В городе есть люди, которые не задумаются ради Чайки подвергнуть опасности свою жизнь... Подниму их... А если... — Он сжал кулаки. — Если не удастся спасти, пусть ее смерть ляжет на твою совесть... «командир партизанского соединения»!

Лицо его передергивалось и вдруг как-то странно побелело.

— Будьте вы все прокляты! Труссы! — прорыдал он и повернулся, чтобы выбраться из толпы.

И опять взрывом взметнулись голоса. Отряд раскололся надвое: одни были на стороне Зимина, другие — на стороне Феди. Не потому, что не поняли ясной правды слов Зимина;

но

эта правда была слишком холодна и трезва, чтобы быть принятой сердцами, горевшими одним порывом — спасти Чайку! Правда отчаяния, гнева и страстной любви, вырвавшаяся из сердца Феди, была желаннее, глушила голос рассудка.

Маруся Кулагина поднялась, вся дрожа: глубокое уважение, которое она всегда

испытывала к Зимину, надломилось в ее душе. Она хотела, как и Федя, бросить командиру

в

лицо упрек в равнодушии к судьбе той, которая с любовью называла его своим отцом. Но в это время плывшая над поляной туча расползлась, брызнули солнечные лучи, и шум сразу оборвался: на глазах командира сверкали слезы.

Слова упрека застряли у Маруси в горле. Она смотрела на Зимина и видела то, что раньше, может быть, и замечалось, но проходило вскользь по сознанию: на голове командира

не было ни одного черного волоска, а лицо все в морщинах, и весь он простой — очень простой, близкий. Ее охватило жарким стыдом за то, что минуту назад она так нехорошо думала, и страстно захотелось обнять Зимина и на его груди выплакать свою боль. Пораженный внезапной тишиной, Федя оглянулся. На лице его сначала отразилось недоумение; потом оно дрогнуло: мука, раздиравшая ему душу, такая же сильная, глядела

на

него сквозь глаза командира. С минуту, оба седые, смотрели они друг на друга, и Федя, потупив голову, проговорил:

— Прости, командир...

— Ничего... Я понимаю, — тихо, с трудом сказал Зимин.

Если бы знали они все, какое место в его сердце занимает Чайка — его воспитанница, его названная дочка! Не одну — десять своих жизней отдал бы, лишь бы она жила!

Еще утром у него возник план спасения Кати, но шансов на успех было столько же, сколько и против. Собирая совет, он думал, что у кого-либо может возникнуть более надежная мысль, но теперь убедился окончательно: его план — единственно возможный. Васька поднял оброненную командиром шапку. Зимин взял ее и машинально отряхнул приставший к ней снег.

— Сегодня, товарищи, будет... катина ночь!

Толпа настороженно затихла, и у многих глаза засветились надеждой: если командир говорит так уверенно, то, конечно, он знает выход.

— Товарищи командиры отрядов, и ты, Федя, прошу в землянку, — приказал Зимин и стал выбираться из толпы.

В землянке он сел на чурбан и не проронил ни слова, пока все не разместились на нарах. Лицо его, когда он поднялся, было спокойно и решительно.

— Начнем с моста, товарищи. Строительство в таком состоянии, что через несколько дней мы все равно должны его уничтожить. Сделаем это сегодняшней ночью. Ясно, Федя?

— Насчет моста — да, но как это спасет Катю? — глухо отозвался Федя.

Не ответив ему, Зимин оглядел всех командиров.

— Мост я беру на себя. А у вас, товарищи, такая задача: в разных концах района, — где именно, мы это сейчас распределим, — поджечь дома, занятые немцами, и, по возможности,

уничтожить живую силу. — Он провел рукой по лбу. — Налет на мост и пожары в деревнях заставят немцев отвлечь войска из города, расплыть их. И тогда... отряд на конях — человек в двадцать пять, в форме немецких солдат — ворвется в город... Зимин повернулся

к

Феде.

— Отряд в Певск поведешь ты. Коней дадут залесчане.

— Спасибо, товарищ командир! — посветлев, вскрикнул Федя. — Я... поведу!

Глава двенадцатая

Катя вошла в кабинет в сопровождении Августа Зюсмильха и четырех солдат.

Встретившись взглядом с фон Ридлером, она содрогнулась и чуть подалась назад. Ридлер улыбнулся: камера произвела впечатление.

Он приказал Зюсмильху принести шинель, сам накинул ее на голые плечи Кати и указал на диван.

Катя села. Повинуясь движению бровей шефа, Зюсмильх и солдаты вышли.

— Я хочу предложить вам дружбу... — сложив на груди руки, сказал Ридлер. — О себе можете ничего не говорить: все, что мне нужно знать о вас, я знаю.

Катя в изнеможении привалилась на валик дивана, по лицу ее пробегала мелкая дрожь, но глаза по-прежнему были непримиримо враждебные — сквозь их сгущенную синеву смотрели презрение и брезгливость, и Ридлер понял: время, которое он тратил на придумывание доводов, долженствующих «мирным путем» привлечь партизанку на его сторону, потрачено попусту.

Он хрустнул пальцами.

— Я не имею времени для длинного разговора. Вы поможете мне ликвидировать последствия вашей вредной деятельности, я гарантирую вам будущность. Что надо? Во-первых, заманить в ловушку зиминский отряд, и как только отряд будет уничтожен, вы, например, по радио и на строительстве скажете: доклад Сталина — партизанская подделка. Москва давно немецкая, вы обманывали народ, потому что хотели жить и боялись немцев, а теперь убедились, что сопротивление ничего не даст и жить будут только те, кто прекратит бессмысленный бунт. Вы попросите у народа прощения за свой обман.

С пылающими щеками Катя поднялась с дивана, но Ридлер заставил ее сесть.

— У вас будет баснословная обеспеченность. Вы будете ходить в таких тканях, какие и дочерям микадо не снились. Вы...

— Оставьте их, эти ткани, для себя, — брезгливо прервала Катя: — для савана.

Она отвернулась.

Ледянистые глаза Ридлера вспыхнули.

— На что вы надеетесь? — стиснув кулаки, закричал он яростно. — Будет надобность, и мы выставим против каждого вашего самолета сто самолетов, против каждого вашего танка — двести танков.

Опомнившись, разжал кулаки, улыбнулся.

— Не торопитесь с окончательным ответом. Ваши слова — результат разгоряченного мозга, а все надо продумать холодно и не забывать: кроме слов, у меня есть и другие инструменты воздействия на язык и упрямство. — Сдавлив ее голову ладонями, он почти коснулся глазами ее глаз. — Ты в моей лаборатории видела далеко не все, что можешь получить.

В зрачках Кати что-то дрогнуло. Это не ускользнуло от Ридлера: «Бойтся, — значит, еще не все потеряно. Будет упорствовать-на другом языке разговор поведем. Душа от тела неотделима: тело застонет, и душа отзовется». Он отпустил ее голову, сладко потянулся и, чтобы сильнее подчеркнуть этим безвыходность ее положения, сказал лениво, в протяжном зевке:

— Я оставляю вас для размышлений.

И вышел из кабинета.

Катя плотнее укуталась в шинель. Часы на стене стучали громко, словно каждым ударом маятника напоминая, что пролетело еще одно мгновение, еще на одну секунду стала

ближе чугунная массивная дверь «лаборатории» этого зверя. Проскрипев ржавыми

петлями,

дверь захлопнется наглухо, и этот скрип будет как бы чертой, за которой навсегда останется

звучание человеческого мира.

Вдруг она вздрогнула.

«Мамка?..»

За спиной слышался какой-то неясный шум, галдели по-своему немцы.

«Так это галлюцинация», — решила Катя и опять вздрогнула: «Ее голос!..»

Стремительно поднявшись, она вся ушла в слух. По отдельным словам матери, уловленным сквозь шум, поняла: мать не схватили — сама пришла.

«Сама!»

Стояла Катя и не чувствовала ни боли обмороженного тела, ни озноба, трясшего всю ее. Сознание остановилось на мысли: «Что же теперь будет?» Она не сомневалась: что бы ни

делали с ней немцы, не сломится. Но... если звери на ее глазах примутся мучить мать? Конечно, и это перенесет, должна перенести, — но как же будет тяжело! Ведь там, в той страшной камере, где сидят такие, как Федя, чтобы выдержать, нужно стальным сделаться.

С живым сердцем там нельзя: легко потерять рассудок и волю над собой.

Маятник отсчитывал секунды. Сколько раз он покачнулся из стороны в сторону?

Казалось, прошло много-много длинных, как бесконечность, часов.

— Если ты хорошая мать, найдешь нужные слова, которые спасут твою дочь от смерти, — раздался возле самой двери голос Ридлера.

Дверь распахнулась, и в кабинет втокнули мать. Плохо видящими от слез глазами Василиса Прокофьевна отыскала Катю, шагнула вперед; но ее ноги, словно поскользнувшись, подкосились, и она оперлась о стену.

— Зачем... п-пришла? — с укором и болью вырвалось у Кати. Лицо ее, искаженное мукой, будто мелом покрылось.

— Ничего, доченька, ничего... Потерпим, — прошептала Василиса Прокофьевна, невольно, без всякого умысла повторив слова Кати, которые та сказала ей в ночь прощания на берегу Волги. — Ничего, доченька! — крикнула она сквозь прорвавшиеся рыдания и кинулась к дочери.

Катя судорожно обняла ее.

— Мамка ты моя!..

Глава тринадцатая

К вечеру строительство осталось единственным местом в районе, куда еще не проникла черная весть.

Сгущенные сумерки плыли над Волгой. Сквозь строительный шум прорывались торжествующие окрики немцев:

— Ну!

— Русский свинья!

— Стрелять! Ну!

Солдаты били работающих кулаками и прикладами. У блиндажей группа плотников обтесывала перекладыны для виселиц; из соседнего района пригнали свыше пятисот человек,

и Ридлер ввел в действие свой старый приказ: за малейшую провинность — смерть!

Прибывшие угадывались по неловким движениям, по страху и ошеломленности,

застывшим на их лицах. Большинство из них угнали на полустанок Большие Дрогали, чтобы

доставить материалы, необходимые для окончания строительства.

Швальбе нетерпеливо поглядывал на дорогу, по бокам которой горбились землянки, обнесенные колючей проволокой и глубокими рвами; его беспокоило, как бы партизаны в отместку за Волгину не совершили налета на обоз.

С ним рядом стояли Курц и Тимофей Стребулаев. Курц был, по обыкновению, пьян и тупо улыбался, а с лица старосты не сходило выражение мрачной тоски. Ридлер уважил его просьбу и послал жителей Красного Полесья на погрузочные работы; никто здесь не знал, что это он предал Волгину, но где порука, что не узнают? Может, кто-нибудь из тех, что сейчас приволокут телеги, уже встречался с его односельчанами... Страшно было ходить здесь, ежеминутно ожидая разоблачения, а при мысли, что скоро нужно будет вернуться домой, где, возможно, ждут его соседи, становилось еще страшней: на строительстве все-таки танки, пулеметы, много солдат...

Он вздохнул и, отойдя от немцев, сам не зная зачем, забрался на крутую насыпь. Здесь вместе с другими строителями, утрамбовывая землю, постукивал кувалдой Степка.

— Поставь на другую работу — присматривать за чем-нибудь, — попросил он угрюмо. — Что я — каторжник, что ли?

— Мне надоть, чтобы ты тут работал... с кувалдой... Понял? — со злобой прошептал Тимофей и, положив на его плечо руку, заговорил во весь голос ласково и с печалью. — Ничего, Степушка, не могу для тебя поделат. Знаешь, такой же я подневольный, как и все...

без веса, без прав. Самого пороли... Терпи, сынок! Думаешь, мне-то легко смотреть на тебя? На остальной люд — легко? Кровью сердце обливается, да — эх!.. Терпи, милый! Он провел по глазам рукой и хотел еще что-то сказать, но, взглянув на дорогу, замолчал: из селя выезжал обоз. Людей, запряженных в сани, было плохо видно; отчетливее был заметен исходивший от них пар — он, как мутное облако, плыл над подводами. На минуту замер весь строительный шум. Люди с ужасом смотрели на это облако.

— Ну, пферде! Иго-го! — неслось с дороги. Сбежав с насыпи, Тимофей в ожидании закурил. Тяжело скрипели сани, доверху нагруженные сталью, железом и пузатыми бочонками. Люди, запряженные в них, шатались из стороны в сторону; под ноги им падали капли пота, смешанного со слезами.

На первых санях, нагруженных двутавровыми балками, сидел фельдфебель с бульдожьим лицом. Глядя на мутное небо, он курил, выпуская дым затейливыми колечками.

Маруся Кулагина, Вера Никонова и Нина Васильева шли, запряженные в третьи сани. Уж много раз касались их спин острия штыков, а в ушах пьяно звучало:

— Ну, пферде! Иго-го-го!

— Нет, не упаду... Еще немного, совсем немного! — как заклинание, жарким шепотом — повторяла Маруся. Другим можно было упасть: они рисковали только собой... А если упадет она или кто-нибудь из ее подруг и немцы увидят гранаты — останется целым строительство, сорвется «катина ночь», погибнет Чайка.

— Бодрее, девчата, бодрее!..

Передние сани подъехали ко рву перед насыпью. Фельдфебель спрыгнул наземь и отрапортовал начальнику строительства, что все материалы доставлены полностью, на станции ничего не осталось.

— Разгрузийт в два счета, — отрывисто приказал Швальбе Тимофею.

Стребулаев подбежал вплотную к саням.

— Родненькие! — Стараясь возвысить свой голос над грохотом бетономешалок, он побагровел от натуги. — Не от себя... по подневолью приказываю: выпрягайтесь скоренько и разгружайте... Богом прошу, чтобы без сопротивления... Злы немцы... Эх, милые, душа скорбит...

Увидев Кулагину, высвобождающуюся из оглоблей, он испуганно смолк.

Обождая Веру и Нину, Маруся вместе с ними, пошатываясь, пошла вперед мимо передних саней. Тимофей робко преградил им дорогу.

— Красавицы, золотенькие... куда? Разгружать нужно. Маруся, взглянув на него, как на пустое место, направилась прямо к офицерам.

Одновременно с ней к ним подбежал инженер, отвечавший за укладку рельсов, и встревоженно доложил начальнику строительства, что шпалы изготовлены из недоброкачественного материала: дают трещины, переламываются.

— Надо хорошенько последить за плотниками, — сказал Швальбе Генриху Мауэру и выжидательно повернулся к Марусе.

— Измотались... Разрешите отдохнуть чуточку? — попросила она задыхаясь.

— Нет!

Курц улыбался.

Маруся заметила это и упала перед ним на колени.

— Разрешите, господин офицер! Если хотите, мы споем вам и спляшем; если хотите... Только отдохнуть разрешите, совсем немножко.

Не переставая улыбаться, Курц толкнул ее ногой и посмотрел на начальника.

— Что она сказала?

Швальбе нехотя перевел и нетерпеливо щелкнул пальцем по часам: шеф приказал, чтобы работа шла без всяких перерывов на отдых.

— Да? Очень хорошо! — воскликнул Курц. — У меня... хе-хе-хе... большая страсть к зрелищам.

И в глазах Мауэра, плотоядно разглядывавшего поднимающуюся Марусю, мелькнуло тоже что-то похожее на интерес. Швальбе отрицательно качнул головой.

— Можно! — упрямо настаивал Курц. Ссориться с офицерами Швальбе было невыгодно.

— Только недолго, — сказал он и, круто повернувшись, пошел к берегу.

Маруся поняла, что просьба ее принята. Поднявшись, она обернулась к обозу.

— Девчата, идите сюда — отдых!

От саней отделились девушки и двинулись к блиндажам.

Притащив хворост, солдаты принялись разжигать костер. Курц весело потирал руки: интересно, как будет плясать и петь эта русская девка, едва державшаяся на ногах? Хворост загорался плохо, дымил.

— Пить, — попросила Маруся.

Глаза эсэсовцев смотрели на нее непонимающе.

— Тринкен, — вспомнила она слово, осевшее в памяти в дни учебы.

Курц, смеясь, сказал что-то фельдфебелю. Тот сбегал в блиндаж и притащил полное ведро воды. Маруся понимала, что это было очередной забавой немцев, и все же обрадовалась: жажда жгла губы, горло и грудь, а потом вода ей была нужна, чтобы вернуть голосу силу и выиграть время.

Она жадно припала губами к ведру, которое фельдфебель поднес ей, как лошади, прямо

к лицу. Он то и дело отнимал его, с силой ударяя краем ведра по ее зубам. С подбородка у нее лило, платье стало мокрым до подола. Солдаты хохотали. Курц аплодировал, у Мауэра губы скривила улыбка.

«Пусть издеваются, перетерплю, — за дорогу не то видела», — думала Маруся.

Судорожно глотая попадавшую в рот воду, она настороженно осматривалась.

Перед дверьми блиндажей встали: у одного — Люба Травкина, у другого — Вера

Никонова, к танкам подходили Нина Васильева и с ней еще шесть девчат, а у пулеметов

еще

никого не было...

— Говорили, что в этих селах хороших девушек не имеется. Смотри сколько! — сказал Курц Мауэру.

Тот безразлично скосил глаза на смертельно уставших девушек, усаживавшихся на землю возле танков.

— Они больше не будут лошадьми. Мы их по-другому используем! — весело добавил Курц и выразительно щелкнул пальцами.

Маруся все пила.

А весть о том, что русские девушки добровольно вызвались петь и плясать, чтобы заработать отдых, быстро облетела стройку. С разных концов площадки и с реки бежали солдаты.

Подшли танкисты и пулеметчики.

От немецких мундиров у Маруси в глазах было зелено. Казалось, зеленый вал огородил ее и костер.

Однако зорким взглядом своим она видела, что к двум пулеметам, направленным на лес, обнявшись, подходили две подруги. Неподалеку от пулемета, обращенного на дорогу, встала Волкова и смотрела на реку. Можно было начинать, но мешало одно непредусмотренное препятствие — шум стройки, и особенно грохот бетономешалок.

Маруся

с тоской посмотрела вокруг.

Мауэр, которому наскучило наблюдать, как она пьет, вышиб из рук фельдфебеля ведро; и оно покатило с пригорка, разбрызгивая воду.

— Ну?

Выждать дальше было рискованно. Сложив на груди руки, Маруся откинула назад голову и запела:

Цыганочка... ока-ока...

Грохотали бетономешалки, стучали топоры, визжали пилы.:

Цыганочка черноока, —

пропела Маруся и замолчала. Разве могут слышать в лесу, когда в этом грохоте она сама едва-едва слышит свой голос?

Лицо ее стало мертвенно бледным. Расширенные зрачки влажно поблескивали.

Столько перенести, так измотать себя — и все попусту!

Она взглянула на темный лес, и одна за другой на ее руку упало несколько крупных слез.

Немцы разочарованно и угрожающе зашумели.

Расстегивая кобуру, Мауэр крикнул:

— Ну!

Курц, щелкнув пальцами, притопнул ногой:

— Тиганошек... Эх!

Сдерживая рыдания, со сложенными на груди руками, Маруся прошла вокруг костра. Цыганочка... ока-ока...

Голос прозвучал совсем тихо и хрипло.

Цыганочка черноока... —

донеслись до нее от танков голоса подруг и поддержали ее упавшие силы.

Да, петь надо! Петь, не умолкая, и думать о том, что это делается и для Москвы и для спасения Чайки. Когда-нибудь, хотя бы на минутку, смолкнут эти проклятые машины — и тогда к лесу прорвутся их голоса, прорвутся!

Глаза ее зло сверкнули. Она подняла руку, тряхнула головой.

— Эх-х! — топнула ногой и вихрем пронеслась по кругу.

Цыганочка черноока,

Цыганочка черная, погадай!

...Мауэр выбрался из толпы.

Возле пильщиков он остановился, молча взял отпиленный брусочек и, счистив с середины опилки, понюхал.

— Смола, ваше благородие, — сказал Фрол Кузьмич, поглядывая на лес. «Может, ошибся Минька — померещились ему партизаны», — думал он в тревоге.

— Затшем так много? — спросил Мауэр.

— Лес такой смолянистый у нас, ваше благородие. Мы уж тут ни при чем. Это от бога положено.

— Бог? Затшем все середина?

— А смола, она, ваше благородие, как кровь в человеке — всегда середину любит...

Иной раз, правда, дырку пробивает и наружу выходит, вроде свища...

— Дирка?

Немец поднял брусочек.

— Нет, ваше благородие, здесь нет дырки, это смола, — торопливо проговорил Фрол Кузьмич. Он показал на брусочек, лежавший на распилке. — Вот полюбопытствуйте: пилим только — и смола. Такая уж у нас порода смолянистая.

Немец почертил по бруску ногтем, обнажился надпил.

— Смоля?

— Смола, ваше благородие.

Подняв брусочек над головой, Мауэр с силой швырнул его на землю. Брусочек разломился на две половины, как раз в том месте, где сочилась смола.

Мауэр прищурился:

— Смоля?

— Говорю; ваше благородие, иной раз дырку пробивает и наружу выходит, вроде свища...

Вздыхнув, Фрол Кузьмич осмотрелся. Рядом ни живы ни мертвы стояли Клавдия, тетя Ньюша и Минька; на дороге растянулась вереница саней; у бетономешалок горел костер, освещая зеленую толпу солдат; лес стоял спокойный, темный.

«Эх, видать, и вправду померещились Миньке партизаны!»

— Я буду сейтшас в твой голёва дирка делает, — услышал он голос немца и увидел, как тот вынул револьвер. А на берегу происходило что-то непонятное: грохот бетономешалок смолк, и сквозь стук топоров и визг пил донеслись водные девичьи голоса, распевавшие:

Цыганочка черноока,

Цыганочка черная, погадай!

Мауэр поднял револьвер, и Фрол Кузьмич зажмурился. Лес шумел глухо. От него веяло морозной смолянистой прохладой, и где-то совсем близко монотонно выговаривала кукушка:

ку-ку... ку-ку... ку-ку... Щемящей тоской сдавило сердце и потянуло его вниз. Немец целился прямо в лицо.

— Прощай, Минька, — прошептал старик.

Грохнул выстрел, и Фрол Кузьмич с удивлением отметил, что не чувствует боли и не падает. Он никак не мог понять: жив или умер?

Открыв глаза, остолбенел еще больше и заморгал. Немец извивался в предсмертных судорогах. Минька сидел на нем верхом и дубасил его кулаками по голове. А из лесу, казалось, из-за каждого дерева, выбегали партизаны — мужчины и женщины. От винтовок отделялись белые дымки, грохотали взрывы.

Старик повернул голову к мосту и снова на мгновение зажмурился — громадными, гулко громыхавшими кострами полыхали оба танка. Возле одного из них мелькнула фигура девушки с гранатой в поднятой руке.

По всему берегу, как очумелые, метались зеленые фигуры; за ними бегали разъяренные строители — кто с чем: с топорами, с лопатами, с дубьем. Подпрыгивали и падали немцы

от

партизанских пуль, от ударов топоров и лопат.

От вереницы саней, размахивая кулаками, бежали мученики, сбросившие с себя лошадиные путы.

— Бей! — неслоь оттуда.

— Бей! — слышал Фрол Кузьмич позади себя.

И справа и слева бежали мимо него люди и кричали:

— Бей фашистских тварей! Рази гадин!

Мелькнуло лицо Клавдии. Старик оглянулся — никого из пильщиков рядом не было.

Пилы торчали, оставленные в бревнах, или валялись на земле. Горячо стало у него на сердце.

— Добивай, Минька этого хлюста, а я... — крикнул он хрипло и схватил первый попавшийся под руку брусок.

С насыпи сбегал, стреляя из револьвера, Швальбе. Фрол Кузьмич кинулся ему наперерез. Впереди него бежала седая женщина с топором.

— Стой, ведьмюкин выкладок! — кричала она.

Швальбе выстрелил, и женщина упала. Фрол Кузьмич перепрыгнул через труп.

— Стой!

Немец прицелился в него, но выстрела не последовало: вышли все патроны. Он бросил револьвер и повернул было обратно, но навстречу ему с той стороны, размахивая наспех подобранными с земли кольями и досками, на насыпь сплошной стеной взбирались старики

и женщины из обоза. Лица у всех были перекошены яростью:

— Бей!

Швальбе резко повернулся к Фролу Кузьмичу и поднял руки.

Старик, крякнув, хватил его бруском по лбу. Брусок разлетелся, переломившись посередине — на месте, выпачканном смолой.

— Ах, чорт! — выругался Фрол Кузьмич: второпях он не разобрался и взял не тот брусок.

Он пнул Швальбе ногой.

Шагах в пяти хрипел вдавленный в снег фельдфебель. Одна женщина навалилась ему на ноги, другая обеими руками сдавливала горло. Чуть дальше из-за груды бревен вылетали белые, как хлопья ваты, дымки — это стреляли немцы. Их пули уже сразили старика, из Залесского и двух женщин. Фрол Кузьмич схватил обломки бруска, на бегу поднял их над головой.

— Бей, мать их... Воздух гудел от криков.

Возле леса, чадя густым дымом, взметнулось красными языками с десятков костров: пыльщики жгли плоды своего подневольного труда.

Тетя Ньюша, освещенная пламенем горящих танков, казалось, вросла в насыпь широко расставленными ногами и кувалдой вбивала в землю Карла Курца. Эсэсовец давно уже был расплюсчен в лепешку, а она все была, была...

На мосту шла рукопашная схватка. Трещал лед, гулко всплескивалась под телами падающих людей вода. У самой кромки берега цепью залегли партизаны с винтовками и автоматами. Они добивали гитлеровцев, прыгавших в реку с берега и моста в надежде спастись бегством по хрупкому льду или вплавь.

Остановившись возле трупа Маруси Кулагиной, Зимин напряженно смотрел на другой берег — на партизан, взбегавших на мост.

— За Чайку! Бей! — неслоь оттуда.

Так началась «кати́на ночь».

Глава четырнадцатая

— Идите к чорту! Я говорил вам: в нашем деле слюнтяи не годятся! — взбешенно заорал Ридлер. Он оттолкнул Зюсмильха и подошел к Кате.

— Сейчас, через минуту, я вернусь... У меня голова... Немного свежего воздуха... — Поскользнувшись на липких от крови половицах, Зюсмильх съежился, перешагнул через бесчувственное тело Василисы Протафьевны и направился к двери. Прикрывая ее, он услышал вкрадчивый голос Ридлера: «Жарко у нас, душечка? Такое учреждение... Может быть, перестанем упрямиться? Нет? Ну что же, вы у меня в гостях, а я хозяин гостеприимный».

Зюсмильх обтер платком холодный пот, струившийся по лицу.

— Накалить иглы! — расслышал он разъяренный голос и тяжело стал подниматься по винтовой лестнице. На площадке столкнулся с секретарем Ридлера.

— Мост! Залесское горит!.. Большие Дрогали!.. — прокричал тот, как в бреду, и побежал вниз.

Зюсмильх тупо посмотрел ему вслед.

На улице стояла морозная тишина, нарушаемая лишь шагами часовых. Дома растянулись темные, без единого огонька, но Зюсмильху показалось, что он видит прильнувших к стеклам людей: жители Певска не были заключены в концлагери, потому

что

работали в речном порту и на железнодорожной станции. На мгновение ему почудилось,

что

дома задвигались, поворачиваясь к нему другими сторонами, и там у каждого окна тоже притаились люди с тяжелыми, как свинец, глазами и о чем-то перешептывались.

Трясущимися руками он протер очки и, выругавшись, зашагал по изрытому ямами тротуару,

поминутно оглядываясь и вздрагивая от скачков собственной тени.

Остановился на окраине города, возле домика Аришки Булкиной. Калитка и дверь в сени были распахнуты настежь. На улицу вырывался визгливый пьяный хохот и брнчание

гитары.

Зюсмилх без стука вошел в избу. В горнице горел свет, а в прихожей было полусумрачно и тесно; здесь друг на дружке, как в мебельном складе, громоздились диваны,

кровати, шкафы, натасканные сюда предприимчивой хозяйкой из соседних опустевших домов. Морщась от пьяного визга Аришки, он ощупью пробрался к дверям горницы. На кушетке полулежал офицер во френче и кальсонах и, что-то мыча, бессмысленно дергал струны гитары. Второй офицер, тоже полураздетый, с подстриженными рыжими усами, сидел у стола, заставленного бутылками, стаканами и тарелками. На коленях его прилепилась Аришка в одной рубашке, низко спущенной с плеч. Немец с тупой ухмылкой щекотал ее, а «красотка» хохотала и взвизгивала, встряхивая разметавшимися по голой спине густыми волосами:

— Щикотно, господин охвицер... Ой, щикотно!..

Окинув взглядом всю горницу, заставленную зеркалами, заваленную одеялами, подушками, свернутыми коврами, Зюсмилх увидел еще одного офицера — туловище его было под столом, а голова — на стуле. Он громко, с присвистом всхрапывал. Все трое были из гарнизонных частей.

Оглянувшись, Аришка спрыгнула на пол и с улыбкой во все лицо шагнула к двери:

— Милости просим, кавалер долгожданный. Давно не жаловали.

Зюсмилх взглянул на нее поверх очков и что-то пробормотал. Подойдя к столу, он рывком дернул к себе стул, на котором лежала голова храпевшего офицера. Тот, грохнувшись с размаху об пол, застонал, но не проснулся. Весь дрожа, Зюсмилх тяжело опустился на стул.

«Зазяб», — решила Аришка и опять улыбнулась.

— Шнапс?

— Да, да, шнапс, — с тоской проговорил Зюсмилх. Он провел рукой по горлу, желая этим подчеркнуть, что ему надо очень много шнапса. Офицеры смотрели на него неприязненно, явно расположенные начать ссору: в гарнизонных войсках не любили гестаповцев за их заносчивость. Особенно разозлен был рыжеусый. Когда Аришка подошла

бутылкой к столу, он схватил ее за волосы.

— Ты русский поганий женщин. Я тебе есть плятить, а ти с моих колена... раз-раз — на шея к первой дрянь, — и с размаху ударил ее по лицу.

Аришка взвыла и умоляюще вскинула глаза на гестаповца.

— Господин кавалер!

Но Зюсмилх ни на что не обращал внимания. Он сидел и что-то шептал, уставившись взглядом в свои ладони, почти сплошь покрытые засохшей кровью. Рыжеусый выхватил из рук Аришки бутылку, но офицер с гитарой, пораженный выражением лица Зюсмилха,

тихо

сказал:

— Оставь. Пусть пьет. Видишь, сумасшедший.

Он выбил пробку и поставил бутылку на стол. Зюсмилх залпом выпил стакан.

Всхлипывая, Аришка подала на тарелке хлеб и кусок колбасы.

— Вы уж, господа кавалеры, без ссоры... Я для господ охвицеров безотказная. А к ним побежала — гляжу, зазяб. Сердцем-то я рыхлая, с чувствием...

Не закусывая, Зюсмилх выпил еще стакан. Очки его запотели. Сняв их, он близоруко оглядел офицеров и Аришку и одним выдохом проговорил:

— Молчит!..

— Кто? — спросил офицер, сидевший на кушетке.

— Она.

Зюсмильх положил на стол руки ладонями вверх.

— Это вот... ее кровь.

Рябое лицо его побелело и вроде как будто меньше стало от внезапно расширившихся глаз, плечи судорожно перекошились. Он схватил бутылку и, запрокинув голову, прильнул к горлышку.

— Умеет пить! — одобрил рыжеусый.

Когда в бутылке осталось меньше четверти, Зюсмильх отнял ее от губ, отдышался и долго сидел, не шевелясь, точно прислушиваясь к тому, что делалось у него внутри.

— Нет, и это бесполезно. Все бесполезно!

Он швырнул бутылку на пол. Осколки брызнули во все стороны, и лужица водки потекла под босые ноги перепуганной Аришки.

— Глаза!..

Лицо его стало еще блее, и от этого отчетливее обозначились яминки оспы.

— Синие-пресиние... — прошептал он трясущимися губами, — и горят... Сама молчит, а глаза...

Он ударил кулаком по столу.

— Обманул нас всех фюрер! Никому не уйти живыми из этих снегов!

Офицеры переглянулись, и рыжеусый настороженно покосился на Аришку, которая полудремала на кушетке, облокотившись на валик и бесстыдно оголив ноги. От Зюсмильха не ускользнуло оживление на пьяных лицах офицеров, и губы его скривились.

— Можете донести! Я не возражаю. Еще можете сказать Ридлеру — он давно допытывается — это я сообщил командованию, что никаких красноармейских десантов в наших лесах не было. Зачем? Хотел стать на его место здесь, а теперь... О нет, боже избави!

Он замолчал, уже не видя ни комнаты, ни своих слушателей, ни дремавшей Аришки. В мире были только он и она — Волгина, вернее ее глаза, и холод, страшный холод в его груди.

Он знал, что эти глаза читают каждую его мысль, знают его тайное желание бежать немедленно к себе в Германию, в свой Берлин. И он знал также: это не поможет! Они пойдут за

ним всюду... Отыщут его на родной Фридрих-штрассе, найдут и на чердаке и в подвале...

Они неотступно следят за ним.

— Вот они! — заорал он иступленно и вытянул перед лицом руку, точно защищаясь.

Взглянув по сторонам, прижался к спинке стула. — И здесь... И здесь... Синие-синие...

Горят, а в груди от них холодно, лед. А за ними — опять... другие глаза... О, чорт! — Голос его хрипел, лицо перекошило судорога.

Рыжеусый отодвинулся от стола, Аришка в испуге отбежала к двери, а спавший на полу офицер изумленно приподнял голову.

В комнате раздался мелодичный звон. Он дошел до сознания Зюсмильха, и гестаповец осмотрелся. На стене, над кушеткой, в ряд висели восемь настенных часов. У всех ритмично покачивались маятники. Одни часы били просто — звонкими ударами, другие — с музыкой.

Аришка с довольной улыбкой любовалась своим приобретением. На всех часах стрелки показывали одинаковое время: ровно час.

— Меня ожидают, я ведь только на минутку вышел — воздуха свежего глотнуть, — словно пробуждаясь, пробормотал Зюсмилх. — Надо итти...

Поднимаясь, он оперся ладонями о стол и задел вилку. Несколько минут смотрел на нее тупо, как загипнотизированный, потом взял.

— Я... выколю их! — услышали офицеры его жаркий шепот.

Оставив на столе фуражку, он пошел к двери — медленно и так тяжело, будто ноги сопротивлялись и приходилось затрачивать громадное усилие, чтобы приподнимать их от пола.

Аришка преградила ему дорогу.

— Господин кавалер! Вы забыли уплатить за литровку... Простите... И вилочку, может, оставите? Я женщина бедная... Меня сам господин Ридлер знает. Нельзя обижать... Словно автомат, который по своей воле не может ни остановиться, ни свернуть в сторону, Зюсмилх толчком плеча заставил ее попятиться к двери. Она хотела разреветься, но, увидев, как судорожно он стискивал вилку, в страхе прижалась к косяку. Зюсмилх прошел мимо.

Аришка обиженно всхлипнула. Дружно, точно марширующие солдаты, маятники часов отсчитывали секунды. Из сеней слышны были спотыкающиеся шаги Зюсмилха.

— Сумасшедший, — облегченно сказал рыжеусый. Офицер с гитарой, наливая в стакан водку, посочувствовал:

— Хоть и ненавижу этих молодчиков, а надо отдать им должное — работа тяжелая.

— И наша нелегкая, — сквозь зубы отозвался рыжеусый. Он пил водку маленькими глотками и с отдышкой, словно глотал льдинки.

— Ушел, — тихо проговорил его собутыльник, услышав, как хлопнула калитка. Он пнул ногой Аришку, собирающуюся присесть на кушетку.

— Ходи к черт!

...Засовывая в карман вилку, Зюсмилх отошел от калитки всего несколько шагов и, удивленный, остановился: навстречу ему мчалась конница.

— Скорее! Скорее! — слышалась яростная команда. Позади конницы показалось орудие, за ним еще одно.

Зюсмилх успел прижаться к забору, иначе конная лавина смяла бы его. Кони замелькали перед глазами темными пятнами, в лицо пахнуло ветром и снежной пылью. «Мост... Залесское горит... Большие Дрогали...» — вспомнились ему слова секретаря Ридлера, и он только сейчас понял их смысл.

— Господин лейтенант!

Зюсмилх повернул голову и увидел рядом с собой солдата-эсэсовца.

— Разрешите доложить. Вас срочно... Приказ господина Ридлера о партизанке Волгиной...

— Короче, — устало оборвал его Зюсмилх, глядя вслед промчавшейся коннице. — Какой приказ?

Солдат перевел дух.

— Приказ у его превосходительства полковника Корфа, господин лейтенант.

— Хорошо, — сказал Зюсмилх и, закурив, смотрел на спичку, пока она не потухла, потом вздохнул и зашагал к переулку, выходящему на центральную улицу.

Полковник был у себя. Он стоял за столом и, прижав к уху трубку, яростно жевал губами.

По вошедшему в кабинет Зюсмилху скользнул мутными глазами и отвернулся; бешено забрызгал слюной в трубку:

— Возьмите войска... расквартированные... в Больших Дрогальях — это последние? Что? Да! Да! Так и скажите: приказал полковник Корф.

За перегородкой зазвонил телефон.

— Алло! — нервно и зло вскрикнул там голос дежурного офицера. — Что? Я уже сказал вам: ни-ка-ко-го господина Ридлера здесь нет! В Залесском? Ка-а-ак? В форме наших

солдат? А? Да мне... пусть хоть в чортову шерсть обрядятся — меня не касается. Да! Насколько мне известно, господин Ридлер с войсками выехал на мост. Свяжитесь с Головлевым.

— Уфф... — опускаясь в кресло, выдохнул полковник. — Звонки и звонки... Налет на строительство... Одиннадцать селений в огне... Все войска подняты на ноги...

— Мне нужен приказ фон Ридлера, господин полковник, — сказал Зюсмилх. Глаза полковника уставились на него тупо, как два стеклянных шарика, густо запотевших и разрисованных красными жилками.

Зюсмилх повторил. Корф вытащил из-под чернильницы лоскуток бумаги.

— На!

«Не давайте Волгиной ни минуты-передышки, — прочел Зюсмилх. — Как только к ней вернется сознание, — на пустырь, сделать, как говорили. Не поможет — ложный расстрел, не поможет — обратно в камеру, и на ее глазах пытка № 7 над матерью. Нервы натягивать до предела, но за сохранность жизни отвечаете своей головой.

Фон Ридлер».

Опять зазвонил телефон. Полковник и Зюсмилх переглянулись, но звонок не повторился: вероятно, телефонист включил по ошибке и тут же выключил.

На стене скрипнули часы и пробили два раза.

— У, чорт... ночка! — прошептал Корф. Он взял листок, до половины исписанный ровными буквами с готическими завитушками и выпачканный чернильными кляксами. Комкая в пальцах записку с приказом Ридлера, Зюсмилх смотрел в окно на звездное небо, по которому расплывалось зарево пожарищ.

«Прошу учесть все вышеизложенное и перевести меня в строй, — писал полковник. — Прошу...»

Перо споткнулось: звонок!.. Корф схватил трубку.

— Горит еще? Где?

Зюсмилх, пошатываясь, вышел из кабинета.

Глава пятнадцатая

Только подбежав к своему дому, Стребулаевы решили остановиться, чтобы перевести дух. Степку трясло как в лихорадке, и он ни слова не мог выговорить. Тимофей полой полушубка вытер лицо.

Хутор темнел — молчаливый, безжизненный. И в прежние ночи немного бывало на улице жизни, но она таилась тогда в домах за закрытыми ставнями, за накрепко запертыми воротами и сенными дверями. А теперь во многих дворах ворота были распахнуты, по улице

гулял ветер, тоскливо хлопая калитками и ставнями.

Тимофей догадался: соседи сбежали в леса — значит, нечего бояться мести тех, которые видели, как он подкатил немцев к Кулагиным.

— На сегодня бог миловал, — прошептал он и, вздохнув, словно свалил с себя чугунную тяжесть, крупно перекрестился: — Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей

по множеству щедрот твоих...

Пораздумав, тихо сказал:

— Это хорошо, ежели партизанам удастся мост этот... к чортовой матери!

Степка молча согласился. Он теперь твердо решил — лучше в камеру Ридлера, чем обратно на строительство.

— Зазря только, тятя, насчет Волгиной... Не простят нам ее, — проговорил он поевшись.

— Дурак! — коротко отрезал отец. — Страшно? А ты бы хотел деньги задарма получить? Эвон сколько!

Он провел рукой по оттопырившемуся карману. Глаза Степки заблестели.

— Сколько?

Он весь замлел, нетерпеливо переминаясь на кривых ногах; ему казалось — не минута, а добрых полчаса прошло, прежде чем отец сказал:

— Пять тысяч марок. Остальные господин Макс обещал на дом прислать.

— Я про это самое... на мою долю сколько?

Отец не ответил.

— Марки... Хвоста овечьего на них не купишь, — обиженно процедил Степка.

Тимофей погладил бороду и сказал, скорее размышляя вслух, чем для сына:

— Сейчас марки, конечно, бумажки. А когда немцы укрепятся как следует, тогда марки станут денежками. В Певске все начальство меня знает — своя рука... Налажу торговлишку с немцами...

— А дом? — спросил Степка. Для него это было важнее денег, потому что сулило долгожданный раздел: два дома — две семьи.

— Велел господин Макс выбирать в любом селе, — сердито буркнул Тимофей: он не любил, когда прерывали его размышления. — Только занять-то тут как, когда знаешь, что хозяева рядом... из леса за своим двором приглядывают... Это тово... как бы сказать...

Прищурясь, он медленно обежал глазами соседние дворы с распахнутыми воротами и тяжело опустил руку на плечо сына.

— В городе дом возьму. Я уж там облюбовал один — в два этажа. Верхний — под жилье, а внизу, — двери железные, под лавку. Подходящее помещение. Завтра к Максиму пойду, так, мол, и так, сарай и угодня, что в приказе, — от них отрешаюсь, а насчет этого домика... Бог даст завтра и переберемся: тут, пока все не утихомирится, опасно. Ныне бог миловал, а завтра... «На бога надейся, а сам не плошай». Понял? И ни о какой такой доле чтобы я больше от тебя, чорт кривоногий, не слышал... Дошло до тебя? А то оставлю

одного

в пустом хуторе, пусть к тебе соседи из леса в гости понаведаются...

Тимофей запахнул полушубок и толкнулся в калитку.

— Паскуды длинноволосые! В такое время двери нараспашку, — проворчал он.

Степка понуро проковылял за ним во двор. Отец тщательно запер ворота.

У крыльца задержался.

— Посмотри коня, как он там.

Ни жены, ни снохи в избе не было. «Чорт их знает, где шатаются в такое время!»

Не раздеваясь, Тимофей сел за стол и вытащил из внутреннего кармана полушубка толстую пачку немецких денег.

Степка пробыл в хлеву минут пять. Войдя в избу, с сердцем хлопнул дверью.

— Издыхает. Никакой корм не берет — ни сено, ни овес. — Он вытер рукой слезы и

зло укорил: — Чтоб тебе, тятя... пешком до немцев, чай, ноги-то не отвалились бы.

Из горницы слышался шепот:

— Две тыщи сто, две тыщи двести...

— Издыхает, говорю!

— Чорт с ним, ежели издыхает, — с досадой отозвался отец. — Макс обещал завтра дать коня этого старосты Залесского, знаешь?

— Ничего я не знаю, кроме того, что ты сына сродить сумел, а подумать о нем и в голову не приходит... Последнего наследства лишаешь.

Степка прошел в горницу и застыл с открытым ртом. Отец сидел, словно клушка, навалившись грудью на стол и прикрывая что-то полами полушубка.

«Подсчитывает!»

— А я видел, — сказал Тимофей, — жуковский мужик на нем сейчас мертвяков возит... Заморенный, а ежели подкормить — сойдет.

Глаза его горели зло и жадно. Степка почувствовал дрожь в руках и ногах, во рту сухо стало. Не отрывая глаз от полы полушубка, прикрывшей деньги, он сел по другую сторону стола, и в лихорадочно горящем мозгу мелькнула мысль, не раз беспокоившая его за последнее время: «Пристукнуть?»

Он облизнул сухие губы.

«Партизанам скажу, пристукнул за то, что Волгину выдал и меня по неведению в это дело втянул. А немцам скажу — партизаны пристукнули».

— Поди проверь, ладно ли я ворота прикрыл, — хрипло выговорил Тимофей.

Степка, усмехнувшись, мотнул головой.

— По-моему, ладно... А ежели сумление у тебя, сам сходи проверь.

Взгляды их скрестились, и казалось, они — отец и сын — вот-вот бросятся друг на друга. Но под окнами послышались шаги и затем громкий стук в ворота. Стребулаевы вздрогнули, и лица у обоих покрылись мертвенной бледностью. За воротами что-то

кричали

по-немецки.

— Свои, знать... немцы, — переводя дух, сказал Тимофей. Он встал, и взгляд Степки метнулся на кучку разноцветных бумажек, до этого прикрытых полой. Тимофей тоже посмотрел на деньги и растерянно скосил глаза на сына.

Стук в ворота становился все громче и настойчивее. Слышно было, как тряслась калитка.

— Спрячь! — решившись, почти без голоса прошептал Тимофей. — Только Смотри, сволота, у меня каждая бумажка пересчитана.

Он вышел из избы.

— Кого надо?

— Шнель, шорт! Вир мюссен штарост Стребулаев зеен.

Ледяной пот пополз у Тимофея по спине:

«Не немцы. Они, немцы-то, не так говорят».

Он хотел было бежать через заднюю стену двора, но тут же вспомнил: «Деньги у Степки!»

«А ведь их, должно, мало — человека два-три», — мелькнула мысль.

— Сейчас, господа немцы, сейчас!

Громыхая засовом, он вытащил из кармана револьвер. Калитку распахнул во всю ширь и шагнул в нее, держа руку с револьвером прямо перед собой. На улице никого не увидел,

почувствовал, как кисть его руки сжали, словно тисками. Револьвер выпал.

— Степка, сюда!

— Не шуми, дядька Тимохвей, зараз и Степка твой здесь будет, — сказала Женя, сильнее сжимая ему руку.

Кроме нее, у ворот стояли пожилая женщина — мать Верульки Никоновой, учитель Васильев и еще два парня — все с винтовками. Женя кивнула — учитель и мать Верульки вбежали во двор.

— Скорее, чорт! Нам нужно старосту Стребулаева видеть.

— Не шуми, дядька Тимохвей, — повторила Женя, — краще тебе от этого не будет.

Тимофей покосился на парней, взявших его на прицел, и понял: «Конец...»

Тяжело дыша, он опустил голову. Женя выпустила его руку и, подняв револьвер, прошла во двор.

Подгоняемый штыками, Степка шел из сеней, пятясь задом и до отказа поднимая дрожащие руки. Женя резко скомандовала ему:

— Кру-у-гом!

Она с ненавистью, брезгливо оглядела обоих Стребулаевых.

— Що, гады? Думали, удрали со строительства, так и спаслись? Ни! И под землей не сховались бы...

Мороз крепчал. Близко, наверное километрах в двух-трех от хутора, к звездному небу клубами поднимался черный дым.

— «Егор те за ногу» орудует, — глядя на клубы дыма, тепло проговорил учитель.

Женя покачала головой:

— Ни! Там Маня Волгина со своими, — сказала она тихо. Мысли ее были далеко, с фединым отрядом. «Наверное, они сейчас уже возле Певска, а может, уж и в город ворвались. Спасут ли?»

Она задумчиво посмотрела вдаль и, вскрикнув, вскинула винтовку: по дороге мчался на коне немец, — вернее, конь мчался сам, а солдат висел на нем, судорожно вцепившись руками в гриву. Мать Верульки схватила Женю за руку.

— Это же Гриша наш, железнодорожник, что с Федей... Приказав смотреть за Стребулаевыми, Женя выбежала на дорогу.

— Гриша!

Всадник не откликнулся. Она смело кинулась наперерез храпящему коню, ухватилась за уздечку и с силой уперлась в землю.

Конь стал. От резкого толчка Гриша свалился на снег. Лицо его и воротник немецкого мундира были в крови.

— Где я? — простонал он в полусознании. Женя затрясла его.

— Где Федя? Где отряд? Откуда ты?

— Из леса... Залесское горит... войска... опоздали... бой! — расслышала она бессвязный шепот раненого.

Ночь. Вдали она была черная-черная, а вблизи голубая. Небо все было в звездах. Они горели ярко и светились, как глаза Чайки, когда, бывало, она приходила на поле и задушевно

говорила с ней, Женей, и другими девчатами из ее звена о жизни, в которой для людей не будет заходить солнце...

Морозно дышала ночь, холод лежал на сердце.

Женя тяжело перевела взгляд на Стребулаевых, и глазам ее стало горячо, заплесали перед ними черно-красные круги.

Тимофей, встретившись с ней взглядом, не пошевелился, а Степка упал на колени, протянул руки.

— Пощадите! Это отец все, а я ничего... Я не мог послушаться...

Предателей надо было доставить в отряд, но это означало потерять несколько часов ценного времени.

— Стреляйте тут! — сквозь зубы проговорила Женя.

Степка разрыдался.

— Пощадите! Хотите... я сам его пристрелю или... задушу. Только меня... простите меня, примите к себе в партизаны...

— Пли! — звонко скомандовала Женя.

Глава шестнадцатая

Ридлер, не дожидаясь, когда перестанут двигаться гусеницы, выпрыгнул из танка.

Перед ним торчали обломки старого и «нового» моста; их с гулом захлестывали черные волны, оставляя на кусках бетона и стали клочья пены.

Волга была похожа на здешних людей. Издали она казалась покорной, безжизненной, белой, как ее берега, как холмистые снежные поля, упершиеся в черные стены леса. Но чем ближе к обломкам моста, тем синее становился ее снежный покров, больше чернело в нем трещин, то узких, как линия, проведенная углем, то широких, как рукава, как проливы. Из-под ледяного обрыва вал за валом вырывались волны. Они кружили на себе большие и маленькие ледяные островки, швыряли их на обломки моста, и льдины, точно стекло, разлетались на мелкие куски, в пыль. Волга жила подо льдом — неусмиренная, ненавидящая

свою временную тюрьму. С каким бешеным шумом вырывались ее воды на поверхность через каждую мелкую трещинку!

Все кончено! Точно и не было строительной площадки. От реки до леса и до кольев, на которых повисли обрывки колючей проволоки, лежала черная равнина, изрытая ямами. И

на этой не по-зимнему черной земле валялись трупы солдат.

Дым от догоравших шпал и бревен и от охваченной огнем опушки леса стлался по земле низко-низко. Кони беспокойно ржали, мотали мордами. Солдаты, стоявшие кучками возле коней и ходившие по берегу, протирали слезившиеся глаза и старались не смотреть

на трупы, на которых запечатлелась сила и беспощадность русского гнева, бушевавшего сейчас

по всему району.

С обнаженной головой, в меховом полупальто и забрызганных кровью бурках Ридлер стоял на том месте, где еще час назад грохотали бетономешалки. Шляпу у него сбило пулей,

когда он мчался в танке и высунулся из люка. Пять раз подвергался танк обстрелу по дороге от Певска до Головлева. Кто стрелял, в темноте невозможно было разобрать.

Окутанный дымом, Ридлер стоял и смотрел на небо.

Морозный ветер щипал лицо. Глаза слезились — и от мороза, и от дыма, и от напряжения. Ридлер не замечал этого — он смотрел на звезды, на множество звезд, рассыпанных по небу... И все они казались ему похожими на человеческие, на русские глаза.

Кажется, и нельзя было больше сжиматься пальцам, а они все сжимались; ныли, хрустели в суставах, а сжимались. Вся его злоба — такая сильная, что сердце от нее

стучало,

точно пущенный на бешеную скорость мотор, сосредоточилась сейчас на этом враждебном небе. Хотелось сорвать эти звезды одну за другой и сбросить их на землю. Потом топтать их... топтать, пока они не перестанут светиться, пока полнейший мрак не окутает эту страну,

где все сбивается воедино; люди похожи на природу, природа — на людей.

Та-та-та-та... — донесся торопливый говорок пулемета.

Солдаты испуганно вскочили на коней и, сбившись в кучу, смотрели на Головлево. В разных концах села сквозь черные жгуты дыма, взметнувшегося над крышами, прорывались языки пламени.

Из дыма, окутывавшего село, выскочил всадник; дыбя коня, он повертелся на месте и рванулся на дорогу. Сердце у Ридлера билось зло, частыми ударами, гулко отдававшимися в висках. Оно как бы говорило: «Это еще не все... Надо торопиться!» Но куда торопиться и зачем, Ридлер не знал.

Глаза его, налившиеся кровью, уставились на приближающегося всадника.

Увидев Ридлера, он спрыгнул с коня.

— Господин фон Ридлер!.. Через Залесское с боем пробилась партизанская конница...

Партизаны в нашей форме. Помчались к городу.

Ридлер не шелохнулся: какое ему теперь дело до города и вообще до всего?

«Помчались спасать ее», — вдруг мелькнула у него мысль, и он, вздрогнув, сразу понял: вот чего хочет сердце — лютой мести! Да, она, Волгина — главная виновница его катастрофы! Оставить ее торжествующей? Нет! Все, что он делал с ней, — это пустяки, детская забава по сравнению с тем, что она еще испытает. Она расплатится за все. Он для нее

придумает такие муки, каких не знали ни земля, ни ад.

Прежде чем умереть, она тысячу раз раскается в том, что стала ему поперек пути.

С искаженным от ярости лицом он посмотрел на горящее Головлево, окинул глазами звездное, порывшееся от зарева небо и, забравшись в танк, закричал:

— К городу! Сверхскорость!

Глава семнадцатая

На окраине Певска, у водокачки, пустырь обрывается крутым берегом реки. По приказу Зюсмилха в три часа ночи немцы согнали сюда все население города. Окруженные солдатами, стояли плотно стиснутой толпой женщины, девушки, старики и дети. В середине

толпы хрипло взвизгивал голос Аришки Булкиной:

— Я запомнила их морды... Я им... Нет у них правов хватать меня... Я со всеми господами охвицерамн в дружбе.

Никто не знал, зачем их пригнали. Некоторые плакали. С тех пор как над городом повис флаг со свастикой, худая слава укоренилась за этим пустырем: гестаповцы привозили сюда на расстрел свои жертвы.

Посльшался гул мотора.

Из-за угла глухого забора вылетел танк, и следом за ним грузовик, переполненный солдатами. Среди солдат, рядом с Зюсмилхом, в шинели, накинута на плечи, сидела Чайка.

Из танка выпрыгнул Корф. Солдаты стащили Катю на снег. Шинель сползла с ее плеч, — и крик ужаса пронесся по пустырю.

Поддерживаемая солдатами, Катя стояла в окровавленной, изорванной в клочья

рубашке, пристывленной к телу. Ноги от ступней и до самых колен были покрыты черной копотью. Вывернутые руки раздулись в плечах синеватыми опухольями.

Торопливо схватив шинель, Зюсмилх хотел набросить ее на катины плечи.

— Не надо! — крикнула Катя. — Пусть видит народ... что делаете... вы... — она жадно глотнула воздух, — с людьми... в своих застенках...

Собрав последние силы, она выпрямилась.

Толпа, окаменев от ужаса, смотрела, как поволокли Катю к водокачке. Ноги ее заплетались, и там, где они ступали, на снегу оставались кровавые следы.

У водонапорной башни солдаты повернули Чайку лицом к толпе. Катя не могла стоять, и немцы держали ее под руки.

Вздохнув, она с трудом приподняла голову. Губы шевельнулись, но она ничего не сказала. Есть ли слова, которые способны передать хоть маленькую частицу перенесенного ею?

— Сейтшас ти посмотриеть и послушайт, как заступайт за твой шизнь народ, — тихо сказал Зюсмилх и подошел к толпе. — Кто есть шеланий полютшайт тысяча марки — говорийт: кто она? — крикнул он, указывая на Катю.

Толпа молчала...

— Никто не знайт?

В середине толпы поднялся шум.

— Господа охвицеры, отсель не видно, а меня держат! — послышался голос Аришки.

Женщины дергали ее за волосы, хватали за руки, не пускали. Зюсмилх крикнул солдатам, и те кинулись расчищать для Аришки дорогу.

Растрепанная, красная, с блудливо бегающими глазами, Аришка выбралась из толпы и, взглянув на Катю, с ужимкой хихикнула:

— Она и есть, господа охвицеры, комиссар в юбке — первая комсомолка в городе, Волгина.

Зюсмилх и Корф подошли к Кате. Лицо ее было взволнованно, но не страхом, как они ожидали, — искрящиеся радость и торжество сияли в ее глазах: по нервозности немцев и

по

этим озерам зарев, разлившимся на небе, она догадалась, что делалось сейчас в районе.

Зюсмилх схватил ее за подбородок.

— Weiter... мольтшайт глюпо. — Подражая Ридлеру, гестаповец говорил тихо и вкрадчиво. — Глюпо умирайт для народ, которий... — Он вопросительно взглянул на полковника, не находя нужных слов.

— Продаваль тебя минута опасность, — пожевав, прохрипел Корф.

Презрительная усмешка искривила губы Кати.

— Это сучка, не народ! — Брезгливо взглянув на Аришку, она с трудом приподняла руку и показала на зарево: — Народ там...

Толпа зашумела.

Зюсмилх хотел что-то сказать, но, встретившись с горящими глазами Кати, съежился, плечи его опустились.

— Можешь стоять?

Катя поняла: расстрел!

— Могу, — прошептала она едва слышно.

Что в это мгновение пронеслось у нее в мыслях? Может, вспомнилось сразу все, что она страстно любила в жизни и чего уж не суждено было ей увидеть возрожденным. Может быть, перед глазами у нее встал ее любимый, ее Федя, и память сквозь глухой ласковый

шум

сосен повторила его вскрик: «Сказка моя голубоглазая!»

Солдаты опустили руки. Катя качнулась, казалось вот-вот упадет. Но, упершись ладонями в кирпичную стену, она устояла.

Весь дрожа, Зюсмилх подал команду. Солдаты вскинули винтовки.

— Родные!.. Народ!.. — с неожиданной силой звонко крикнула Катя.

Грохнул залп. Толпа как-то коротко вскрикнула и замерла, точно у всех разом перехватило дыхание. Дым рассеялся, и все увидели, как со стены над головой Чайки осыпались пыль и крошки кирпича. А Чайка стояла, и лицо у нее было бледное-бледное, глаза расширены.

— Будешь сказать, где партизан? — орал полковник. Катя вздохнула, как бы пробуждаясь от тяжелого сна.

Может быть, только после этого окрика она ощутила горячее биение сердца: оно жило. Страстным огнем загорелись ее глаза.

— Идет Сталин к нам!.. Идет Красная Армия! — прокричала она.

Зюсмилх вновь подал команду, и опять пули выгрызли ямки над головой Кати, осыпая на ее голые плечи пыль и рыжие крошки... Но она стояла, словно вросшая в землю, и голос ее снова пронесся над замершей толпой:

— Помогайте всеми силами родной армии!

Полковник повернул к Зюсмилху разъяренное лицо.

— Идет победа!.. — еще раз прозвучал голос Кати, но уже тише, потом сорвался на шепот: — Прощайте, товарищи!

Люди видели, что еще мгновение — и не станет Кати, рухнет она на снег безжизненным телом.

— Прощай, родная! — выкрикнул высокий старик, стоявший в первом ряду. Он сдернул с головы шапку и поклонился Кате низко-низко, почти до земли, а когда выпрямился, все опять услышали его суровый и по-мальчишески звонкий голос: — Спасибо тебе... за душу твою великую!

Толпа встрепенулась, ожила.

— Да чего же это? Чего смотрим?! — вскрикнул кто-то испуганно. — Дави проклятых!

Старик из первого ряда повернулся к толпе и взмахнул руками:

— Бей!

Солдаты защелкали затворами. Полковник в ярости поднял кулак.

И вдруг... Что это? Близко, на соседней с пустырем улице загремели выстрелы.

— Рус! Партизанен! — воплем донеслось оттуда.

Солдаты испуганно загалдели. Корф побледнел и кинулся к танку. Зюсмилх стоял и, мелко стуча зубами, смотрел то на Катю, то на солдат.

— В сердце! Прямо в сердце! — закричал он. Руки у солдат дрожали.

— Вперед! Вперед! — вырвался на пустырь яростный крик.

Из-за угла, на белом коне, со сверкающей над головой шашкой, вылетел Федя, следом за ним — Николай Васильев. Лицо Феди было искажено яростью и мукой, ворот немецкого мундира расстегнут, голова раскрыта. Ветер трепал его седые волосы, и от коня и от самого Феди густо валил пар.

Катя увидела его, и словно почувствовав необыкновенный прилив сил, шагнула вперед, протянула руки.

— Феденька!

— Пли! — подал команду Зюсмилх.

Катя схватилась за грудь, закачалась. Федя на всем скаку остановил коня и, ничего не видя и не чувствуя, смотрел на клуб сизого дыма, окутавшего то место, где мгновение назад с протянутыми руками стояла Катя.

Наконец дым рассеялся.

Чайка лежала неподвижная. Глаза ее были широко открыты, и казалось, она не умерла, а только притихла и любовалась небом, окрасившимся в цвет народной ярости и гнева.

* * *

Где-то вдали тяжело ухали орудия, в разных сторонах к небу лохмато поднимался черный дым, а вскоре запылал и город, подожженный сразу с нескольких концов. Отблеск пожарищ осветил пустырь. На красном снегу валялись растерзанные трупы немцев. Голова Зюсмилыха была рассечена пополам фединой шашкой. Чуть в стороне валялся кровавый комок, кое-где прикрытый лоскутками одежды, — это все, что оставила толпа от Аришки Булкиной.

«Катина ночь!..»

Прижимая к груди окровавленное тело любимой, Федя мчался мимо горящих домов. Слезы мешали смотреть.

На берегу, у парома, толпа залесчан обступила объятый пламенем танк. Изнутри его неся вопль Макса фон Ридлера, возмнившего было, что русская земля и русские люди покорно лягут под его фашистский сапог.

Красным пятном всплыло над лесом солнце, а в селениях продолжал бушевать огонь, волнами плыл над полями дым.

В страхе металась немцы.

«Катина ночь» продолжалась...

Эпилог

Над Певском развевается знамя — гордое и алое, как катина кровь.

Тело Чайки партизаны перенесли в город и похоронили под сенью густых сосен, которые так любила она при жизни. Здесь простились с ней ее подруги и товарищи, простился Федя.

Все они ушли с красноармейскими частями на запад.

Толпами сходятся люди к этой скромной, но дорогой всем могиле. Пионеры украшают ее цветами. Военские части, проходя мимо, низко склоняют простреленные в боях знамена. Часто приходит сюда секретарь райкома Зимин, и еще чаще седая, чуть сутуловатая женщина в черном пальто, с суровым, скорбным лицом.

Если среди прибывших почтить память героини оказываются люди, которые не знают, кто эта суровая женщина, им называют имя, перед которым невольно обнажаются головы: «Василиса Прокофьевна — мать Чайки!» Случается, она рассказывает о Кате, а то просто обведет взглядом собравшуюся вокруг могилы толпу и, глотая слезы, промолвит: — Сердцем материнским заклинаю... отомстите!

И, видя по суровым лицам, по гневу, разгорающемуся в глазах, что ее наказ будет выполнен, низко поклонится на все четыре стороны и тихо поблагодарит:

— Спасибо вам за это... материнское...

Глухо шумят над могилой сосны. И кажется, что они тоже рассказывают людям о голубоглазой девушке, до последней искры отдавшей свою горящую душу родине, своему народу.

Я не случайно вспомнил о Данко, когда думал о Кате. Данко и Катя — они родные, но разные судьбы у них. Горящее сердце Данко угасло под ногами тех, для которых оно светило. А сердце Кати, любовно поднятое народом, продолжает гореть и светить.

У героев всегда бывает две жизни: одна — короткая, обрывающаяся могилой, и вторая жизнь, проходящая через века.

Нет, не умирают такие, как Чайка. Живая и страстная, с горящей душой, она незримо присутствует в гуще народа. Мы видим ее не глазами, а сердцем. Стоит она с развевающимися волосами, и звучит, призывая к мужеству наши сердца, последний крик ее окровавленной души:

«Идет Сталин к нам... Идет победа!»

1942–1944 гг.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru

Оставить отзыв о книге

Все книги автора